ISSN 0131-6044

РОМАН-ГАЗЕТА

(1152) 1991 2

Валентин Пикуль

НЕЧИСТАЯ СИЛА

ЧЕСТЬ ИМЕЮ

Вот уж не думал, что эту беседу с Валентином Саввичем Пикулем придется публиковать после его смерти. В последнюю нашу встречу я подробно расспрашивал писателя о том, как он понимает различные проблемы русской истории и что его сейчас волнует. Особое место в нашем разговоре заняла тема воинского долга. Может, потому, что сам писатель — потомственный военный. Может, потому, что она в его творчестве — среди важнейших...

— Насколько сильной, на ваш взгляд, была в прошлом у России оборонная идея?

— Мне кажется, она была слабой по той причине, что русский человек жил, полностью уверенный в несокрушимости своего государства. И Крымская кампания явилась, по-моему, большой для нас неожиданностью. Может, только после Крымской кампании, прусско-датской войны 1864 года, прусско-австрийской кампании 1866 года, германо-французской войны 1870—1871 годов, когда под боком России вырос мощное военное образование, идеи оборонной доктрины обрели в нашей стране свое значение. Но здесь надо сказать о том, что доктрина эта была шаткой. Мы не обратили внимания на милитаризацию Японии, после чего проиграли кампанию 1904—1905 годов.

Если же говорить о совсем недавнем времени, я с детских лет запомнил только одно: враг не ждет, враг нападает, будьте бдительны. Увы, это никак нам не помогло. У нас чуть ли не до самого последнего времени пропагандировалось наступательное мышление. Чем это обернулось, вы сами знаете — отступлением в сорок первом году до самой Москвы.

— В вашем романе «Крейсера» есть такая сцена: начинается русско-японская война, надо воевать, как вдруг младший штурман Щепотьев пускается в пацифистские суждения. Собравшиеся в кают-компании офицеры, естественно, возмущены. Но, на мой взгляд, большинство их возражений свелось к эмоциям. Мне тоже отвратителен поступок Щепотьева. Но я не могу принять такой аргумент его оппонента: «...мы носим мундиры не для того, чтобы болтать о философской природе войны». По-моему, это печально, что многим нашим офицерам недостает интереса к военной философии. А как вы считаете?

— Я на стороне кают-компании. Что было бы в 41-м году, если бы мы стали рассуждать о природе войны и гуманизма? Об этом надо говорить до войны. А когда гонг прозвучал — выбора нет.

Конечно, печально, что многие офицеры за последние десятилетия утратили интерес к военной философии. Мне, например, представляется, что философия войны лучше всего выражена у Франца Меринга. Я всегда с бóльшим удовольствием читаю этого писателя марксистского толка, нежели Клаузевица. Как мыслитель мне нравится Фридрих Великий. Но в нашей военной среде труды названных мною авторов малоизвестны. И это неудивительно. Почти все они до недавнего времени хранились в закрытых фондах.

— Как вы объясняете сегодняшний расцвет пацифизма?

— Длительным застоем в развитии политической и экономической мысли страны, который сказался и на нашем вторжении в Афганистан, и на росте неуставных взаимоотношений в армии, и на серьезных просчетах в обеспечении защиты государства — вспомните, например, разгильдяйство войск ПВО, прозевавших в нашем небе самолет Руста. Но, повторяю, это не значит, что во всем виновата только армия. Армия — часть государственного организма, и она была подвержена в эпоху застоя тем же болезням, что и все наше общество в целом.

— Думаю, здесь нелишне вспомнить ваш роман «Честь имею», посвященный судьбе офицера российского Генштаба. Эта книга напоминает, что подобные ситуации, связанные с нападками на армию, уже случались в истории. В частности, пацифистские настроения были очень сильны в обществе после нашего поражения в русско-японской войне 1904—1905 годов. Размышляя о причинах резко негативного отношения к армии, ваш герой пришел тогда к мучительным сомнениям: «Не стала ли русская армия зеркалом того упадка, морального и политического, который разъедает нынешнюю Россию?»

— Но вы согласны с тем, что в своих размышлениях мой герой оказался прав?

— Да. И коль речь зашла об этом романе, хотелось бы узнать, что вкладываете вы в понятие офицерской чести. Не кажется ли вам, что сегодня оно во многом размыто?

— Недаром же я назвал эту книгу «Честь имею», желая показать офицера старой русской армии, который сознательно делал карьеру, опираясь при этом на свои знания, волю, характер и благородство.

Боюсь, что сейчас офицерская честь существует в основном на словах. Многие сегодняшние офицеры, как мне кажется, не имеют той чести, которая была раньше. Хочу здесь напомнить слова главного героя моего романа, ставшего офицером разведки российского Генштаба: «Если чиновник служит ради жалованья, военный человек служит ради чести, и плох тот офицер, который не желает стать генералом».

А теперь офицеры служат ради чего? Далеко не у всех есть высокая цель. Значительная часть военных сегодня не имеет никаких практических навыков, кроме зычного голоса. Раньше на офицера смотрели как на величину. Он прекрасно знал классическую литературу, несколько иностранных языков, умел музицировать, бывал почти на всех театральных премьерах. А сегодня офицеру некогда даже почитать. Это ненормальное положение, которое срочно надо выправлять.

— Знаю, что вы были в числе тех, кто с самого первого дня неодобрительно отнесся к нашему вводу войск в Афганистан. Почему?

— Я много занимался XVIII веком. А это был век непрерывных войн с турками. Естественно, мне приходилось описывать турецкую армию и изучать мусульманскую религию. Так у меня выработался профессиональный интерес не только к вчерашним, но и сегодняшним делам Востока. Я читаю все сообщения о том, что происходило и происходит в Иране, Ираке, Афганистане...

На мой взгляд, ввод наших войск в Афганистан был с самого начала авантюрой. Политики, принимавшие решение, видимо, плохо знали историю.

Англия не раз пыталась вооруженным способом вмешаться в дела нашего южного соседа, но в конечном счете ее вторжение закончилось выплатой Афганистану огромных контрибуций.

Я считаю, дипломатия должна быть тесно связана с историей. Думаю, никогда не случится крупных ошибок, если дипломаты и политики, принимая ответственные решения, будут хорошо знать предысторию событий.

— Так что вы больше любите: военную историю или проблемы дипломатической политики?

— Все же историю дипломатии. Я считаю дипломата интеллектуальным острием государственной мысли. Именно он первым принимает удары на себя и первым их отражает. В дипломатах старой школы меня прельщает и острота ума, и высокий интеллект. Но, по-моему, этих качеств недостает многим сегодняшним дипломатам.

— С кем из военачальников вы общались с удовольствием?

— С мальчишеских лет, уже приведенным к присяге, запомнил доброе отношение командира эсминца «Грозный», на котором я плавал, Никифорова. В последние годы хорошую память оставили у меня встречи с адмиралами Алексеевым и Егоровым, которые последовательно возглавляли Главный штаб ВМФ. Мне было приятно встретить в них исторически образованных людей. А в вопросах истории русского флота я считаю их просто большими знатоками. Когда мы с Егоровым познакомились, я только подступал к роману «Три возраста Окини-сан». Адмирал с грустью говорил о том, как плохо у нас разработана история флота. Ученые отрицали, например, героизм адмирала Рожественского в русско-японской войне 1904—1905 годов. А Егоров считал, что подвиг Рожественского даже сегодня при современном состоянии флота и большом автономном плавании повторить трудно. Запомнились и разговоры о Колчаке. У нас до сих пор его рисуют только одной — черной краской. Мы почти не знаем Колчака как минера, флотоводца и полярного исследователя, а он в любой из этих областей был крупнейшим специалистом.

(Окончание см. на 3 стр. обложки)

РОМАН-ГАЗЕТА
НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
МОСКВА
2 (1152) · 1991
Основана в 1927 г.

Валентин Пикуль

НЕЧИСТАЯ СИЛА

РОМАН

(Продолжение)

11. И ДАЖЕ БЕТОННЫЕ ТРУБЫ

— Мне это надоело,— сказал генерал Курлов, выпивая при этом стопку анисовой, чистой, как слеза младенца.— Стоит мне вынырнуть, как меня снова топят. Уж как хорошо начал губернаторство в Минске, а тут... Демонстрация. Я скомандовал: залп! — и газеты подняли такой шухер, будто воскрес Малюта Скуратов... А сейчас,— продолжал Курлов, закусывая водку китайским яблочком,— Столыпин, этот истинный держиморда, призывает Степку Белецкого, у которого вместо носа — канцелярская кнопка... Зачем? Это ясно — чтобы Степана на мое место сажать...

Курлов имел очень внимательного слушателя сейчас — тибетского Джамсарана Бадмаева; закутанный до пяток в бледно-голубой балахон, он сидел на корточках перед низенькой монгольской жаровней, бросая на нее индийские благовония.

— Кто такой Степан Белецкий?— спросил тихонько.

— Дурак! — отвечал Курлов громчайше.— Сейчас на Самаре вицегубернаторствует. Вместе со Столыпиным служил... в Гродно, кажется.

— Сейчас придет Распутин,— сообщил Бадмаев.

— Нельзя ли мне по душам с ним поговорить? Говорят, мужик с мозгами. Если с ним не собачиться, так он...

Зазвонил телефон. Бадмаев снял трубку:

— Доктора Бадмаева? Простите, вы ошиблись номером... Здесь не лечебница — здесь контора по продаже бетонных труб! — Только повесил трубку, как раздался звонок с лестницы.— Это он! — сказал Бадмаев, отодвигая ногой жаровню.

— Заболел? А что с ним стряслось?

— Переусердствовал,— отвечал Бадмаев.— Любить женщин в его летах надо по капельке в гомеопатических дозах...

. . . . . .

Никто не отрицает, что бетонные трубы государству необходимы. Никто не станет отвергать и значение тибетской медицины. Насчет бетонных труб я не

Начало см.: «Роман-газета», 1991, № 1.

знаю что сказать, ибо за двадцать пять лет работы в литературе трубами никогда серьезно не занимался, но о тибетской медицине скажу, что сейчас в нашей стране проводится большая научная расшифровка древних книг Тибета, дабы выявить в них секреты древнейшего врачебного искусства. Тибетская медицина признает лишь один метод лечения — высокогорными травами... Но при чем здесь Бадмаев?

Джамсаран Бадмаев, этот коварный азиат, имел прозвища Клоп, Сова, Гнилушка. Из бурятской глуши приехал в Петербург, где окончил университет, в котором и стал профессором монгольского языка. Александр III был его крестным отцом, Джамсаран в крещении получил имя — Петр Александрович. Из путешествий по Востоку он вывез вороха душистых трав, назначения которых аллопаты и гомеопаты не знали. Витте говорил, что Бадмаев вылечит любого человека, но при этом он обязательно впутает пациента в какую-либо аферу. Тибетская медицина экзотично вошла в быт великосветского Петербурга, где нашлось немало ее адептов. Бадмаевскую фармакопею трудно учитывать, он варил лекарства всегда сам, названия для них (чтобы запутать ученых) брал с потолка,— по сути дела, он вел опасную торговлю *наркотиками*, которые называл романтично: тибетский эликсир ху-ши, порошок из нирвитти, бальзам ниен-чена, эссенция черного лотоса, скорбные цветы царицы азока... Понимая, на чем легче всего разбогатеть, Бадмаев специализировал свою клинику на излечении сифилиса. Ослабевших аристократов он делал пылкими мужчинами, а страстных аристократок (по просьбе их мужей) превращал в холодных рыбок. Помимо клиники в городе Бадмаев имел дачи-пансионаты и загадочные санатории, где изолировал больных от мира, а что там происходило — об этом никто не знал, пациенты же санаториев лишь таинственно улыбались, когда их об этом спрашивали. За голубою тогой врача-кудесника скрывался изощренный политический интриган. Еще в конце XIX века он настаивал, чтобы рельсы Великого сибирского пути пролегли не на Владивосток, а через Кяхту. Он досаждал министрам своими «мнениями» в плотно запечатанных пакетах, сочинял брошюры, писал рефераты о пассивности Китая, высчитывал, сколько Россия выпивает ведер молока и водки; Бадмаев — один из поджигателей войны с Японией. Шарлатан был глубоко уверен, что тайные пружины управления государством гораздо важнее, нежели холостящие приводные ремни, опутавшие Россию с ног до головы и работа которых видна каждому. Бадмаев нисколько не врал, когда сказал по телефону, что здесь, по Суворинскому проспекту, в доме № 22, находится контора по продаже бетонных труб. В любой момент его клиника могла обернуться ателье парижских мод, а любая амбулатория становилась вертепом разврата, побывав в котором хоть единожды люди уже до гробовой доски молчали как убитые. Бадмаев умел связывать людей, не беря с них никаких клятв! Сила его заключалась в том, что все эти министры, их жены, сенаторы, их любовницы оставались перед ним... нагишом... Бадмаев хранил врачебные тайны, но всегда умел шантажировать пациентов знанием их тайн!

Сейчас Джамсарану Бадмаеву было шестьдесят лет.

Звонок в прихожей звенел, не переставая.

В квартиру шарлатана ломился Распутин.

Бадмаев был ему нужен — от него зависело все!

. . . . . .

Я уже писал, что Митька Козельский после разлуки со своим антрепренером Елпидифором Кананыкиным был содержим на синодских субсидиях в бадмаевских клиниках. Точнее, Бадмаев держал его, как собаку, в прихожей квартиры, где блаженный мужчина, достигнув зрелости, настолько развил свой могучий интеллект, что с помощью культяпок освоил великую премудрость — научился отворять двери... Сейчас он открыл двери Распутину и сразу же больно укусил его за ногу. Гришка никак не ожидал встречи с Митькой, но, благо в передней никого не было, он молча и сердито насовал убогому по шее, отчего Митька с плачем уполз по коридору...

Бадмаев провел гостя в комнату для гостей, где не было ничего лишнего, только на стенке (непонятно зачем) висел портретик поэта Надсона. С неожиданной силой врач толкнул Гришку пальцем в бок, и тот, здоровый мужик, сразу ослабел — опустился на кушетку.

— А теперь,— сказал Бадмаев, улыбаясь широким лицом,— вы расскажете мне о себе все, что знаете. Скрывать ничего не надо! Вы должны быть предельно искренни со мною, иначе... Иначе ваша болезнь останется навсегда неизлечимой!

Бадмаев косо глянул на дверь, а в замочной скважине узрел растопыренный глаз генерала Курлова, который тщательно изучал знаменитого Распутина (пройдет шесть лет, и жандарму предстоит в морозный день целых два часа сидеть на закоченевшем трупе Распутина, о чем сейчас Курлов, конечно же, не догадывался)...

— А вылечите? — с надеждой спрашивал Распутин.

— Я употребляю очень сильные средства — дабсентан, габырьнирга, горнак. У меня в аптеке есть и «царь с ногайкой», который хлестнет вас раза три — и вы поправитесь...— Бадмаев со своей ладони дал Распутину понюхать зеленого красивого порошка.— Сейчас вы заснете... Вам хочется спать, Григорий Ефимыч?

— Угу,— ответил Гришка и рухнул на подушки...

Бадмаев тихо затворил двери, сказал Курлову:

— Пока он дрыхнет, я подумаю, что с ним делать.

...Распутин очнулся от яркого света. Он лежал в комнате, окно которой выходило в лес, и там не шелохнулись застывшие в покое ели и сосны. На ветвях, отряхивая с них струйки инея, в красных мундирчиках сидели важные снегири. В комнате топилась печка. А на соседней кровати, уныло опустив плечи, сидел еще не старый мужчина с усами и очень печально смотрел на Распутина.

— Где я? — заорал Гришка.

— Не знаю,— отвечал мужчина с усами и стал плакать.

— А ты кто таков? Санитар, што ли?

— Я член Государственной думы Протопопов!

— Чего лечишь?

— Пуришкевич,— отвечал Протопопов, сморкаясь,— уговаривал меня лечиться сальварсаном у доктора Файнштейна... знаете, это на Невском, вход со двора. Но я как-то не доверяю современной медицине... А вам габырь уже давали?

— Не знаю я никакого габыря,— забеспокоился Распутин, вскакивая.— Это как же так? Где же я?

— Я был в таком ужасном нервном состоянии,— рассказывал Протопопов,— что не могу вспомнить, как меня сюда привезли. Думаю, что мы с вами на станции Сиверская... Вот теперь жду, когда мне дадут понюхать цветок азока, и тогда я успокоюсь.

Дверь открылась, вошел сияющий, как солнце, Бадмаев с бутылкой коньяку, следом за ним Митька Козельский — с кочергой.

— Григорий Ефимыч,— сказал Бадмаев,— советую подружиться с моим старым пациентом Александром Дмитричем Протопоповым... это человек, достойный всяческого внимания.

— Да, я вижу, он с башкой! — отвечал Распутин и, отняв у Митьки кочергу, помешал в печке сырые дрова.— Скоро ль вылечите? Терпенья моего нету...

— Не спешите. Чтобы обрести нужную силу, побудете здесь с недельку. Потом я продолжу лечение в городской клинике...

Распутин прошел курс лечения и скоро с удвоенной силой включился в бурную «политическую» деятельность. Но Бадмаев его уже не оставил. Посредством лекарств, то возбуждающих, то охлаждающих, он как бы управлял Гришкой на расстоянии, отчего Распутин был зависим от врача-шарлатана, а заодно он стал и ходячей рекламой бадмаевской клиники. Сохранился документальный рассказ Распутина: «Зачем ты не бываешь у Бадмаева? Ты иди к нему, милай... Больно хорошо лечит травушкой. Даст тебе маханькую рюмочку настойки и — у-у-ух как! — бабы тебе захочется. А есть у него и микстурка. Попьешь ее, кады на душе смутно, и сразу тебе все ерундой покажется. Станешь такой добренький, такой глупенький. И будет тебе на все наплевать...»

До самой гибели Распутин будет жить на наркотиках!

. . . . . .

Весною на своей вилле возле Выборгской стороны (там, где в 1917 году сожгли Распутина!) Бадмаев принял Родзянку. Хомякова уже скинули с «эстрады» Государственной думы, и председателем был избран Александр Иванович Гучков.

— Что бы вы могли сказать о нем? — спросил Бадмаев.

Родзянко держался настороже, будто попал в вертеп разбойника, и сказал, что явился на эту виллу не ради сплетен:

— Вы обещали, Петр Александрович, дать мне конспект своей записки о негодяйском житии обормота Гришки Распутина...

Бадмаев опустился на колени, приникнув к жаровне с благовониями. Родзянко наблюдал, как струи сизого дыма подобно змеям уползали в широко расставленные ноздри бурятского чародея, и если бы дым вдруг начал выходить из-под халата врача, Родзянко даже не удивился бы... Бадмаев резко выпрямился.

— Хорошо. Григория Ефимовича я вам «освещу»!

Этого же хотел бы и премьер Столыпин, который тоже собирал досье на Распутина. Но Бадмаев никогда бы не дал премьеру материалов о Распутине, ибо врач делал ставку на Курлова, мечтавшего свалить Столыпина, и Бадмаев заранее учитывал расстановку шахматных фигур в предстоящей опасной игре за обладание креслом министра внутренних дел... Вечером Родзянко сидел у себя дома на Фурштадтской, 20, и читал записку о Распутине, которую этот негодяй Бадмаев начинал так:

«Сведения о Грише знакомят нас с положением Григория Ефимовича в высоких сферах. По его убеждению, он святой человек, таковым считают его и называют Христом, жизнь Гриши нужна и полезна там, где он приютился... Высокая сфера — это святая святых Русского государства. Все верноподданные, особенно православные люди, с глубоким благоговением относятся к этой святыне, так как на нем благодать божия!»

— Какая скотина! — прошипел Родзянко.— Обещал мне ведро с помоями, вместо этого вручил акафист какой-то...

В списке распутинцев Бадмаев одно имя тщательно замазал чернилами. Но Родзянко все же доскоблился до него: граф Витте! В конце записки Бадмаев выражал уверенность, что если Распутина не станет, его место займет кто-то другой, ибо *Распутин нужен.*

12. ТРИ ОПАСНЫХ СВИДАНИЯ

— Если Распутин нужен,— сказал Столыпин,— то, выходит, *я больше не нужен!* Кажется, мы уже дошли до конца веревки и теперь настало время заглянуть гадине прямо в ее глаза!

Накануне он вручил царю доклад о мерзостях Распутина и потребовал удаления варнака в необъятные сибирские дали. Император читать не стал.

— К чему вам порочить молитвенного человека?

— Молитвенного? — осатанел Столыпин.— Распутин таскает в банные номера статс-дам и фрейлин, а попутно прихватывает с улиц и проституток. Петербург небезгрешен! Это, конечно, так. Но знаменитые куртизанки Додо и Мак-Диди представляются мне намного чище наших придворных дам... Их могу соблазнить я! Можете соблазнить вы! Но в баню с Гришкой они не побегут!

Ответ царя был совсем неожиданным:

— Петр Аркадьевич, *я ведь все знаю!* Но я знаю и то, что даже в условиях бани Распутин проповедует Священное писание.— Столыпинский доклад был им отвергнут.— Премьеру такой великой империи, как наша, не подобает заниматься коллекционированием сплетен. Вы бы лучше сами повидали Григория Ефимовича!..

Сидя в «желтом доме» МВД на Мойке, Столыпин решил исполнить совет царя и вызвал генерала Курлова.

— Павел Григорьич, я сейчас послал Оноприенко на Кирочную для доставки сюда главного гада империи. Человек я горячий и потому прошу вас при сем присутствовать. Сядьте за стол и читайте газетку, но в разговор не вмешивайтесь...

Было жарко. За раскрытыми окнами плавился раскаленный Петербург, шипели струи воды из брандспойтов дворников, обливавших горячие булыжники мостовых, по которым сухо и отчетливо громыхали колеса ломовых извозчиков. В двери кабинета просунулась голова дежурного курьера Оноприенко.

— Дозвольте ввести? — спросил он.

— Да. Пусть войдет или — точнее — вползет...

Об этом свидании сохранился рассказ самого Столыпина: «Распутин бегал по мне своими белесоватыми глазами, произносил загадочные и бессвязные изречения из Священного писания, как-то необычно разводил руками, и я чувствовал, что во мне пробуждается непреодолимое отвращение к этой гадине... Но я понимал, что в этом человеке большая сила гипноза и что он производит на меня какое-то довольно сильное, правда, отталкивающее, но все же моральное впечатление. Преодолев себя, я прикрикнул на него. Я сказал ему прямо, что на основании документальных данных он у меня в руках и я могу раздавить его в прах, предав суду по всей строгости закона, ввиду чего резко приказал ему *НЕМЕДЛЕННО, БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО И ПРИТОМ ДОБРОВОЛЬНО ПОКИНУТЬ ПЕТЕРБУРГ,* вернуться в свое село и больше здесь никогда не появляться...» Распутин на прощание неожиданно сказал:

— Но я же беспартейна-ай! — И захлопнул двери.

— Он, видите ли, вне партий,— возмущался Столыпин.— Можно подумать, я больше всего боюсь, как бы он не пролез в ЦК кадетской фракции... А ваше мнение? — спросил у Курлова.

— Варнак, конечно,— помялся жандарм.— Но лучше бы вы с ним не связывались. Что вы ему инкриминируете? То, что он в баню не один ходит? Так это его личное дело. А завтра я пойду с бабой в баню. Вы и меня потащите с курьером Оноприенко?

— Нет,— возразил Столыпин.— Все сложнее. Чувствую, что с этим Распутиным власти еще предстоит немало повозиться...

Вскоре выяснилось, что Гришка, дискредитируя премьера, в Сибирь не поехал. При очередном свидании с царем Столыпин заметил на лице самодержца блуждающую усмешку... Его, презуса, оскорбляли! Скомкав служебный день, он отъехал на дачу в Вырицу, до вечера сидел в скрипящем соломенном кресле, закручивая усы в кольца...

За спиной премьера послышался резкий стук костылей — на веранду вышла безногая дочь Наташа, а под локоть ее поддерживал красивый лейтенант флота (жених!). Что ж, жизнь продолжалась...

. . . . . .

За полчаса до прибытия поезда премьер уже прогуливался по доскам вокзального перрона — в светло-серой шинели, в дворянской фуражке, обрамленной красным околышем. В числе путейцев, носильщиков и публики Столыпин наметанным глазом определял агентов охранки, обязанных подставить свою грудь под пули, которые будут направлены в него — в государственного мужа... Все было в порядке вещей, и Столыпина уже трудновато чем-либо удивить. Наконец запыленный паровоз вкатил зеленые вагоны под закопченные своды Николаевского вокзала. Столыпин еще издали помахал фуражкой — рад, ррад, рррад! Из вагона вышел мужиковатый человек в кургузом пиджачишке, помогая сойти на перрон детям, следом появилась сухопарая некрасивая дама.

Это прибыл Степан Петрович Белецкий.

Столыпин поцеловал руку его жены, погладил малышей по золотистым головкам, молча двинулись к царскому павильону, в тени которого премьер вел себя по-хозяйски, почти по-царски.

— Эту даму с детьми,— наказал метрдотелю,— накормите из буфета, дайте им помыться после дороги... Ольга Константиновна, извините, но вашего Степана я забираю для важного разговора!

Они уединились в отдельной комнате павильона. Белецкий чувствовал себя страшно скованно, попав из самарской глуши сразу в царскую обстановку, где сам (!) премьер империи наливает ему рюмочку арманьяка. Столыпин знал, что делает, когда вызвал Степана в столицу. В этом притихшем чиновнике скрывалась потрясающая (полицейская!) память на мелочи. Умный. Вышел из низов. Лбом пробил дорогу. Короткие пальцы. Желтые ногти. Чувствителен к взглядам: посмотришь на руку — прячет ее в карман, глянешь на ногу — подволакивает ее под стул. Нос пипочкой. Глаза влажные, словно вот-вот пустит слезу. На пальце колечко (узенькое). Чадолюбив. С хохлацким акцентом: «телехрамма», «хазеты», «хонспирация», «Азэхф»... Таков был Степан Белецкий.

Поначалу премьер расспросил его об аграрных волнениях в провинции. Белецкий отвечал даже со вкусом, рад поговорить:

— Пятый ход похазал, что такое русский мужик. Посмотришь: вроде хонсервативен. Но хогда дело коснется чужого добра, тут он сразу социал-демократ, да еще какой! Знаю я их... сволочей. «Давай дели на всех... Нашей хровью добытое! Ишь, дворцов понаделали. Бей, хруши, ломай... все наше будет!»

Столыпин, горько зажмурившись, с каким-то негодованием всосал в себя тепловатый коньяк. Долго хрустел золотою бумажкою царской карамели. Мимо окон павильона прошел дачный поезд — петербуржцы, обремененные кладью, спешили к лесам и речкам, ища отдохновенной прохлады... Столыпин заговорил по делу:

— Мы живем в такое подлое время, когда все хорошие люди говорят горам высоким: «Падите на нас и прикройте нас...» Я тоже хочу прикрыться! Не знаю, откуда посыплются пули — слева или справа? В конце-то концов это даже безразлично... Поверь мне, Степан: мне давно наплевать, где подписан мой приговор — в ЦК партии эсеров... или на Фонтанке, в департаменте полиции! — Белецкий спросил, не боится ли он ездить в Думу. Столыпин ответил, что на втором этаже Таврического дворца, по секрету от думцев, для него сделана блиндированная комната.—

Но никакая броня не спасет. Мне нужен свой человек на Фонтанке...

Да! Столыпин и не скрывал, что, выдвигая Белецкого, хотел нейтрализовать в МВД влияние генерала Курлова, ибо в нем видел не только соперника, но и врага...

Потом семья Белецких ехала в наемной коляске.

— Что он тебе сказал? — спросила жена.

Белецкий пребывал в некотором ошалении.

— Ты не поверишь! Я заступаю пост вице-директора департамента полиции... Мне хочется плакать от счастья. Подумай: сын народа, щи лаптем хлебал, зубами скрипел, так мне было, и...

Он вверг жену в страшное отчаяние.

— Степан, умоляю — не соглашайся!

— В уме ли ты, Ольга?

— Ты пропадешь, Степан, а я пропаду с тобою.

— Чушь! — отвечал он.

— Это катастрофа... это конец нашей жизни. Тебе хочется вываляться в полицейщине, как в луже? Прошу, откажись.

— И вернуться вице-губернатором в Самару?

— Хоть на Камчатку, но только не полиция.

— Ольга,— твердо сказал Белецкий,— ты женщина, и ты ничего не понимаешь. Я должен делать карьеру. Ради тебя. Ради детей. Ради куска хлеба под старость... Для кого же я стараюсь?

Через день Столыпин позвонил Белецкому — спросил, как он чувствует себя на Фонтанке? Степан отвечал премьеру:

— Ну и ну! Курлов глядит так, будто я ему долгов не вернул. Здесь даже не бегают, а носятся по коридорам как угорелые кошки... Вижу, что попал прямо в парилку. Вот только жена беспокоится, как бы чего не вышло!

Столыпин не сказал ему, что мужья должны слушаться своих жен. Женщины предчуют беду лучше мужчин — сердцем.

. . . . . .

Осенью 1910 года весь русский народ отмечал небывалый праздник, вошедший в нашу богатую историю под названием Первый Всероссийский Праздник Воздухоплавания. Пилоты напоминали тогда птичек, летающих внутри своих порхающих клеток.

Удивительно: русский народ как-то сразу полюбил авиацию. Царская власть, учитывая большую популярность авиаторов-чемпионов, незримо использовала Неделю воздухоплавания ради заигрывания с армией и с народом. А. И. Гучков от лица думской общественности уже слетал в Кронштадт и обратно, а теперь — от имени правительства! — наступала очередь лететь и Столыпину... На зеленом поле Комендантского аэродрома колыхалась трава. Самолет напоминал нечто среднее между стрекозою и этажеркой. Треск мотора, брызгающего на траву касторовое масло, наполнял сердца зрителей сладким ужасом чего-то необыкновенного. Столыпин шагал через поле, не видя путей к отступлению, ибо газеты (ах, эти газеты!) уже растрезвонили на всю Русь-матушку, что он полетит именно сегодня — 21 сентября... Премьера поджидал пилот — капитан Лев Макарович Мациевич, в прошлом офицер подводных лодок. Глядя в глаза Столыпину, он невозмутимо доложил:

— Ваше высокопревосходительство, осмелюсь заявить, что я революционер, и мне выпадает хороший случай разделаться с вами за тот реакционный курс политики, который вы проводите... По-человечески говорю: прежде чем лететь со мною, вы подумайте!

«Ах, эти газеты...» А пропеллер уже вращался.

— Спасибо за искренность... Мы полетим!

Мациевич любезно помог ему забраться в кабину, крепко стянул на Столыпине ремни, велел держаться за борта двумя руками.

— Могу только одной,— пояснил Столыпин.— Вторая рука была прострелена насквозь вами... революционерами!

Трава осталась внизу. Мациевич часто оборачивался, чтобы посмотреть, не вывалился ли премьер на крутых разворотах. «Этажерка» его тряслась каждой своей жердочкой. Столыпин, посинев от ужаса, с глубоким удивлением разглядывал классически точную планировку «Северной Пальмиры»... Он видел и Кронштадт.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Мациевич.

— Превосходно, капитан! — с бравадою отвечал он.

— Значит, я полагаю, полетим за облака?

— Вы крайне любезны, капитан, но... не надо.

Вот и трава! Столыпин выпутал себя из ремней.

— Благодарю вас,— пожал он руку пилоту.— О том, что вы мне сказали перед полетом, я болтать никому не стану...

Через несколько дней газеты России вышли в траурной рамке: «ТРАГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ КАПИТАНА МАЦИЕВИЧА! Авиатор во время полета выпал из машины и разбился насмерть. Аэроплан, пролетев без него немного, упал тоже и превратился в груду обломков...»

— Жаль,— искренно огорчился Столыпин.— Это был благородный человек, человек смелых и дерзких чувств. Из мрачных глубин моря он смело взлетел под облака и был... был счастлив!

28 сентября Невский проспект заполнила такая гигантская демонстрация, какой никогда еще не бывало: Петербург прощался с Мациевичем. А в толпе провожавших тишком рассказывали, что пилот не просто выпал из самолета — нет, он сознательно покончил с собой[1], якобы испытывая угрызения революционной совести за то, что не разделался со Столыпиным... Столыпин в эти дни писал царю: «*...Мертвые необходимы!* Жаль смелого летуна, а все же общество наше чересчур истерично». Почему он написал именно так — я не знаю. Наш известный архитектор И. А. Фомин тогда же установил на могиле пилота прекрасную стелу — она как игла, устремленная ввысь. В ней чувствуется что-то очень тревожное, крайне беспокоящее, даже ранящее...

---

[1] О гибели капитана Л. М. Мациевича (1877—1910) существует несколько версий. Для написания этого факта я использовал письма П. А. Столыпина к царю, записки жандарма П. Г. Курлова и воспоминания борца-авиатора Ивана Заикина «В воздухе и на арене».

13. НА ВЫСШЕМ И НИЗШЕМ УРОВНЕ

После Боснийского кризиса, вызвавшего обострение европейской политики, Извольского недолго держали на посту министра, спровадив его послом в Париж, где, в нарушение правил дипломатической этики, он всюду настырно твердил: «Война с Германией будет *моей войной*». Портфель с иностранными делами в кабинете Столыпина получил его ставленник и родственник — Сергей Дмитриевич Сазонов, выходец из культурной семьи москвичей-славянофилов. Лицеист по образованию, он был полиглот и музыкант, знаток истории и политики. Сазонову предстояло пройти все круги Дантова ада — вплоть до того момента, когда Пурталес вручит ему ноту, объявляющую войну с Германией... А работы много! В восемь утра Сергей Дмитриевич уже в министерстве, где за чашкой какао прочитывает поступившие за ночь донесения послов и консулов, по вырезкам из газет изучает столичную прессу государств Европы и Америки; с десяти до часу — доклады и приемы. Потом ему подают диетический завтрак, полчаса он гуляет по набережной. В два часа дня начинается прием иностранных послов, которые занимают его до вечера. К этому времени в Ампирной зале министерства накрывают обед, длящийся до 9 часов, затем Сазонов снова уединяется в кабинете, где редактирует дипломатическую переписку. Ровно в полночь он покидает здание у Певческого моста и едет домой. Завтрашний день будет повторением прошедшего. Лишь очень редко, большой поклонник музыки, Сазонов урывает часок-другой, чтобы забежать в Мариинку, где прослушивает арию певца, или посещает Дворянское собрание — ради одной или двух частей любимой симфонии... Очень слабый здоровьем, Сазонов не курил, не пил, не имел дурных привычек, это был человек «невысокого роста, с непомерно большим носом, ходил слегка вприпрыжку и потому напоминал молодого вороненка, выпавшего из гнезда». Жена его была сестрой жены Столыпина...

Николай II проводил осень 1910 года на родине супруги — в замке Вольфсгартен близ Дармштадта; подготовлялась встреча царя с кайзером в Потсдаме, и чиновники МИД понимали, что за разговорами о строительстве немцами железной дороги Берлин — Багдад следует ожидать тевтонского натиска Германии, желавшей развалить союз России с Францией. Импровизаций в таких делах не допускалось: в Берлине заранее писался сценарий разговора с Сазоновым для рейхсканцлера Бетман-Гельвега, в Петербурге создавали схему беседы Сазонова с Бетман-Гельвегом. Ночью поезд пересек границу. Германия находилась в активном движении: мимо станций громыхали воинские эшелоны, в раскрытых дверях товарных вагонов виднелись гладкие блестящие крупы драгунских лошадей.

В Берлине Сазонову был дан завтрак. Обеды и завтраки даются дипломатам не для того, чтобы накормить и напоить их,— это лишь предлог для завязки политической дуэли. Под шипение шампанского в бокалах развивается внешне игривый диалог, в котором даже безобидные слова подвергаются потом тщательному анализу в канцеляриях министерств... Немцы чествовали Сазонова с удивительным радушием! Бетман-Гельвег заявил, что Германия не нуждается в изменении курса русской политики. Конечно, был затронут и Боснийский кризис, в котором Австрия выиграла, а Россия проиграла. Рейхсканцлер заверил Сазонова, что *Германия не обязана и не намерена* поддерживать честолюбивые планы Австрии на Балканах. Услышав такое, Сазонов чуть не задал вопрос: «Сознает ли канцлер все значение сказанного?» Но он смолчал, ибо понимал, что эти обдуманные слова тоже вписаны в сценарий. Немцы лезли из кожи вон, лишь бы изолировать Россию в Европе... Переговоры продолжались в Потсдаме, где кайзер весьма усиленно (и успешно) потчевал своего милого кузена коньяками, и царь от выпивки подобрел (и поглупел): в проекте договора появилась статья о взаимном обязательстве России и Германии не вступать во враждебные друг другу коалиции. Но Сазонов за выпивкой монархов ограничил себя минеральной водой, и потому Германии не удалось взобраться на русскую шею. «Ваше величество, в политике всегда есть точки, далее которых следовать гибельно»,— сказал Сергей Дмитриевич царю... Вернувшись в Петербург, он дал газетчикам интервью, которое скорее напоминало извинение перед русской публикой за посещение им Берлина. Бетман-Гельвег напрасно заверял рейхстаг, будто в Потсдаме договорились о полном единстве взглядов: Сазонов выдержал бешеный натиск германской дипломатии и договора с немцами не подписал. Потсдамское свидание монархов стало *последней попыткой* кайзера оторвать Россию от союзников. Это была и последняя попытка Николая II вернуть страну на старинные рельсы родственной дружбы с Германией... Сазонов поспешил повидать Столыпина.

— Война будет,— сказал,— это уже ясно любому дворнику. Но если в результате войны русские казаки не напоят лошадей из Одера, если наши солдаты не согреются от пожаров Потсдама и Сан-Суси, значит, мы уже не великая нация!

— Я думаю о другом,— хмуро отвечал Столыпин.— Если война на носу, то следует убрать анекдотиста Сухомлинова...

. . . . . .

В чаянии великой войны Сухомлинов настоял перед царем на ликвидации пограничных областей вдоль западных границ империи, по его распоряжению передовые линии гарнизонов тоже отводились назад — в глубину страны. Это не предательство, просто дурость. А когда Генштаб заговорил о создании в лесах Белоруссии на будущее партизанских баз, Сухомлинов раскипятился:

— Какие там партизаны? Мы же культурные люди...

Своих подчиненных он умолял: «Ради бога, побольше допинга!» Что он хотел этим сказать — неясно. Но зато Сухомлинов разгадал характер царя, чрезвычайно ревнивого к чужой популярности. Мастерски играя на этой струне, он добился, что вели-

кого князя Николая Николаевича выгнали из Совета Государственной Обороны, а вскоре и сам Совет уничтожили. Сухомлинов сделал все, чтобы право личного доклада царю оставалось только за ним — за Сухомлиновым! Лишив этого права начальника Генштаба и генерал-инспекторов инфантерии, артиллерии, кавалерии, Сухомлинов забрал в свои руки *всю* армию России... Запоздалый роман с чужою женой не украсил чело Сухомлинова лаврами, и двери лучших домов Петербурга захлопнулись перед супругами. Сухомлиновы оказались в состоянии «блестящей изоляции»! Странное положение: к царю вхожи, а в гости сходить не к кому. Но природа не терпит пустоты, и вакуум в доме Сухомлиновых тут же заполнили киевские знакомцы — Фишманы и Фурманы, Бродские и Марголины. Аферисты уже почуяли, что запахло прибылями от поставок для армии; сахарозаводчик Бродский угрожал министерству тем, что отныне русский солдат каждый день будет пить чай с сахаром, а сие означало, что теперь они сахарок только и видели. Альтшуллер открыл в столице контору «Южно-Русского машиностроительного завода». Да, такой завод существовал. Но контора была фиктивной и связи с заводом не имела. Денежных операций в ней не производилось, кассовые книги отсутствовали, никто не заключал с Альтшуллером договоров, но зато в контору частенько забегали подозрительные типы. А в кабинете Альтшуллера, на самом видном месте, висел портрет Сухомлинова с его же надписью — «Моему лучшему другу Альтшуллеру, с которым никогда не приходится скучать...»

Сухомлинова навестил полковник Оскар фон Энкель в мундире семеновца, говоривший с шведским акцентом.

— Я из контрразведки,— сказал он, свободно усаживаясь.— Нам интересно: вы еще долго будете испытывать наше терпение?

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Мы устали твердить вам об Альтшуллере.

— А я устал выслушивать ваши подозрения...

Энкель протянул ему бланк конторы Альтшуллера.

— Гляньте бумагу на свет.

Просветив бумагу напротив окна, Сухомлинов отчетливо различил водяные знаки австрийского государственного герба.

— Я тоже люблю писать на немецкой бумаге, но это еще не значит, что я германский шпион... Где у вас доказательства?

— Альтшуллер недавно вновь выезжал в Вену, и там, как стало известно, ему *тайно* вручили орден Франца-Иосифа... А за что?

— Альтшуллер — австрийский подданный, и это дело Вены награждать своих подданных орденами. Но ваши подозрения меня уже достаточно утомили. Я буду жаловаться на вас государю...

И наклепал! Николай II (при всей его фатальной ненависти к телефонам) все же заставил себя снять трубку.

— Оставьте в покое военного министра,— наказал он контрразведке,— не мешайте ему трудиться на благо отчизны...

. . . . . .

Карлсбад (нынешние Карловы Вары) — столица курортов мира; русские аптеки давным-давно наладили выпуск карлсбадской соли, и ее мог пить каждый россиянин, не покидая родных пределов.

Екатерина Викторовна только в Карлсбаде и ощутила себя госпожой министершей. В самом деле, как приятно осознавать свою принадлежность к сливкам европейского общества. Вспомнилась ей Потягуха — дачное место под Киевом, куда ее отвозил скаредный варвар-муж... «О боже, разве можно сравнить Карлсбад с Потягухой?» Ни в коем случае. И я не сравниваю. Карлсбад нужен нам, читатель, только потому, что именно здесь госпожа Сухомлинова заметила дамские перчатки небывалой красоты и выделки. Разглядев сначала перчатки, она перевела взгляд на лицо обладательницы перчаток... Это была Клара Самуиловна Мясоедова!

— Где вы достали такую прелесть? — не удержалась Екатерина Викторовна, вступая в сугубо женский разговор.

— Берлинские. Согласитесь, что только немцы могут любую ерунду сделать старательно и добросовестно... Если вам угодно, я попрошу мужа, и он выпишет для вас хоть дюжину... А вот, кстати, и он — познакомьтесь!

Плотный мужчина с плоским лицом смахнул с головы широкое канотье, плетенное из тонкой желтой соломки.

— Полковник Мясоедов... Сергей Николаич. Позволю себе сразу же заметить, что с неизменным восхищением наблюдаю за активной работой вашего супруга-министра на благо родного отечества.

— Да, он... допингирует,— отвечала министерша.

И вдоль карлсбадской колоннады, места обычных променадов, они тронулись уже втроем, рассуждая о пустяках, как и положено людям на отдыхе, которые убеждены в том, что их будущее обеспечено, впереди — гладкая дорожка жизни, на коей их поджидают одни удовольствия. Из этой троицы один будет скоро повешен, другую сошлют в сибирские трущобы, а третья, по одним слухам, расстреляна, по другим — вышла за грузинского князя...

ФИНАЛ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

В жизни каждого молодого человека бывает нормальный период «глупого счастья», когда радует прохладный рассвет и закат над озером, улыбка случайно встреченной женщины, хороший обед с шампанским и дружеская пирушка с пивом — все эти крупицы радости приносят человеку бесхитростное ощущение своего бытия: я живу — я радуюсь тому, что живу! А вот на душе Богрова всегда лежала беспросветная мгла. Люди, знавшие его, потом вспоминали, что в нем было что-то деляческое и запыленное, как вывеска бакалейной лавки на окраине заштатного городишки. Даже кутить не умел. Выпьет, но в меру. Увлечется, но не влюбится. Богров годился бы в подрядчики по ремонту водопроводов в земской больнице. Был бы неплохим коммивояжером галанте-

рейной фабрики, распространяя по городам и весям империи подтяжки «люкс». Мог бы ходить по квартирам, предлагая самоучитель игры на семиструнной гитаре. Среди киевлян он считался «хохмачом», но острил нудно, и казалось, вся его жизнь будет нудной. Однако друзья его допускали такой вариант: однажды в провинциальной газетке, где-нибудь в низу колонки, петитом наберут сообщение: мол, вчера ночью в гостинице «Мадрид» повесился «король русского шпагата» Д. Г. Богров, причины самоубийства неизвестны... Но будь тогда киевские эсеры и анархисты немножко бдительнее, они бы прислушались к речам Богрова: «Важен не конечный результат действия массы, а лишь яркая вспышка в конце судьбы одной сильной личности. Но эта личность должна свершить нечто такое, чтобы все наше быдло вздрогнуло, будто его огрели кнутом!» Богров всегда возмущался партийной дисциплиной, не скрывал ненависти к той среде студенческих косовороток, которая саботировала сытых и богатых. «А я,— говорил Богров,— умею носить фрак и люблю высокие воротнички с откинутыми лиселями...»

Полковник Кулябка устраивал ему нагоняи.

— Вы же не ребенок,— говорил он ему.— Я все понимаю. Можно посидеть в ресторане. Можно взять певичку из хора. Но нельзя же так бессовестно напялить фрак и на рысаках подкатывать вечером к «Клубу домовладельцев», который считается черносотенным. Эдак вы не только себя погубите, но и меня засыпете...

— Извините, Николай Николаевич,— отвечал Богров жандарму с покорностью.— Но что делать, если «домовладельцы» крупно играют, а я, увы, с пеленок обожаю картежный азарт...

Богров оказался предателем безжалостным; благодаря его доносам Кулябка предупредил несколько экспроприаций, провел групповые аресты максималистов в Киеве, Воронеже, Борисоглебске, с помощью Богрова жандармы обнаружили подпольные лаборатории взрывчатых веществ... Совесть его не мучила, и он жертвовал даже теми людьми, которых считал своими друзьями: Леонид Таратута, Иуда Гроссман, Наум Тыш, Ида и Рахиль Михельсоны — они могут сказать ему свое революционное «спасибо». Наконец, Богров «осветил» Кулябке по телефону дело о подготовке побега революционеров из Лукьяновской тюрьмы.

— Кто устраивает им побег? — спросил Кулябка.

— В том числе и я! — засмеялся Богров.

— Голубчик вы мой, брать будем всех одним букетом. Если вас не взять, возникнут подозрения.

— Без меня букет завянет... Берите!

Он был фиктивно арестован и полмесяца просидел в Старокиевском участке, куда ему носили обеды из ресторана. Папа с мамой убивались напрасно — их Мордка вернулся в отличном расположении духа. «По блату посадили, по блату выпустили,— смеялся Богров, а товарищам по партии он бросил такую фразу: — Не удивляйтесь, если между нами завелся провокатор. Вся наша партия — полуграмотный сброд, из которого охранка всегда выберет агента для своих нужд...» Из тюрьмы на волю стали просачиваться робкие слухи, что Богров как раз и есть тот провокатор, что предал всех. Однажды на конспиративной квартире его взяли за глотку — так или не так? Богров не потерял хладнокровия. «Обычно люди,— отвечал он,— продаются за деньги, но мой папа не последний в Киеве человек: один только его дом на Бибиковском бульваре оценен в четыреста тысяч рублей. А поместье Потоки под Кременчугом? Это не фунт изюму... За какие же коврижки мне продавать себя и предавать вас, дураков?» Повидав Кулябку, он неожиданно спросил:

— Помните, во время революции в Киеве ходил такой анекдот, будто один нахал пробил дырку в царском портрете, просунул в дырку голову и кричал в восторге: «Теперь я ваш царь!» Так вот,— сообщил Богров,— этим нахалом был... я!

Кулябка долго помалкивал. Потом спросил:

— Извините, не могу понять: зачем вам это было нужно? Ну, крикнули: «Я ваш царь!», но царем-то вы не стали.

— А вы ничего не поняли,— мрачно ответил Богров.

. . . . . .

Окончив Киевский университет, Богров писал друзьям, что «в Петербурге положение адвоката-еврея благоприятнее, нежели в Киеве или даже в Москве». Летом 1910 года он выехал в столицу, следом за ним в департамент полиции полетела телеграмма Кулябки: «К вам выехал секретный сотрудник по анархистам Аленский». Богров сначала устроился в юридическую контору Самуила Калмановича, затем по протекции отца перешел на службу в Общество по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов, где, надо полагать, работой себя не изнурял. Полностью опустошенный человек, не умеющий найти для себя ни дела, ни друзей, ни моральной основы, он писал летом своему приятелю так:

«Я стал отчаянным неврастеником. Слава богу, что у меня остался еще целый запас фраз, которые можно сказать в том или другом случае жизни, и потому моя репутация хохмача еще не окончательно подорвана. В общем же, мне все порядочно надоело, и хочется выкинуть что-нибудь экстравагантное... Нет никакого интереса к жизни! Ничего, кроме бесконечного ряда котлет, которые мне предстоит скушать...»

Степан Белецкий снял трубку кабинетного телефона.

— Вице-директор департамента полиции слушает.

— С вами говорит агент Аленский.

— Отлично! Позвоните через полчаса.

Белецкий нажал кнопку звонка — явился жандармский полковник фон Котен, ведающий связями с агентурой.

— Михайла Фридрихыч,— сказал Белецкий,— я еще не освоился с делами как следует... Тут звонил какой-то Аленский, я на всякий случай велел ему брякнуть через полчаса.

— И хорошо сделали! Киевский Кулябка уже предупредил нас о его приезде... Пожалуйста, выпишите деньги для небольшого кутежа в ресторане, ибо рас-

крывать перед Аленским конспиративные квартиры я не решаюсь и вам того не советую.

— Благодарю за науку. А нельзя ли выписать на кутеж и на меня? Я бы инкохнито посидел в уголку да послушал.

— Тогда выписывайте сразу на трех. Я прихвачу из жандармского резерва и Еленина. Партию анархистов он знает «в лицо».

Богров скоро позвонил, и фон Котен ему сказал:

— Будьте при фраке в «Малом Ярославце»...

В отдельном кабинете ресторана на Морской (ныне улица Герцена) состоялась встреча с Богровым.

— Киевлянин... земляк! — сказал пройдоха из резерва Еленин и дружески шлепнул Богрова по заднице, чтобы проверить, нет ли браунинга в заднем кармане брюк (он незаметно мигнул Белецкому: мол, все в порядке — сзади полная пустота).

Теперь пришла очередь поработать фон Котену.

— Такой молодой и красивый человек,— сказал он Богрову, дружески шлепая его по груди, чтобы проверить, нет ли оружия в пиджачных карманах (подмигнул Белецкому — чисто, можно ужинать).

Белецкий в разговоре отмалчивался; беседу с Богровым, стремительную и ловкую, больше похожую на допрос, вели фон Котен и Еленин, причем первый играл на недоверии, а второй выступал в роли защитника интересов Богрова, и если фон Котен выражал подозрение, то Еленин (из резерва) говорил ласково:

— Ну, что вы цепляетесь к человеку? Такой милый неиспорченный юноша... зачем же думать о нем так плохо?

Впервые в жизни Белецкий постигал уроки жандармской игры с человеком. Договорились, что Богров проникнет в подполье столичных эсеров; платили ему по сто пятьдесят рубликов в месяц.

Не особенно-то обогатив жандармские архивы, Богров обещал, что может принести МВД большую пользу, если отъедет за границу, что он и сделал. Зиму он проводил в Ницце, куда приехали и папа с мамой; заглянув в Монте-Карло, Богров просадил в рулетку четыре тысячи франков. После этого он заявил родителям, что Европа ему осточертела — он хочет вернуться в Киев.

Россия вступала в 1911 год.

Пуля охранника провела между легкими и печенью диктатора одну из тех роковых черт, за которой история вписывает итоги баланса целой эпохи.

Виктор Обнинский

Часть четвертая

НА КРУТЫХ ПОВОРОТАХ

(Январь 1911-го — весна 1912-го)

ПРЕЛЮДИЯ К ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ

В 1911 году печать возвестила народам мира, что на небе появилась комета Галлея, которая пройдет от Земли столь близко, что хвост ее — не исключено! — врежется в нашу планету. Русские журналы запестрели наглядными схемами кометы, намекая читателям, что неплохо бы им, грешным, покаяться.

1911 год — год укрепления Распутина при дворе; члены фамилии Романовых нижайше испрашивали у царской четы разрешения прийти к чаю, а мужик просто приходил к царям, когда ему было удобно. От тех времен сохранилась протокольная запись его рассказа; ощущение такое, будто на старомодном граммофоне крутится заезженная пластинка с голосом самого Гришки Распутина:

— У царя свой человек... вхожу без доклада. Стукотну, и все! А ежели два дня меня нету, так и устреляют по телефончику. Вроде я у них как пример (т. е. премьер). Уважают. Царицка хороша, баба она ничего. И царёнок ихний хорош. Ко мне льнут... Вот раз, значит, приехал я. Дверь раскрываю, вижу — Николай Николаич там, князь великий. Невзлюбил он меня, зверем глядится. А я — ништо. Сидит он, а меня увидел, давай собираться. А я ему: «Посиди,— говорю,– чего уходить-то? Время раннее». А он-то, значит, царя соблазняет. Все на немцев его натравливает. Ну, а я и говорю: «Кораблики понастроим, тады и воевать можно. А нонеча, выходит, не надо!» Рассерчал Николай Николаевич-то. Кулаком по столу — и кричит. А я ему: «Кричать-то зачем?» Он — царю: «Ты бы,— говорит,— выгнал его». Это меня, значит. «Мне ли, мол, с ним разговоры о делах вести?» А я царю объясняю, что мне правда открыта, все наперед знаю и, ежели Николаю Николаичу неугоже со мной в комнате, так и пущай уходит. Христос с ним! Тут он вскочил, ногою топнул — и прочь...

Расшифровать подтекст некоторых событий 1911 года не всегда удается. А нам нужны только факты, и мы снова посетим Суворинский клуб журналистов на Невском проспекте, дом № 16.

. . . . . .

Читатель! Исторический роман — особая форма романа: в нем рассказывается не то, что *логично выдумано,* а то, что *нелогично было.* Следовательно, стройная архитектоника у нас вряд ли получится. В череде знакомств на протяжении всей нашей жизни одни люди возникают, другие уходят. Так же и в историческом романе автор вправе вводить новых героев до самого конца романа. Это нелогично с точки зрения литературных канонов, но зато логично в историческом плане. У меня нет композиции, а есть хронология. Ибо я не следую за своим вымыслом, а лишь придерживаюсь событий, которые я не в силах исправить...

В буфет Суворинского клуба вошел швейцар.

— А тамотко внизу опять пьяный валяется.

Пьяному обшарили карманы, но обнаружили только давний билет железной дороги на право проезда в 3-м классе от Нижнего Новгорода до Петербурга; Суворин велел швейцару взять свисток и вызвать городового. Тот прибежал, болтая «селедкой».

Утром Франц Галле, полицейский ротмистр Рождественской части, учинил проспавшемуся допрос по всей форме:

— Ваше имя, фамилия, положение, состояние?

— Ну, Ржевский я! Борис Михайлыч. Что с того?

— Та-а-ак... Зачем посещали Суворинский клуб?

— И не думал. Что мне там делать?

Галле все-таки удалось расшевелить Ржевского, и с опросу выяснилось: приехал из Нижнего, направленный в столицу как журналист нижегородским губернатором А. Н. Хвостовым.

Короче говоря, прибыв в столицу, Ржевский выпил раз, выпил два и увлекся этим делом, а больше ничего не делал.

Очевидно, ротмистр полиции был в курсе отношения высшей бюрократии к губернатору Хвостову, потому что он велел Ржевскому подождать его. Галле удалился и довольно-таки долго отсутствовал. Вернулся, когда графин с водою был пуст.

— Сегодня же убраться из Питера! — сказал он.

— А на какие шиши? — спросил его Ржевский.

Галле выложил на стол два конверта. В одном было полсотни рублей, в другом подписка, которую давал Ржевский полиции, в том, что он «заагентурен» и будет наблюдать за Хвостовым.

— Алексей Николаич — добрая душа,— заупрямился Ржевский.— Не могу же я делать доносы на своего благодетеля!

— Я все уже знаю,— прервал его Галле.— Хвостов считает вас близким человеком, он устроил вас сборщиком объявлений в «Нижегородский торгпромовский листок», издаваемый думцем Барачем, знаю, что в первый же день вы пропили три казенных рубля, после чего Барач вышиб вас на улицу... Вот вам полсотни рябчиков, билетик до Нижнего, подпишите эту бумагу.

Ржевский перестал спорить и, в чаянии похмельной выпивки, расписался. Когда он это сделал, Франц Галле сказал:

— А теперь, когда вы заагентурены, отвечать мне быстро, не думая: зачем Хвостов командировал вас в столицу?

— Он... просил меня... Алексей Николаич просил проникнуть в Суворинский клуб и понюхать там — нельзя ли устроить серию похвальных для него публикаций в «Новом времени»?

— Вот теперь все ясно,— сказал Франц Галле.

. . . . . .

Чтобы читателю было все ясно до самого конца, я предлагаю ему на одну минутку окунуться в быт Одессы 1919 года. Красная армия еще на подходе, в городе царит неразбериха. Из кабаре Фишзона выкатились три белогвардейца — друзья знаменитого бандита Мишки Япончика. Один был Беляев — офицер Царскосельского гарнизона, второй — журналист Ржевский, с ними был Аарон Симанович — личный секретарь Гришки Распутина. Подъехала пролетка, Ржевский взгромоздился на нее, все трое расцеловались. Потом Беляев вынул револьвер и преспокойно выстрелил Борьке Ржевскому в ухо — тот скатился на панель. Аарон Симанович сказал:

— Слушай, друг, за что ты Боречку шлепнул?

— С ним у меня чрезвычайно много лирических наслоений. Получается нечто вроде пирожного «наполеон»! Тут и Распутин, тут и Мишка Япончик, тут и кот наплакал, тут и бриллианты премьера Штюрмера... Вообще мне его жаль,— сказал Беляев, еще раз выстрелив в мертвого журналиста.— Поверь, что я готов плакать над хладным трупом нашего незабвенного Боречки.

Он еще раз выстрелил, а Симанович сказал:

— Евреи в таких случаях говорят: «чистому смех»!

— Во-во! — согласился Беляев, и они, любовно поддерживая друг друга на осклизлых ступенях, спустились обратно в кабаре Фишзона, где курчавая Иза Кремер, изображая наивную девочку, пела завтрашним эмигрантам об Аргентине, где небо сине, как на картине, а ручку ей целует черный Том...

— Ладно,— решил Беляев.— Завтра же задерем портки до самого колена и побежим в эту самую Аргентину.

— Чего я там потерял? — спросил Симанович.— У меня уже давно куплен участок земли в Палестине, где небо тоже сине, как на картине. Спасибо Грише Распутину — ох, какие дела мы с ним проворачивали... Если бы он был жив, он сейчас был бы с нами. Уверяю тебя: сейчас Григорий Ефимыч сидел бы рядом с нами...

...Странное дело, читатель! При царе-батюшке монархисты готовы были разорвать Распутина, а когда царя не стало, даже Гришка стал им дорог как ценное воспоминание о сладком минувшем — вроде сувенира о былой любви, и они преследовали врагов Распутина, как противников царизма... Все шиворот-навыворот!

Это уже излом истории, трещина в сознании.

1. МУРАВЬИНАЯ КУЧА

Нижний Новгород — славное российское торжище... Пора заполнить анкету на местного воеводу. Алексей Николаевич Хвостов! Возраст тридцать восемь лет. Землевладелец орловский. Женат. Придворное звание — камергер. Вес — восемь с половиной пудов. Окружность талии — сто двадцать сантиметров. Если верить газетам (а им иногда можно верить), «сатрап, поедает людей живьем». Характер общительный, с юмором, грубый, иногда сентиментальный, бесцеремонен, увлекающийся. Умен. Склонен к интриге. *Примечание:* способен на отважные предприятия, что и доказал рискованной экспедицией на Ухту в поисках нефти.

Ночь кончилась, и розовый рассвет застал Хвостова в постели нижегородской купчихи М. Д. Брызгаловой, трепещущей от общения с таким великим человеком, каким, несомненно, являлся губернатор.

Прибыв в губернское присутствие, Алексей Николаевич нехотя полистал донесения из уездов. Тут прямо с вокзала явился Борька Ржевский в новой кепке, с красными обмороженными ушами.

— Закрой дверь,— сказал ему Хвостов.

Разговор предстоял секретный. Позже в газетном интервью Хвостов оправдывался так: «Ржевского я узнал в Нижнем, его направили ко мне мои хорошие знакомые с просьбой оказать ему помощь; я знал,

что Ржевский до этого судился за ношение неприсвоенной формы. Считая, что совершенное им преступление не бог весть что, и желая помочь вечно голодному человеку, я пристроил его...» В этом проявилась одна из черт характера Хвостова — сентиментальность. Но, пристроив Ржевского, он вовлек его в свои интриги.

Ржевский доложил, что, насколько ему удалось выяснить, в столице отношение к Хвостову скверное; Столыпин же сказал, что безобразий в Нижнем от губернатора терпеть нельзя; что в «Новом времени» (тут он приврал) поддерживать Хвостова не станут; что могут лишить и камергерства; что... Хвостов не выдержал и влепил своему протеже хорошую затрещину.

— Ты же пил там напропалую... по морде видно!

— Ну, выпил... на вокзале... не святой же я.

— Еще не все потеряно,— неожиданно просиял Хвостов, становясь снова ласковым.— Конечно, в данной ситуации мне было бы неуместно обращаться к помощи Распутина... Я зайду к Распутину с черного хода! Слушай меня. Я напишу сейчас записку государю, а ты отвезешь ее в Питер и передашь (трезвый, аки голубь!) лично в руки Егорке Сазонову, который уже корреспондировал обо мне, когда я был еще вологодским вице-губернатором. Что ему сказать — я тебя научу! Егорка вручит записку Распутину, а тот передаст ее императорскому величеству...

— Ясно. Передам. Трезвый.

— Столыпин тоже не монолит,— сказал Хвостов, энергично усаживаясь к столу и разрешая Ржевскому взять сигару.— Нет такой стенки, которую бы, раскачав, нельзя было обрушить...

Он начал писать царю «всеподданнейшую» записку о современном положении в России. Он писал, что Столыпин не уничтожил революцию, а лишь загнал ее в подполье. Под раскаленным пеплом еще бродят угарные огни будущих пожаров дворянских усадеб. Россия на переломе... Ветер раздувает новое жаркое пламя!

Среди дня ему доложили, что в просторы Нижегородской губернии вторглась дикая орда илиодоровцев и, потрясая хоругвиями и квачами, измазанными масляной краской, она валит напролом — к святыням гусиной «столицы» Арзамаса. Хвостов велел полиции:

— Я думаю, илиодоровцев задерживать не следует, черт их там разберет: у них вроде крестного хода! Но советую вкрапить в их толпу надежных филеров наружного наблюдения...

. . . . . .

Вторично описывать безобразия илиодоровцев я не стану. Для нас важно другое: в январе 1911 года Илиодор поднял на Волге знамя вражды к Синоду, к правительству, к бюрократии, к полиции. Это знамя не было ни белым, ни тем более красным — оно было черным. Реакция выступала против реакции!..

Столыпин ознакомился с докладами полиции.

— Этот сукин сын Илиодорушко зарвался до того, что уже не понимает простых вещей. Если бы сейчас был пятый год, мы бы сами поддержали его изуверства, но Илиодор забыл посмотреть в календарь — сейчас одиннадцатый, и революции нет и быть не может, а потому он играет против нас, против власти...

Газеты писали о Гермогене и Илиодоре как о новых иноках Пересвете и Ослябе, которые сокрушают своих врагов — и слева и справа, не разбираясь. Столыпин решил разорвать их ратные узы: Пересвет-Гермоген оставался в Саратове, а Ослябю-Илиодора прокурор Лукьянов назначил настоятелем Новосильского монастыря. Илиодор приехал в глушь Тульской епархии, целый месяц дрался с монашеским клиром, а потом, нарушив предписание Синода, бежал обратно в Царицын, где объявил своим поклонникам: «У кого есть ненужная доска — тащи мне ее, у кого ржавый гвоздь — тоже неси. У кого ничего нету — землю копай...» Террорист в рясе задумал создать храм наподобие Вавилона, чтобы на высокой горе стояла прозрачная башня до облаков, заросшая изнутри цветами, а с купола башни Илиодор, подобно Христу, желал обращаться к народу с «нагорными проповедями». На самом же деле он строил не храм, а крепость со сложными лабиринтами подземных туннелей; Илиодор шлялся по городу в окружении боевиков, вооруженных кастетами и браунингами. Знаменитый силач Ваня Заикин, человек недалекого разума, вкатывал, как Сизиф, на гору гигантские валуны. Илиодор велел местным богомазам написать картину Страшного суда, в которой были показаны грешники, марширующие в ад. Впереди всех выступал с портфелем премьер Столыпин, возле него рыдал от страха обер-прокурор Лукьянов (в очках), следом валили в геенну огненную адвокаты, евреи, писатели, а Лев Толстой тащил в адское пекло полное собрание своих сочинений...

12 марта Илиодор выпустил воззвание к народу, в котором он заявил, что высшее духовенство продалось бюрократии за «бриллиантовые кресты», что отныне он начинает «жестокую войну» с властью «столичных мерзавцев»,— в Царицын сразу вошли войска, получившие боевые обоймы! Илиодор заперся в монастыре, где были скоплены гигантские запасы продовольствия, в окружении многих тысяч приверженцев, спавших и евших в храме, он выдержал двадцатидневную осаду по всем правилам военного искусства. А потом, обманув слежку полиции, выбрался в Петербург, где его как ни в чем не бывало принял... царь. Николаю II нравилось, что, ругая всех подряд, Илиодор императора не трогал, и царю было жаль терять такую разгневанную черную силищу, как этот иеромонах... Илиодор записывал: «Страшно нервничая, моргая своими безжизненными, туманными, слезящимися глазами, мотая отрывисто правой рукой и подергивая мускулами левой щеки, царь едва успел поцеловать мою руку, как заговорил буквально следующее: «Ты... вы... ты не трогай моих министров. Вам что Григорий Ефимович говорил... говорил. Да. Его... слушать... Он наш отец и спаситель. Мы должны держаться за него. Да... Господь его послал. Он тебе... он вам ведь говорил, что жидов... жидов больше и революционеров... а моих министров не трогай!»

А потом, вне всякой логики, Николай II в кругу придворных высказал мысль, что профессор медицины Лукьянов негоден для поста обер-прокурора Синода, ибо не может справиться с Илиодором! И тут произошло такое сцепление обстоятельств, благодаря которым Распутин дерзостно вторгся в дела синодальные...

. . . . . .

Легкость победы над Феофаном, высланным из столицы, воодушевила Гришку; осознав свою силу, он пришел к выводу, что начинать свистопляску следует с Синода, во главе которого он поставит своего человека. Синод — это, по сути дела, тоже правительство, а обер-прокурор имеет права министра. Сергей Михайлович Лукьянов, врач и профессор, был для Распутина криминалом, ибо он говорил с голоса Столыпина, а на «святость» Гришки ему, материалисту, было наплевать. Как раз в это время в Тобольске подняли старые, протухшие дела о принадлежности Гришки к секте хлыстов, где-то в потемках «шилось» досье на его «свальный грех», и Распутин понимал, что Лукьянова надо вышибать из Синода немедленно, иначе будет поздно... Распутинская разведка пошла сначала по глубоким тылам — Егор Сазонов нанес визит графу Витте.

— Говорят, что осенью в Киеве будут неслыханные торжества по случаю установки памятника Александру Второму... Памятник откроют, а заодно сковырнут и нашего барина Пьера!

С удалением Столыпина в государстве освободились бы сразу две крупные должности... Витте (почти равнодушно) спросил:

— И кого же, вы думаете, поставят в эм-вэ-дэ?

Сазонов от прямого ответа уклонился, но намекнул:

— Слыхал я, что нижегородский Хвостов подал государю всеподданнейшую записку и на царя она произвела очень сильное впечатление! Там и Столыпину крепко от Хвостова досталось...

— Хвостов самый отпетый хулиган, какого я знаю.

— Чудит много, это верно. Но гармошка у него играет...

Вбежал фокстерьер, за ним вошла Матильда Витте.

— Садись, дорогая. Вот пришел к нам Егорий Петрович, хочет, вижу, что-то спросить, но никак не может — мнется...

— Я не мнусь,— засмеялся Сазонов.— Просто синодский Лукьянов малость поднадоел, а к моему жильцу Григорию Ефимовичу Распутину повадился шляться Владимир Карлович Саблер и в ногах у него валяется — просит сделать его обер-прокурором...

Пауза! Витте погладил собаку, нежно поглядел на свою несравненную Матильду, которая, нежно посмотрев на своего супруга, тоже подозвала собаку к себе и тоже ее погладила.

— Владимир Карлович достойный...— начала она.

Но жену вдруг резко перебил граф Витте:

— Саблер во всех отношениях достоин того поста, которого он желает. Но,— сказал Витте и повторил с нажимом,— но...

2. САБЛЕР БЕЗО ВСЯКИХ «НО»

Читатель помнит, что во время перенесения гроба с «нетленными мощами» святого угодника Серафима Саровского больше всех старался показать свою богатырскую силушку некто Владимир Карлович Саблер, который смолоду отирался по службе в делах православия и хотел казаться православным больше, нежели сами русские. Саблер строил карьеру при Победоносцеве, который поднял его как можно выше и сам же уронил его в пучину недоверия. В канун смерти обер-прокурор отправил царю письмо с аттестацией на Саблера — такой, которая похоронила его навеки. Что он был вор — это еще полбеды, но в глазах Победоносцева хуже воровства оказался факт тайного забегания Саблера в синагогу...

С петербургских крыш уже звенела предвесенняя капель, длинные сосульки падали на панели, искристо и звучно. Столыпин, явно удрученный, повидался с Лукьяновым.

— Сергей Михайлыч, я уже перестал понимать, что творится на божьем свете... Всюду шепчутся: Саблер, Саблер, Саблер.

— Сам не пойму! Но государь ко мне благожелателен.

— Это-то и опасно,— подчеркнул Столыпин.— Характер нашего государя как у кобры: прежде чем заглотать жертву, она смазывает ее слюной, вроде вазелина, чтобы несчастная жертва легче проскакивала в желудок.

— Я выяснил,— сказал Лукьянов по секрету,— список лиц, которые могут заменить меня, уже составлен. Но в списке Саблер не фигурирует, ибо он иудейского происхождения.

— Я тоже думаю, что наша кобра Саблера отрыгнет...

. . . . . .

Распутин, спортивно-упруго, через три ступеньки преодолевал лестницу четвертого этажа мрачного дома по Большому проспекту Васильевского острова. Под самой крышей, на площадке пятого этажа, он остановился перед дверью, обитой драным войлоком. Медная табличка гласила: «Н. В. СОЛОВЬЕВЪ, казначей Святейшего Синода». Распутин плюнул на палец и нажал кнопку звонка. Дверь, словно за ней уже стояли, моментально отворилась, и на площадку выкатилась, как пузырь, коротенькая и толстая женщина. Она была столь мизерна ростом, что целовала Гришку в живот и, подпрыгивая, все время восторженно восклицала:

— Отец, мой отец... отец дорогой, как я рада!

— Ну, веди, мать. Чего уж там,— сказал Распутин.

В столовой угол был занят божницей, горели лампадки, а под ними сиживал старый придурок в монашеском одеянии, но со значком Союза русского народа на груди. При появлении Распутина он заблеял, словно козел, увидевший свежую травку:

— Спа-а-аси, Христос, люди-и тво-а-я-а-а...

— А, и Васька здесь? — поздоровался Распутин с юродивым.

Раздался звонок, Распутин сам открыл двери.

— Коля, ну где ж ты пропадал? Заходи...

В квартиру вошел Соловьев, синодский казначей, костлявый чинуша в синих очках, делавших его похожим на нищего; меж пальцев он держал за горлышки винные бутылки. Звонко чмокая, Ленка Соловьева часто целовала Распутина в живот, прыгая по прихожей, и неустанно выкрикивала мужу:

— Коля, гляди-кось, отец пожаловал... отец!

При этом Соловьев и сам поцеловал Распутина, как целуют монарших особ — в плечико.

— А я таскался вот... до Елисеева и обратно. Портвейн, я знаю, вы не жалуете. Гонял извозчика за вашей мадерой.

— Ну, заходи,— говорил Распутин, прыгая заодно с толстой коротышкой, потирая руки.— Давай, брат, выпьем мадерцы...

Хозяйка внесла громадное блюдо с жареными лещами.

— Ух, мать, доспела! Вот это люблю... Коля,— сказал Распутин хозяину,— уважили вы.

Распутин разговаривал с казначеем.

— Цаблер у меня хвостиком крутит... знаешь, как? У-у-у... А дело, значит, за Даманским? Коля, кто он такой?

— Петр Степаныч ваш искренний почитатель. Сам из крестьян, но желает стать сенатором и товарищем обер-прокурора Саблера.

— Сделаем! Но пусть и он постарается...

Страшно пьяного Гришку спускали с пятого этажа супруги Соловьевы — костлявый муж и коротышка жена. Часто они приговаривали:

— Григорий Ефимыч, ради бога, не оступитесь.

— Отец, отец... когда снова придешь? Ах, отец...

Ну, что там Столыпин? Ну, что там Лукьянов?

. . . . . .

На следующий день следовало неизбежное похмеление. О том, как протекал этот важный творческий процесс, осталось свидетельство очевидца: «Распутин велел принести вина и начал пить. Каждые десять минут он выпивал по бутылке. Изрядно выпив, отправился в баню, чтобы после возвращения, не промолвив ни слова, лечь спать! На другое утро я нашел его в том странном состоянии, которое находило на него в критические моменты его жизни. Перед ним находился большой кухонный таз с мадерою, который он выпивал в один прием...» Момент и в самом деле был критическим, ибо в любой день Православие как организация могло восстать против него, и Синод следовало покорить! Появился новый фрукт — Петр Степанович Даманский, канцелярская крыса дел синодальных; понимая, что орлом ему не взлететь, он желал бы гадом вползти на недоступные вершины власти и благополучия. Чем хороши такие люди для Распутина, так это тем, что с ними все ясно и не надо притворяться.

— Наша комбинация проста,— рассуждал Даманский открыто,— на место Лукьянова прочат Роговича, но мы поставим Саблера, Роговича проведем в его товарищи, потом сковырнем и Роговича, а на его место заступлю я... Что требуется лично от вас, Григорий Ефимыч? Сущая ерунда. Пусть на царя воздействует в выгодном для нас варианте сама императрица, хорошо знающая Саблера как непременного члена всяких там благотворительных учреждений.

— И ты,— сказал Распутин,— и Колька Соловьев, и вся ваша синодская шпана мослы с мозгами уже расхватали, а мне... Что мне-то? Или одни тощие ребра глодать осталось?

Даманский напропалую играл в рубаху-парня:

— Об этом вы сами с Саблером и договаривайтесь!

Распутин Саблера всегда называл Цаблером (не догадываясь, что это и есть его настоящая фамилия):

— Цаблер ходит ко мне, нудит. Я ему говорю: как же ты, нехристь, в Синоде-то сядешь? А он говорит — тока посади...

— Сажай его! — отвечал Даманский.— Знаешь, у Иоанна Кронштадтского секретарем еврей был. Сейчас живет — кум королю, большой мастер по устройству купеческих свадеб с генералами.

— Вот загвоздка! Посади я Цаблера, так меня газеты в лохмы истреплют. Скажут — ух, нахал какой, нашел пса...

— Ефимыч, какого великого человека не ругали?

— Это верно. Меня тоже кроют.

— В историю входишь,— подольстил Даманский.

В пасмурном настроении он покатил в Царское Село. История крутилась, как и колеса поезда. Александра Федоровна согласна была на замену Лукьянова Саблером, но Николай II уперся:

— Помилуйте, аттестация Победоносцева на Саблера выглядит чернее египетской ночи. Не могу я этого проходимца...

Кулак Распутина с треском опустился на стол.

Все вскочили — в невольном испуге.

Распутин вытянул палец — указал на царя:

— Ну что, папка? Где ёкнуло? Здесь али тута?

При этом указал на лоб и на сердце.

Рука царя легла поверх мундира, подбитого атласом.

— Здесь, Григорий... даже сердце забилось!

— То-то же! — засмеялся Распутин.— И смотри, чтобы всегда так: коли что надо, спрашивай не от ума, а от чистого сердца.

К нему подошла царица, поцеловала ему руку.

— Спасибо, учитель, спасибо... Теперь ясно, что от ума надобно бы ставить в обер-прокуроры Роговича, но сердце нам подсказывает верный ход — в Синоде отныне быть только Саблеру...

Графиня Матильда Витте уже названивала Саблеру:

— Владимир Карлович, ваш час пробил. Мы с мужем очень далеки от дел церковных, но... не забудьте отблагодарить старца!

Распутин еще спал, когда Сазонов разбудил его:

— К тебе старый баран пришел — стриги его...

Появился Саблер, добренький, ласковый, а крестился столь частенько, что сразу видно — без божьего имени он и воздуха не испортит. Салтыковский Иудушка Головлев — точная копия Саблера («Те же келейные приемы, та же покорная, но бьющая в гла-

за своей неискренностью религиозность, та же беспредельная мелочность, лисьи ухватки в делах и самая непроходимая пошлость»,— писали о нем люди, хорошо его знавшие).

Сколько дал ему Саблер — об этом стыдливая Клио умалчивает. Но дал, и еще не раз даст, да еще в ножки поклонится. Весной 1911 года Распутин неожиданно для всех облачился в хламиду, взял в руки посох странника и сел на одесский поезд — отбыл в Палестину, а машина, запущенная им, продолжала крутиться без него, под наблюдением опытных механиков «православия» — Соловьева и Даманского. Из путешествия по святым местам Распутин вывез книгу «Мои мысли и размышления», авторство которой приписывал себе. Книга была тогда же напечатана, но в продажу не поступала. Это такая духовная белиберда, что читать невозможно. Но там проскочили фразы, отражающие настроение Распутина в этот период: «Горе мятущимся и несть конца. Господи, избавь меня от друзей, а бес ничто. Бес — в друге, а друг — суета...» В этой книге Гришка, конечно, не рассказывал, как на пароходе в Константинополь его крепко исколошматили турки, чтобы смотрел на море, чтобы глядел на звезды, но... только не на турчанок!

. . . . . .

2 мая Саблер стал обер-прокурором Синода.

— Ничего не понимаю! — воскликнул Столыпин, которому сам Господь Бог велел быть всемогущим и всезнающим.

Лукьянов пришел к нему попрощаться и рассказал, что Саблер, дабы утвердить свое «православие», плясал перед Распутиным «барыню» — плясал вприсядку!

3. ПРОХИНДЕИ ЗА РАБОТОЙ

17 июня в Царицын нагрянули Мунька Головина в скромной блузочке, делавшей ее похожей на бедную курсисточку, и шлявшаяся босиком генеральша Ольга Лохтина, на модной шляпе которой нитками вышиты слова: «ВО МНЕ ВСЯ СИЛА БОЖЬЯ. АЛЛИЛУЙЯ». Мунька больше молчала, покуривая дамские папиросы, говорила Лохтина:

— Великий гость едет к вам. Встречайте! Отец Григорий возвращается из иерусалимских виноградников...

Было непонятно, ради чего Распутин (которого трепетно ждут в Царском Селе) вдруг решил из Палестины завернуть в Царицын,— это Илиодора озадачило, и он решил Гришку принять, но без прежних почестей. Распутин прибыл не один. Возле него крутилась Тоня Рыбакова, бойкая учительница с Урала, которая чего-то от него домогалась, а Гришка не раз произносил перед нею загадочную фразу: «Колодец у тебя глубок, да мои веревки коротки...»

— Это ты Саблера в Синод поставил? — спросил Илиодор.

— Ну, я. Дык што?

— А зачем?

— Мое дело... Мотри, скоро и Столыпина турну!

При этом он встал на одно колено, лбом уперся в землю.

— К чему мне поклоняешься? — удивился монах.

— Да не тебе! Показываю, как Саблер принижал себя, благодарствуя. Эдак скоро и Коковцев учнет мне кланяться...

Илиодору стало муторно от властолюбия Распутина; он сказал, что отъезжает с певчими в Дубовицкую пустынь.

— Ну и я с тобой,— увязался Распутин.

Мунька с Лохтиной от него — ни на шаг.

Подвыпив, Гришка завел угрожающий разговор.

— Серега,— сказал Илиодору,— а ведь я на тебя ба-альшой зуб имею. Ты со мной не шути: фукну разик — и тебя не станет.

Дело происходило в келье — без посторонних. Илиодор железной мужицкой дланью отшвырнул Гришку от себя — под иконы.

— Нашелся мне фукальщик! Молись...

Распутин с колен погрозил скрюченным пальцем:

— Ох, Серега! С огнем играешь... скручу тебя!

Илиодор треснул его крестом по спине.

— Не лайся! Лучше скажи — зачем пожаловал?

Распутин поднялся с колен, и в тишине кельи было отчетливо слышно, как скрипели кости его коленных суставов, словно несмазанные шарниры заржавевшей машины. Он начал:

— Мне царицка сказывала: «Феофана не бойсь, он голову уже повесил, зато Илиодора трепещи — он друг, а таково шугануть может, что тебе, Григорий, придется в Тюмени сидеть, а и нам, царям, будет трудно...» (Илиодор молчал. Слушал, хитрый. Даже не мигнул.) А царицка,— договорил Распутин главное,— готовит тебе брильянтовую панагию, что обойдется в сто пятьдесят тыщ! Будешь епископом... Только, мотри, царя с царицкой не трогай!

Стало понятно, зачем Распутин приехал. Сначала Илиодора хотели запугать, а потом и подкупить для нужд реакции. Но это еще не все: заодно уж Гришка из поездки искал себе прибыли.

— Ты, Серега, собери с верующих на подарок мне!

Сказал и больше не повторялся. Он человек скромный. Зато Лохтина с Головиной теперь преследовали Илиодора:

— К отъезду старца чтобы подарок был! А на вокзале, как положено, девочки должны цветы ему поднести... Пожалуйста, не спорьте — пора Царицын приобщать к европейской культуре...

Вступив на стезю «европейской культуры», Илиодор во время службы в церкви пустил тарелку по кругу — для сбора подаяний на проводы старца. Храм был забит публикой, но тарелка вернулась к аналою с медяками всего на двадцать девять рублей. На эти плакучие денежки иеромонах хотел купить аляповатый чайный сервизик. Узнав об этом, Мунька с Ольгою Лохтиной возмутились:

— Такому великому человеку и такую дрянь?

— А где я вам больше возьму? — обозлился Илиодор.

Дамы сложились и добавили своих триста рублей.

— Вот деньги... и считайте, что от народа.

Илиодор сразу и решительно отверг их:

— Это не от народа! Сами дали, сами и дарите Гришке...

Распутин со стороны очень зорко следил за приготовлениями ему подарка «от благодарного населения града Царицына» (Европа — хоть куда!). Известие о том, что на тарелку нашвыряли бабки одних медяков, приводило его в содрогание. Тоне Рыбаковой он даже пожаловался: «Не стало веры у людей, одна маета... Ну, што мне двадцать девять рублев? Курам на смех!» Мунька с Лохтиной купили Распутину дорогой сервиз из серебра, который и вручили ему на пароходной пристани, причем девочка Плюхина поднесла Гришке цветы, сказав заученные по бумажке слова: «Как прекрасны эти ароматные цветочки, так прекрасна и ваша душенька!» Распутин красуясь лакированными сапогами, произнес речь, из которой Илиодор запомнил такие слова: «Враги мои — это черви, что ползают изнутри кадушки с гнилою квашеной капустой...» С веником цветов в руках, размахивая им, он начал лаяться. Пароход взревел гудком, сходню убрали. Борт корабля удалился от пристани, а Распутин, стоя на палубе, еще долго что-то кричал, угрожая кулаками... Возле фотографии Лапшина шумели жители Царицына, требуя, чтобы владелец ателье больше не торговал снимками троицы — Распутина, Гермогена, Илиодора; Лапшин из троицы сделал двоицу — теперь на фотографии были явлены только Пересвет с Ослябей, а Гришку отрезали и выкинули. Назначение Саблера в обер-прокуроры словно сорвало тормоза, и в бунтарской душе Илиодора что-то хрустнуло; сейчас он круто переоценивал свое отношение не только к царям, но даже к самому богу. Сразу же после отбытия Распутина он поехал в Саратов — к Гермогену и, недолюбливая словесную лирику, поставил вопрос на острие:

— Что с Гришкой делать? Может, убить его?

Высшее духовенство империи пребывало в большом беспокойстве, ибо растущее влияние Распутина делалось для него опасным.

— За убийство сажают,— поежился Гермоген.

Илиодор убеждал епископа:

— Распутина надо устранить любым способом. Коли сгоряча и порубим его, так не беда. Согласен ли панагию снять и в скуфейку облачиться, ежели нас с тобой под суд потащут?

— А ты как?— отвечал Гермоген вопросом.

— Я хоть в каторгу тачку катать... Не забывай, что Гришка в Синоде хозяйничает, как паршивый козел в чужом огороде. Он и твою грядку обожрет так — одни кочерыжки тебе останутся!

Договорились, что расправу над Распутиным следует организовать с привлечением других лиц в декабре этого же года, когда Гермоген поедет на открытие зимней сессии Синода.

До декабря, читатель, мы с ними расстанемся!

. . . . . .

«Вилла Родэ» — в захолустье столичных окраин, на Строгановской улице в Новой Деревне. Это ресторан, которым владел обрусевший француз Адолий Родэ, создавший специально для Распутина вертеп разврата. Я разглядываю старые фотографии и удивляюсь: обычный деревянный дом с «фонарем» стеклянной веранды над крышей, возле растут чахлые деревца, ресторан огражден прочным забором, словно острог, и мне кажется, что за этим забором обязательно должны лаять собаки... Пировать бы тут извозчикам да дворникам, а не женщинам громких титулованных фамилий, корни родословия которых упирались в легендарного Рюрика. Распутин всегда находился в наилучших отношениях с разгульной аристократией. «Любовницы великих князей, министров и банкиров были ему близки. Поэтому он знал все скандальные истории, все связи высокопоставленных лиц, ночные тайны большого света и умел использовать их для расширения своего значения в правительственных кругах». В свою очередь, дружба светских дам и шикарных кокоток с Распутиным давала им возможность «под пьяную лавочку» обделывать свои темные дела и делишки... Часто, заскучав, Гришка названивал дамам из «Виллы Родэ», чтобы приезжали, и начинался такой шабаш, что цыганские хористки и шансонетки были шокированы вопиющим бесстыдством дам высшего света.

Вернувшись из Царицына в столицу, Гришка однажды кутил у Адолия Родэ несколько дней и ночей подряд. Наконец даже он малость притомился, всех разогнал и под утро сказал хозяину:

— Я приткнусь на диванчике. Поспать надо...

Утром его разбудили, он прошел в пустой зал ресторана, велел подать шампанского с кислой капустой — для похмелья.

— Селедочки! Да чтоб с молокой...

Распутин лакомился кислой капустой, со вкусом давя на гнилых зубах попадавшиеся в ней клюквины, когда в ресторане появился человек со столь характерной внешностью, что его трудно было не узнать... Это был Игнатий Порфирьевич Манус! Подойдя к столику, на котором одиноко красовалась бутылка дешевого шампанского фирмы «Мум», он без приглашения прочно расселся.

— Григорий Ефимыч, мое почтение.

— И вам так же,— отвечал Распутин.

— Надеюсь, вы исправно получали от меня мадеру?

— Получал. Как же! Много лет подряд.

— Именно той марки, которую вы любите?

— Той, той... на бумажке кораблик нарисован.

— Деньги от меня доходили до вас без перебоев?

— Какие ж там перебои!

Жирный идол банков и трестов, заводов и концернов международного капитала, этот идол сентиментально вздохнул.

— Когда-то я вам говорил, что мне от вас ничего не нужно, но просил всегда помнить, что в этом гнусном мире не живет, а мучается бедный и старательный жид Манус...

— Тебе чего нужно? — практично спросил Распутин.

— Я кандидат в члены дирекции правления Общества Путиловских заводов, но, кажется, так и умру кандидатом, ибо людей с таким носом, как у

меня, до заводов оборонного значения не допускают.

— Кто мешает? — спросил Распутин.

— Закон о евреях.

— А перепрыгнуть пробовал?

— Не в силах. Слаб в ногах.

— А подлезть под него, как собака под забором?

— Не мог. Слишком толст. Брюхо мешает.

— Тогда... ешь капусту,— предложил Гришка.

— Спасибо. Уже завтракал. Я хотел бы коснуться вообще русских финансов. Не подумайте, что я имею что-либо против почтеннейшего господина Коковцева, но он... как бы вам сказать...

Распутин сразу же осадил Мануса:

— Володю не трожь! Кем я Столыпина подменю?

— Простите, я вас не понял.

— Цыть! Мадеру твою пил — пил, деньги брал — брал. Не спорю. Спасибочко. Давай сквитаемся. Какого тебе рожна надобно?

— Мне хотелось бы повидать Анну Александровну...

Ага! Маленький домик Вырубовой в Царском Селе, калитка которого смыкалась с царскими дворцами, заманивал Мануса, как пьяницу трактир, как ребенка магазин с игрушками.

— Сделаем! Тока ты мне про акци энти самые да про фунансы не болтай. Деньги я люблю наличными... Чул?

— Чул,— просиял Манус.— А по средам прошу бывать у меня. Таврическая, дом три-бэ. Веселого ничего не обещаю, но уха будет, мадера тоже. Кстати, — вспомнил Манус,— вас очень хотела бы видеть моя приятельница... княжна Сидамон-Эристави... гибкая, вкрадчивая и обольстительная, как сирена.

Как кто?

— Сирена. Впрочем, это не столь важно, что такое сирена. Важно другое: по средам у меня бывает и Степан Белецкий.

— А што это за гусь лапчатый?

— Вице-директор департамента полиции.

— У-у-у, напужал... боюсь я их, лиходеев.

— Напрасно! Степан Петрович — отличный человек. Бывает у меня и контр-адмирал Костя Нилов — ближайший друг и флаг-капитан нашего обожаемого государя императора.

— Он этого обожаемого уже в стельку споил!

— Что делать! Морская натура. Без коньяку моря уже не видит. Итак, дорогой мой, что передать княжне Эристави?

— Скажи, что вот управлюсь с делами... приду!

Разговор, внешне приличный, закончился. В окошки «Виллы Родэ» сочился серый чухонский рассвет. Когда Манус удалился, Распутин со смехом сообщил ресторатору: «А ведь ущучил меня, а?..»

Сколько лет прошло с той поры, а историки до сих пор точно не знают, кто такой этот Манус. Французская разведка считала его одним из крупнейших шпионов германского генштаба. В советской литературе он лучше всего описан в «Истории Путиловского завода».

4. ПРОВОКАТОР НУЖЕН

Назначенный товарищем к Столыпину против желания Столыпина, но зато по личному выбору императора, генерал Курлов широко жил на казенные деньги. «Пятаков не жалко!» — любимая его фраза. В верхах давно поговаривали, что Курлов станет министром внутренних дел. Заранее, дабы выявить свой «талант» борца с революцией, он искусственно создавал громкие дела с эффектными ликвидациями подпольных типографий, со стрельбой и взрывами в темных, закрученных винтом переулках... Оба они, и Курлов и Столыпин, предчувствовали, что им, как двум упрямым баранам, еще предстоит пободаться при встрече на узенькой дорожке, перекинутой через бурную речку. Сегодня Курлов принес из Цензурного комитета жалобу писателей на притеснения — Столыпин отшвырнул ее со словами: «Книги люблю, но литературу ненавижу!» Курлов ему напомнил, что цензура ведь тоже находится в ведении МВД.

— В моем ведении,— отвечал Столыпин,— числится и ассенизационный обоз Петербурга с его окрестностями, однако я за все эти годы еще ни разу не вмешался в порядок его работы...

Сазонову, как родственнику, он горько жаловался:

— Нас, правых, били. Не давали встать и снова били. И уже так избили, что мы, правые, будем валяться и дальше...

. . . . . .

Весна 1911 года прошла для него под знаком нарушения равновесия, словно он попал на гигантские качели. Никогда еще не были так заняты телефонистки столичного коммутатора. То и дело люди звонили друг другу, сообщая с радостью:

— Столыпин пал, его заменяют Коковцевым...

В витрине магазина Дациаро был выставлен громадный портрет Коковцева с надписью *«НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ»*. Коковцев с большим трудом дозвонился до премьера.

— Поверьте, что я к этой шумихе не имею...

— Да о чем вы! — перебил его Столыпин.— Я и сам знаю, что вы не станете выставлять своей парсуны у Дациаро, в этом деле опять видна чья-то нечистая сила... Вот она и крутит нами!

Портрет с витрины убрали. Сразу возник слух, будто Столыпин взял отставку обратно, а царь даже плакал, умоляя премьера не покидать его. И опять вовсю трезвонили телефоны:

— Наш Бисмарк повис на ниточке. Его величество обещал ему титул графа, и на этом наш барин Пьер успокоился...

Курлов доложил, что в ресторанах пьют за падение «диктатуры» и звучат тосты за «новую эру ослабления режима».

— А чего удивляться? — отвечал Столыпин.— Нет такого политического деятеля, уходу которого бы не радовались.

— Вы... уходите? — расцвел Курлов.

Столыпин показал ему клыки:

— Сейчас я силен, как никогда.

Неожиданно к премьеру нагрянул Белецкий.

— Вот ваша апробация о «сокращении мерзавца» Манасевича-Мануйлова. Между тем этот мерзавец на днях зашел ко мне, и мы с большим удовольствием с ним побеседовали.

— Курлов с удовольствием, ты, Степан, с удовольствием, один лишь я давно не имею никакого удовольствия!

— Поверьте, что это жулье — вроде полицейского архива. Он наизусть шпарит массу адресов даже за границей, кличек, «малин» и прочее. Я тоже за всепрощение Манасевича-Мануйлова.

— Смешно! — сказал Столыпин без тени улыбки на бледном лице.— С революционерами проще: попался — вешаем! А вот со своим братом-провокатором не разобраться. Копнешь такого, будто бабкину перину, а оттуда — клопы, клопы, клопы... И если верить тебе и Курлову, то каждый такой клоп — на вес золота!

— В нашем деле провокатор тоже нужен.

— Ну, ладно. Допускаю, что нужен. Но вот у меня под носом валяются какой уже месяц жалобы потерпевших от Манасевича — Шапиро, Якобсон, Беспрозванный, Минц...

— А чего их жалеть? — логично рассудил Степан.— Честные люди не таскались на прием к Манасевичу. Жулик обштопал жуликов! Я думаю, тут все ясно... Нам нужен агент. Хороший агент.

— Мне, дворянину, не пристало пачкать руки об это сокровище вашей веры,— сказал Столыпин.

— Так черкните резолюцию: «Сократить мерзавца!»

— Нет, пусть останется... для историков будущего.

. . . . . .

Манасевич сказал Надежде Доренговской:

— Не знаю, что будет дальше, но самое главное — не терять хладнокровия.

Курлов предложил ему службу за двенадцать тысяч в год.

— Павел Григорьич, мне и на леденцы не хватит!

— А больше не можем. У нас не бездонная бочка.

Он забежал в МВД с другой стороны — к Степану Белецкому, в котором угадывал будущего великого инквизитора, и согласился быть его информатором за очень скромные чаевые.

— Но у меня так,— сказал «сын народа».— Если что замечу, пришибу насмерть. Нужна полная солидарность! Понял?

— Пришибайте. Солидарность будет.

Сейчас он неплохо зарабатывал на Распутине, и статьи Маски заставляли Гришку скоблиться, как солдата перед баней. В книге «Русский Рокамболь» об этом казусе писано: «Распутин был далеко не дурак и не всегда мстил своим врагам. Когда было нужно, он умел их приваживать, а такой человек, как Мануйлов, конечно, давно ему был необходим!» Скоро они совершенно случайно встретились в распивочной на Садовой. Распутин был наряден, богат, выглядел хорошо, двигался как на пружинах.

— Сволочь ты,— с глубоким уважением сказал он.

— От кого слышу-то! — отвечал Ванечка без уважения.

Распутин охотно присел к нему за столик.

— Хам с тобой! Водку пьешь?

Стали пить водку. Гришка с надрывом спрашивал:

— Скважина ты худая, насквозь меня пропечатал?

— Деньги нужны, а ты — хорошая тэма.

— Я тебе не «тэма»! Давай бурдушар выпьем да подружимся, и с сего дня обещай, что меня трепать в газетах не будешь...

Выпили на брудершафт. Энергично закусывали.

— Трудное небось твое дело? — душевно спросил Распутин.— Мне вот кады понадобится пратецю сочинить, так я перышком ковыряю-ковыряю... Взмокнешь, бывало! А ты, брат, писатель. Дело твое темное. Книжку-то хоть какую ты сочинил?

Манасевич показал ему чековую книжку:

— Мой лучший роман! Переведен на все языки мира и всем читателям понятен. Я буду знаменит, пока у меня есть такая книжка. А теперь скажи — у тебя есть такая?

— Не завел. Я деньги банкам не доверяю.

— Дурак ты,— небрежно сказал Ванечка.

Распутина это сильно задело, он полез на стенку:

— Почему не боишься ругать меня? Ведь даже цари мне руку целуют, а ты лаешься... На, поцелуй и ты мне!

«Сахарная головка» уплетал севрюжину под хреном. На секунду оставив вилку, он смачно плюнул в протянутую лапу.

— Я ж тебе не царь,— ответил он с важностью.

Распутин тер руку об штаны, виртуозно матерился.

— Перестань. И не спорь. Меня ты не переделаешь...

Через несколько дней он снова выплеснул на Распутина в газете очередную порцию помоев. Ванечка знал, что делает. Ругая Распутина, он обретал силу в глазах того же Распутина, и должен наступить такой момент, когда Распутин сочтет себя побежденным, а тогда можно будет вить из него веревки, с помощью которых хорошо вязать своих врагов... Логично?

. . . . . .

Еще с весны киевляне знали, что осенью к ним заявятся «высокие гости» ради открытия памятников — Александру II и святой Ольге. Заблаговременно в Киев прибыл колоссальный штат чиновников МВД, отовсюду стягивались войска, жандармы и агенты сыска из других городов (даже из Сибири). В «матерь городов русских» наехало пополнение городовых и околоточных. В городе провели свыше трехсот обысков, многих студентов и рабочих арестовали без предъявления им вины, все подозрительные из Киева были высланы. Царская охранка облазила чердаки и подвалы, саперы делали подробные чертежи тех квартир, окна которых выходили на центральные улицы. Для царской семьи подновили Ни-

колаевский дворец, а для министров наняли богатые квартиры. Номера киевских гостиниц были забронированы, начиная с 20 августа. Скоро на стенах домов появились листовки, в которых строго указывалось, что обывателям запрещается «выбегать навстречу царскому экипажу, бросать цветы и подавать прошения». В объявлениях было сказано, что киевские торжества продлятся до 6 сентября...

На Крещатике цвели каштаны, когда Богров навестил юридическую контору А. С. Гольденвейзера, приятеля отца. В разговоре с юристом он неожиданно задал вопрос:

— А кто самый вредный в России после царя?

— Вредных много, но после царя... Столыпин.

— Вы так думаете? — спросил Богров и ушел.

Он ушел, обнаружив в этом вопросе свою полную политическую безграмотность. Еще ничего не было решено, и в канун августа Богров в конторе папеньки подсчитывал, сколько можно выручить от спекуляции с котельными водомерами. Гешефт сулил девятьсот рублей прибыли.

— Прекрасно! Почему бы нам и не заработать, папочка? Тем более палец о палец не ударим, а денежки уже в кармане...

По ночам на Бибиковском бульваре надсадно скрипело старое дерево. «Провокатор нужен... нужен... Провокатор нужен!»

5. НА БЛАНКАХ «ШТАНДАРТА»

В этом году случилось большое несчастье с Черноморским флотом: на подходах к румынскому порту Констанца вице-адмирал Бострем посадил весь флот на мель. Позорное дело случилось на глазах множества публики, собравшейся на берегу, так как Румыния ждала русские корабли с визитом дружбы. Бострема судили заодно с флагманским штурманом. В этом же году был суд и над офицерами императорской яхты «Штандарт»... Известно, что русский царь и германский кайзер, словно соперничая друг с другом, ежегодно околачивались на зыбких водах, демонстрируя один — морское невежество, другой — прекрасную выучку. Вильгельм II, на зависть русскому кузену, умел произвести даже такую сложную операцию, как швартовка боевого крейсера в переполненной кораблями гавани... Итак, речь идет о «Штандарте», который ходил под особым императорским стягом, имея свои особые бланки под царским гербом и орлами с андреевским флагом.

. . . . . .

Это особый мир Романовых, не имеющий ничего общего с бытом Александрии или Ливадии. Наши историки флота и революции обошли этот мир стороной, а между тем внутри «Штандарта» творились иногда удивительные дела... Начнем с команды. Матросов отбирали из числа безнадежно тупых, реакционно мыслящих или, напротив, острых и ловких, прошедших через горнило матросских бунтов, но которые раскаялись и стали называться «покаянниками». Прямой расчет на то, что ренегату отступления нет... Кают-компания «Штандарта» формировалась лично царем из офицеров двух различных категорий: это были отличные боевые моряки (умеющие к тому же вести себя в высшем свете) или, наоборот, отпетые негодяи.

Командиром «Штандарта» долгое время был свитский контр-адмирал Иван Иванович Чагин, который в Цусиму, командуя крейсером «Алмаз», увидев, что эскадра окружена и уже поднимают белые флаги, дал в машину «фуль-спит» (полный вперед) и, прорвав блокаду японцев, геройски дошел до Владивостока. Молодой и беспечный холостяк с аксельбантом на груди, он не совался в дела царской семьи, был просто веселый и добрый малый. Но рядом с ним на мостике «Штандарта» качался и флаг-капитан царя, контр-адмирал Костя Нилов — забулдыга первого сорта. Трезвым его никогда не видели, но зато не видели и на четвереньках: Нилов умел пить, выдавая свое качание за счет корабельной качки. Этот человек, открывая в буфете «Штандарта» бутылку за бутылкой, сам наливал царю, позволяя себе высказываться откровенно:

— Я-то знаю, что всех нас перевешают, а на каком фонаре - это уже не так важно. По этому случаю, государь, мы выпьем...

Был обычный день плавания, и ничто не предвещало беды. Яхта шла под парами в излучинах финских шхер, когда раздался страшный треск корпуса, причем вся царская фамилия, заодно с компотом и вафлями, вылетела из-за обеденного стола так, что на великих княжнах пузырями раздулись юбки.

— Спасайте наследника престола! — закричал Николай II.

Шум воды, рвущейся в пробоину ниже ватерлинии, ускорил события, а в шлюпку вслед за наследником Алексеем очень резво прыгнула и сама государыня Александра Федоровна.

— Скорее к земле! — верещала она.

Вокруг было множество островов. «Эти острова кишели солдатами, которым были даны прямолинейные, но мало продуманные инструкции — палить без предупреждения по всякому...» Представьте себе картину: императрица с цесаревичем подгребает к острову, а тут ее осыпают густым дождем пуль. В этот момент некто вырывает из ее рук сына и заодно с ним скрывается... в пучине! Не скоро на поверхности моря, уже далеко от шлюпки, показалась голова матроса, который, держа мальчика над водой, поплыл обратно к «Штандарту», пробоину на котором уже заделали. Решительного матроса явили перед царем в кают-компании.

— Как тебя зовут, молодец?

— Матрос срочной службы Деревенько.

— Зачем ты прыгнул с наследником в море?

— А как же! Надо было спасать надёжу России...

Его наградили Георгием, нашили на рукава форменки шевроны за отличную службу и внесли в придворный штат с титулом «дядька наследника». До этого за мальчиком присматривал английский гувернер Сидней Гиббс, который жаловался в мемуарах, что «гемофилия сделала из мальчика калеку, как и все дети, он хотел побегать, поиграть, а я —

запрещаю и хожу за ним, как курица за цыпленком, но я не в силах уследить за ребенком». За сытную кормежку он дал себя оседлать под «лошадку» цесаревича. Деревенько сажал мальчика себе на шею и часами носился как угорелый по аллеям царских парков, выжимая свою тельняшку потом будто после стирки. Но зато цесаревичу теперь не грозили царапины и ушибы! Распутин поначалу малость испугался, заподозрив в матросе соперника по опеке над Алексеем, но вскоре понял, что тот дурак, к интригам не способен, и они дружно гоняли чаи из царского самовара с царскими бубликами.

Но это еще не конец морской романтики. Вскоре столица империи наполнилась революционными прокламациями. Для жандармов это не новость. Новостью для них было то, что на этот раз прокламации были отпечатаны на императорских бланках «Штандарта». Призывы к свержению самодержавия очень красиво и даже поэтично выглядели на фоне императорских гербов и короны.

Степан Белецкий сказала Курлову:

— А конешно! Они латали пробоину у стенки Балтийского завода, рабочий класс и просветил «покаянников»... Это ж ясно.

За посадку «Штандарта» на рифы Чагина судили заодно с Костей Ниловым. Их выручил финский лоцман, доказавший на суде, что риф (острый, как иголка) известен только старым рыбакам, а на картах он не отмечен. Чагин был оправдан. Но он не вынес того, что под палубой его «Штандарта» размещалась подпольная типография, жарившая «Долой царя!» прямо на корабельных бланках. Свидетель пишет, что Чагин «зарядил винтовку и, налив ее водою для верности, выстрелил себе в рот».

. . . . . .

Из документов известно, что, пока царь с Костей Ниловым упивались в корабельном буфете, Алиса остановила свой выбор на Николае Павловиче Саблине... Личность неяркая. Обычный флотский офицер. Неразвратен, и этого достаточно. Живя в этом содоме, он страдал одним чувством — бедностью и унижением от этой бедности. Царица открыла ему сердце, но не кошелек...

Саблин — слабенькая копия Орлова! Прежде чем он стал командиром «Штандарта», он приобрел большой авторитет в царской семье. Если в доме Романовых назревал очередной скандал между супругами, арбитром выступал Саблин, который, внимательно выслушав мнения противных сторон, объективно и честно указывал, кто прав, кто виноват.

27 июля, после месячной болтанки в шхерах, «Штандарт» вернулся к берегам, а на 27 августа был запланирован отъезд царской семьи на киевские торжества. Николай Павлович Саблин навестил свою холостяцкую квартиру на Торговой улице, где и блуждал по комнатам в унылом одиночестве. С лестницы неожиданно прозвучал звонок... Саблин впустил незнакомого господина, который всучил в руки ему визитную карточку: под именем «Игнатий Порфирьевич Манус» помещалась колонка промышленных титулов...

— Итак, что вам, сударь, от меня угодно?

Манус очень прозорливо и быстро окинул убогое убранство квартиры захудалого дворянина, оглядел молодого стройного офицера.

— Я знаю, что вы человек порядочный, но бедный, и потому решил помочь вам, чтобы вы стали богатым...

— Каким образом? — удивился Саблин.

— Вы стали любовником нашей императрицы...

— Ложь! — выкрикнул Саблин.

— Не спешите,— умерил его пыл Манус.— Я вам покажу фотоснимок одной сценки, сделанной тайно в каюте «Штандарта»...

Саблин разорвал фотографию, не глянув на нее.

Раздался скрип — это смеялся Манус:

— Неужели вы думаете, что избавились от позора? Негатив снимка находится в банке одного нейтрального государства...

— Это шантаж! — воскликнул Саблин в ужасе.

Манус и не пытался ему возражать:

— Конечно, шантаж. Самый обычный. Вас я уже назвал порядочным человеком. Теперь назову себя непорядочным человеком. Что делать, если так надо? Обладая такой фотокарточкой, осмеливаюсь требовать от вас полного и беспрекословного подчинения мне!

Один рывок сильного тела, и голова Мануса была отброшена на валик кресла, а в кадык ему уперлось острие кортика.

— Пожалуйста... режьте! — прохрипел Манус.— Но после моих похорон фотоснимок должен быть опубликован в одной неприличной газете, а мои люди заодно уж перешлют копию и вашей невесте, на которой вы собираетесь жениться, зарясь на приданое...

Саблин отбросил кортик и спросил — что ему, подлецу, от него понадобилось? Манус поправил воротничок на потной шее.

— Я финансист, а потому мне нужно, чтобы вы проводили в кругу царя идеи тех операций, какие выгодны для меня...

— Хотите сделать из меня второго Распутина?

— Ну, подумайте сами — какой же из вас Распутин? — огорченно отвечал Манус.— Такой красивый, такой приятный офицер... Распутин давно в моих руках, но его примитивным мозгам не осилить тонкостей финансовой техники. Этот тип, вызывающий у меня отвращение, не видит разницы даже между акцией и облигацией!

— Короче — зачем вы пришли?

— Познакомиться и договориться относительно гонораров на будущее. Вы начнете действовать по моему сигналу. Я готовлю для матери-России министра финансов, который нужен России.

— То есть не России, а вам!

— Но я уже сроднился с Россией: теперь что мне, что России — это один черт... Коковцев меня устроить не может.

— Вы надеетесь, что я способен свергнуть Коковцева?

— А почему бы и нет? Капля камень долбит.

Сегодня вы за табльдотом «Штандарта» скажете, что Владимир Николаевич демагог, завтра Распутин скажет, что Коковцев плут... глядишь, и царь задумался! Анархисты рвут министров бомбами, за это их вешают. Мы взорвем Коковцева шепотом, и никто нас не повесит. Напротив, мы с вами еще разбогатеем! А вы, чудак такой, схватились за свой острый ножик, на котором что-то еще написано...

Он взял кортик, прочел на лезвии торжественные слова: *«ШТАНДАРТ». ЧЕСТЬ И СЛАВА».*

6. ТРЕТЬЯ ДЕКАДА АВГУСТА

Весной 1911 года, когда возник кризис власти, Столыпин на три дня прервал сессию Думы, а Гучков — в знак протеста — сложил с себя председательские полномочия. Протест свой он выражал лично Столыпину, но — странное дело! — это нисколько не ухудшило их личных отношений. Гучков был страстным поклонником Столыпина, он преклонялся перед самой «столыпинщиной». Подобно провинциальной барышне, которая обвешала свою кровать карточками душки-тенора, так и Гучков буквально завалил свою квартиру бюстами, портретами и фотографиями премьера...

Столыпин позвонил ему по телефону:

— Александр Иваныч, мой цербер Курлов сообщил из Киева, что приготовления к торжествам закончены. Очевидно, я выеду двадцать пятого, дабы на день-два опередить приезд царской семьи. Не хотите ли повидаться... на прощание?

— С удовольствием. С превеликим!

— Тогда я скажу Есаулову, чтобы вас встретил...

Гучков на извозчике доехал до Комендантского подъезда Зимнего дворца, где его встретил штабс-капитан Есаулов — адъютант премьера, хорошо знавший думского депутата в лицо.

— Пра-ашу! Петр Аркадьевич ждет вас...

Столыпин сидел за чайным столиком возле окна, открытого на Неву; его острый чеканный профиль отлично «читался» на фоне каменной кладки фасов Петропавловской крепости.

— Ну, как там управляется на вашем месте Родзянко? — спросил он, подавая вялую прохладную руку, и, не дождавшись ответа, пригласил к столу: — Садитесь. Чай у меня царский...

В ресторане-поплавке играла веселая музыка.

— А дело идет к закату,— вздохнул Столыпин.— Запомните мои слова: скоро меня укокошат, и укокошат агенты охранки!

Премьер ожидал выстрела — не слева, а справа.

— Быть того не может,— слабо возразил Гучков.— Газеты пророчат, что в Киеве вы получите графский титул.

— Возможно,— отозвался Столыпин.— В разлуку вечную его величество согласится воткнуть мне в одно место павлинье перышко. В конце-то концов я свое дворянское дело сделал!

— Ваша отставка вызовет развал власти...

— Ничего она не вызовет,— отвечал Столыпин. Казалось, внутри его что-то оборвалось — раз и навсегда. Неряшливой грудой сваленные в кресло, лежали выпуски газет, в которых из «великого» его сделали «временщиком» и открыто писали, что царь лишь подыскивает благовидную форму, чтобы достойно облечь в нее падшего премьера. Столыпин буркнул:

— Здесь пишут, что даже Витте был лучше меня.

— Мария Федоровна не позволит сыну устранить вас!

Длинная кисть руки Столыпина, темная от загара, безвольно провисшая со спинки стула, в ответ слегка шевельнулась.

— Никакая фигура и никакая партия уже неспособны восстановить мое прежнее положение. Я физически ощущаю на себе враждебность двора... неприязнь царя и царицы.

Конечно, губернатором на Тамбов или Калугу его не посадишь. Гучков слышал, что специально для Столыпина замышляют открыть грандиозное генерал-губернаторство на Дальнем Востоке (почти наместничество). Поговаривали, что сделают правителем Кавказа. Столыпин с жадностью раскурил толстую папиросу.

— Не верьте слухам! Даже послом в Париж меня не назначат. Все будет гораздо проще, чем вы думаете. Я та самая кофейнка, которая попала в рот государю, когда он пил кофе: мешает, а сразу не выплюнешь. Однако,— продолжал Столыпин, покручивая в пальцах обгорелую спичку,— сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что Царское Село не может простить мне одного...

Чай был невкусен, и Гучков отставил чашку.

— Чего же там не могут простить вам?

Столыпин через плечо выбросил спичку в окно.

— Я не сошелся с Гришкой Распутиным! Меня с ним не раз сволакивали. Почти насильно, будто женить собирались. Я способен бороться с любым дьяволом. Но я бессилен побороть те силы, что стоят за Распутиным... Мы еще не знаем, кто там стоит!

Гучков вынес от этой встречи ужасные впечатления. Зарождалась какая-то новая бесовская авантюра, в которой до сих пор многое еще не выяснено, но Столыпин уже предчувствовал близость гибели...

...За неделю до отбытия в Киев царской семьи тронулись в путь еще два путешественника — Егорий Сазонов и Гришка Распутин, билеты у которых были взяты до Нижнего Новгорода.

Уже начинался дележ столыпинского наследства!

. . . . . .

Пропились в дороге так, что, когда вылезли из поезда на вокзале в Нижнем, наскребли в карманах только три рубля и шестнадцать копеек.

Прохожий показал, как пройти до присутственных мест, которые располагались внутри древнего нижегородского кремля, вблизи Аракчеевского кадетского корпуса. На их счастье, в канцелярии сказали, что губернатор на месте — в кабинете.

— Веди нас к нему,— велел Гришка чиновнику.

Хвостов без промедления принял обоих.

— Я о вас немало слышал,— сказал он Гришке. Это воодушевило Распутина, который, сидя на

стуле, расставив ноги, битых полчаса размусоливал зловещую тему о том, как его уважают цари и что он может сделать все что хочет.

— Все можете сделать? — прищурился Хвостов.

— Все,— ответил Распутин, не поняв иронии.

— Отлично, если так. А зачем в Нижний пожаловали?

Распутин сказал, что прибыли «посмотреть его душу».

— Душа — это слишком расплывчато. Нельзя ли точнее?

Молодой толстяк смотрел на них с умом, в щелках глаз Хвостова светилась нескрываемая усмешечка. Распутин сгоряча выпалил:

— Хошь быть министером дел унутренних?

— Премьер Столыпин и есть по совместительству эм-вэ-дэ. Так что, господа, вы предлагаете мне занятое место.

Распутин вскочил, пробежался по кабинету, приседая, длинные руки его хватали воздух, он выкрикнул:

— Ах, глупый! Сегодня есть Столыпин — завтра нету...

Можно понять недоумение Хвостова: ему тридцать восемь лет, гор не своротил, рек вспять не повернул, и вдруг ему, человеку с дурной репутацией, предлагают сесть на место Столыпина.

— Столыпин знает об этом? — спросил он.

— Упаси бог! — отвечал Распутин.

В разговор вклинился Сазонов:

— Вы нас неверно поняли. О нашей поездке никто не знает. Но поймите, кто послал... Мы же ведь тоже не с печки свалились.

— Я вас понимаю как самозванцев.

Распутин переглянулся с Сазоновым и сказал:

— Не веришь? Тогда скажу — мы из Царского Села...

Но имени царя не произнес, а Хвостов сильно колебался. До провинции столичные отголоски доходили не сразу, и фигура Столыпина из отдаления высилась нерушимо.

— Я вас больше не держу,— суховато кивнул он.

Сазонов шепнул Гришке:

— Скажи, чтобы на обед позвал... жрать-то надо.

Распутин снова расселся перед губернатором.

— Ты меня с женой да детками ознакомь.

— Это не обязательно.

— Тогда обедать нас позови.

— Обедать идите в кухмистерскую...

— Невежливый ты человек,— вздохнул Распутин.

Чрезвычайные царские эмиссары убрались.

Хвостов тут же позвонил губернскому почтмейстеру:

— Переслать мне все копии телеграмм в Царское Село...

Примерно через полчаса на его столе лежали бланки двух телеграмм Распутина о визите к Хвостову. Первая — императрице: «Видел молод горяч подождать надо Роспутин». Вторая — Вырубовой: «Хотя бог на нем почиет но чего то не достает...»

Отправив эти телеграммы, друзья подсчитали деньги.

— Рупь с медью! — сказал Гришка.— Хоть плачь!

Они зашли в тень памятника гражданину Минину.

— Что делать? — мучился Сазонов.— Ведь нам же еще билеты до Киева брать... Говорил я тебе, не пей, лопнешь.

— Не лопнем! У меня тута, в Нижнем, одна знакомая огородница живет. Ты постой в тенечке, а я мигом сбегаю.

— Не пропади! К бабе идешь, а я тебя знаю.

— Не бойсь. В момент управлюсь...

Управился он быстро и пришел с синяком под глазом.

— Ну как? Дала она денег? — спросил Сазонов.

— Сам вишь, червонец отвалила... Совсем озверела баба! Откеле же мне знать-то, что она замуж вышла? — Выбрав пятачок, он приладил его к синяку...

— Как же нам без денег до Киева добраться?

— Без нас там обойдутся...

Прибыв на вокзал к отходу киевского поезда, Распутин горячо убеждал своего робкого приятеля:

— Скажи кондуктору, будто товарища потерял, и ныряй в вагон. Он орать станет, а ты ничего не слушай. Заберись в уборную, на крючок закройсь и притихни. Будут стучать — не пущай...

— А как же ты, Ефимыч?

— Э-э! Здесь не останусь... Первый раз, што ли!

— Ну, а если нас ссадят с поезда?

— С одного ссадят — на другой пересядем... Не пойму я тебя, Егор! Вроде бы не дурак. Книжки пишешь. Журналы печатаешь. А скумекать не можешь... Давай! Поехали...

Утром на киевскую товарную станцию прибыл, громыхая буксами, порожняк для перевозки скота. Из грязной пахучей теплушки вывалились под насыпь издатель и праведник.

— Ну,— сказал Гришка, позевывая,— вот и Киев...

. . . . . .

27 августа часы на киевском вокзале показывали 00.44, когда к перрону подкатил столичный экспресс. Киев уже спал, отворив окна квартир, было душно. Из вагона вышел Столыпин с женою, их встречал генерал Курлов — без мундира, в пиджаке.

— Ну, как здесь? — спросил Столыпин.

— Тихо,— отвечал Курлов.

Сунув руки в карманы кителя, Столыпин через пустынный зал ожидания тронулся на выход в город. Впереди диктатора, сжимая в ладони браунинг, шагал штабс-капитан Есаулов. Захлопнув дверцы машины за премьером и его супругой, Курлов не спеша обошел автомобиль вокруг и уселся рядом с шофером.

— По Безаковской — быстро, направо — по Жандармской... Петр Аркадьевич, вам приготовлены три комнаты в нижнем этаже.

— Спасибо. Я хочу отдохнуть...

В этот же день от Петербурга отошел литерный экспресс с царской семьей...

7. СКАЗКА ПРО БЕЛОГО БЫЧКА

В полдень 26 августа Богров позвонил в охранку и попросил к телефону «хозяина». Кулябки на месте не было, а дежурный филер Демидюк велел пройти в Георгиевский переулок, где они и встретились, зайдя в подворотню. Богров сообщил о прибытии в Киев революционеров с оружием, на что Демидюк сказал:

— Дело швах! Повидай самого «хозяина»...

В четыре часа дня этот же Демидюк, со стороны Золотоворотской улицы, провел Богрова в квартиру Кулябки по черной лестнице. Кулябка встретил агента в передней, через ванную комнату они прошли в кабинет. Дверь в гостиную была открыта, доносился звон бокалов и крепкие мужские голоса. Кулябка сказал:

— Это мои приятели. Итак, что у вас серьезного?

К ним вышли подвыпившие жандармы — Курлов и полковник Череп-Спиридович, женатый на сестре жены Кулябки.

— Пусть говорит при нас,— хамовато заметил Курлов.

Суть рассказа Богрова была такова: в Киев прибыли загадочные террористы — Николай Яковлевич и какая-то Нина. Вооружены. Готовят покушение.

— На кого? — спросил Кулябка.

— Наверное, на Столыпина.

Где они остановились? — вмешался Череп-Спиридович.

— У меня же... на Бибиковском бульваре.

Историк пишет: «Жандармы всех стран и времен, как показывает опыт истории, являются весьма проницательными психологами, умеющими хорошо разбираться в людях, даже самых сложных: к этому их обязывает сама профессия!» И вот, когда Богров закончил рассказ, Курлов пришел в небывалое волнение. Несколько минут он отбивал пальцами по столу бравурный гвардейский марш: «Трубы зовут! Друзья, собирайтесь...» Потом сказал Кулябке:

— Ну что ж. Ничего страшного. Адрес агента господина Богрова известен. Бибиковский бульвар. Установим наблюдение.

Череп-Спиридович, как автор нашумевшей книги о партийности в русской революции, не преминул спросить у Богрова:

— К какой партии принадлежат ваши приятели?

— Кажется, эсеры,— ответил Богров.

Кто был сейчас дураком? Кажется, один полковник Кулябка, чего нельзя сказать про Курлова и Черепа-Спиридовича — опытных «ловцов человеков». Приход Богрова с его нелепой сказочкой про белого бычка — это была жар-птица удачи, сама летевшая им в руки. Курлов недавно, в связи с женитьбой, промотал несколько тысяч казенных денег, о чем Столыпин еще не знал. Но Курлов (через дворцового коменданта Дедюлина) уже пронюхал, что царь позволил Столыпину уволить Курлова после «киевских торжеств». При сдаче дел, несомненно, обнаружится и растрата. *Значит...*

— Значит,— сказал он,— нужны особые меры охраны!

Передать все тончайшие нюансы этой встречи невозможно. Богров, кажется, и не предполагал, что жандармы так охотно клюнут на его приманку. Вся обстановка напоминала грубейший фарс: сидят матерые волкодавы политического сыска и делают вид, что поверили в детский лепет дешевого провокатора. Это свидание подверглось анализу наших историков: «Гениальным политическим нюхом Курлов и К° учуяли, что неожиданный приход Богрова является тем неповторимым случаем, который могут упустить только дураки и растяпы. Они отлично знали, что предвосхищают тайное желание двора и камарильи — избавиться от Столыпина! Риск, конечно, был. Но игра стоила свеч...»

Курлову стало жарко — он раздернул крючки мундира на шее. Через десять лет, жалкий белоэмигрант, сидя на задворках мрачного Берлина, он будет сочинять мемуары, в которых, не жалея красок, распишет, как он любил Столыпина, а Столыпин обожал его — Курлова! Подобно лисе, уходящей от погони, он пышным жандармским хвостом станет заметать свои следы, пахнущие предательством. Но это случится через десять лет, когда Курлов даже бутылочке пивка будет рад-радешенек, а сейчас — за стенкой! — стол ломился от яств, и жандарм, в предвкушении небывалого взлета своей карьеры, хотел только одного: стопку холодной, как лед, анисовой и немножко икорки с зеленым луком...

— Я думаю, все уже ясно,— сказал он, поднимаясь.

Курлов остался пить анисовку, понимая, что Богров сделает его министром внутренних дел. Как сделает — это, пардон, уж дело самого Богрова... Грязно сделает? Плевать. Пускай даже грязно! Вообще, читатель, политика иногда выписывает такие сложные кренделя, каких не придумать и на трезвую голову. Богров уходил вдоль оживленного Крещатика, предоставленный самому себе, уже вовлеченный в водоворот честолюбивых страстей, и — что поразительнее всего! — Богров в этот день ощущал себя *государственным человеком...* Дома он сказал родителям:

— У меня сегодня был на редкость удачный день!

Папа и мама порадовались за сыночка, не догадываясь, что их дом уже насквозь просвечен полицейским рентгеном. В практике царской охранки известны два вида филерного наблюдения — густое и редкое. За домом Богровых установили густое! При этом даже самый хитрющий клоп, если бы ему пожелалось выбраться на улицу, не смог бы этого сделать — клопа заметили бы и арестовали. Конечно, никакая Нина, никакой Николай Яковлевич в дом Богровых не входили и не выходили...

Генерал Курлов начинал большую игру!

Ва-банк своей карьеры он ставил жизнь премьера.

И не только его... Может быть, и царя?

. . . . . .

Кулябка навестил киевского городского голову.

— Господин Дьяков, первого сентября в театре будет исполнена опера «Сказка о царе Салтане»... Мне бы билетов...

— Вам с женою — пожалуйста, всегда рады.

— Не мне. Надо обставить охрану царя.

Кулябка просил двадцать билетов, Дьяков дал ему семь.

— Простите, я должен записать номера рядов и кресел.

— К чему такой педантизм? — возмутился жандарм.

— Ах, милый Николай Николаевич,— отвечал Кулябке городской голова града Киева,— мало ли чего в нашей паршивой жизни не случается! И я не хочу, чтобы мне потом голову сняли...

Дьяков, среди прочих номеров, записал и данные рокового билета: ряд № 18, кресло № 406. Здесь будет сидеть Богров!

. . . . . .

Киев, 29 августа, обычный день... Коковцев вывез из столицы целый штат министерства — шло составление государственной сметы, и финансисты купались в морях монопольной водки, ухали миллиарды на постройку дредноутов, вкладывали миллионы в казенные пушечные заводы. В пушистом халате, попивая остывший чай, Коковцев расхаживал по канцелярии и чаще всего говорил, что «здесь надо урезать... тут сократить...». Потом фланирующим барином (еще красивый холеный мужчина), помахивая тросточкой, он прогулялся до квартиры премьера. С улицы стояла очередь ходоков и просителей: Столыпин продолжал в Киеве работу как министр внутренних дел,— нервный, задерганный, крикливый.

— Сейчас я кончу,— сказал он, завидев Коковцева. Они прошли в комнаты, где Ольга Борисовна, жена Столыпина, сервировала чай; премьер негодовал: — Я оставил свой автомобиль в Питере, надеясь, что мне, не последнему человеку в мире, выделят киевский... Черта с два! Жандармы забрали его себе. Просил у Фредерикса карету — говорит, что все заняты. И вот я, премьер, вынужден кричать на улицах: «Эй, извозчик!..»

Он спросил — надолго ли Коковцев в Киеве?

— Первого сентября мой вагон прицепят к питерскому.

— Завидую вам,— вырвалось у Столыпина.— Хочется домой. Честно говоря, неспокойно мне как-то... в этом Киеве!

Коковцев барственным жестом извлек из кармашка пестрого жилета дедовские часы, щелкнул крышкой.

— Ого! Скоро прибудет царь. Как бы не опоздать...

Столыпин ехал встречать царя на вокзал в наемной колясочке. Киев был расписан, как праздничный пряник. Дома украсились флагами, вензелями, портретами.

Он пробился на перрон, но в суматохе царь не обратил на Столыпина внимания. Разъезд кортежа прошел без него, и премьер в самом конце процессии трясся на своих дрожках, следуя за дежурными флигель-адъютантами. «Меня сознательно оскорбляют»,— шепнул он Есаулову... В публике городовые бесплатно раздавали брошюрки, срочно отпечатанные тысячным тиражом. Автором брошюрки считался Распутин, но я в это не верю. Вот образчики пропагандистской чепухи: «Что поразило встрепенуться и возрадоваться Киевскому граду? Так трепещет весь народ и аристократия, одни жиды шушукаются и трепещут... Солдатики просто не человеки — подобны ангелам: они от музыки забыли все человечество, и музыка отрывает их от земли в небесное состояние». Глупее — и хотел бы, да не придумаешь!.. Столыпину в политической феерии отвели место в хвосте, а все цветы и улыбки выпали на долю царя и царицы. Александра Федоровна сидела в ландо с гримасой на лице, которая по плану должна бы выражать любезность. И вдруг, презренная ко всем, она поклонилась — она отвесила поклон! — прямо в толпу киевлян, которые зашушукались:

— Кому ж из нас это она кланялась?

А средь прочих стоял мужик, который сказал:

— Да не шумите... это она мне кланялась!

Так киевляне узнали о присутствии в Киеве Распутина. Но в этой сцене была одна деталь. Когда царский кортеж проехал и показалась колясочка с жалким, словно его обухом пришибли, Столыпиным, Гришка взмахнул ручищами и громко запричитал:

— Смерть за ним идет! Смерть глядит на Петра...

Так и не выяснен деликатный вопрос: что знал Распутин и в какой степени был он посвящен в программу дальнейших событий? Но если знал Распутин, то выходит, что знал и... царь?

Столыпин выбрался из коляски, расплатился с извозчиком. Пройдя в комнаты, сразу же просил соединить себя с генералом Курловым, занимавшим номер в «Европейской» гостинице:

— Почему во время проезда я не был обеспечен охраной?

— Охрана была. Вы ее просто не заметили.

Столыпин бросил трубку и выругался...

. . . . . .

31 августа, время — 12.40...

Некто М. Певзнер позвонил на телефонную станцию:

— Барышня, мне нужен номер шестьсот девять...

Это был телефон Богровых в доме № 4 по Бибиковскому бульвару. На коммутаторе произошла осечка, и, подключив Певзнера к Богровым, барышня — по ошибке! — не разъединила прежнего разговора. Таким образом, киевский обыватель М. Певзнер явился нечаянным слушателем беседы Богрова с полковником Кулябкой:

— Вы обещали дать мне билет в Купеческий сад, где сегодня вечером будет встреча царя и его августейшей семьи.

— Я оставлю вам билет. Пришлите за ним кого-либо.

— Хорошо,— ответил Богров,— я пришлю. Спасибо.

Певзнер решил использовать эту ситуацию в своих личных целях. Позвонив на станцию, он попросил барышню снова соединить его телефон с квартирой Богровых.

— Слушай, Мордка,— сказал он ему на жаргоне «идиш»,— я сейчас слышал, как ты разговаривал. Ес-

ли ты имеешь роскошный блат с жандармами, так устрой мне и моей Идочке по билетику в Купеческий сад. Мы тоже хотим повеселиться.

Нависло молчание. Богров долго думал.

— Надеюсь,— отвечал по-еврейски,— ты достаточно умен, чтобы не болтать о том, что слышал. А билета тебе не будет...

Примечание: по законам департамента полиции все тайные агенты охранки, связанные провокаторской деятельностью в революционных партиях, никогда (!) и ни при каких условиях (!) не имели права (!) посещать места, где находятся члены царской семьи или члены правительства... Курлов разрешил это сделать.

— Богрову можно,— сказал он Кулябке.

Сказка про белого бычка увлекла его, как игра старого мудрого кота с жалкой мышью. Кот знает мышиную судьбу наперед, но мышь, сильно тоскуя, еще на что-то надеется...

. . . . . .

Вечер, восемь часов, Купеческий сад... Богров постоял возле эстрады, где пел украинский народный хор, затем перешел в аллею — поближе к царскому шатру. Он стоял в первом ряду, когда Николай II с Алисою прошли мимо него столь близко, что царь даже задел его локтем, а ветерок донес аромат духов императрицы. Вместе со всеми обывателями Богров кричал:

— Да здравствует великий государь... Сла-а-ава!

Но Столыпина не заметил, да это и немудрено. Обескураженный невниманием царя, Столыпин сознательно растворился в густой массе гуляющих. В этот день его фотографировали. Он был одет, как чиновник из дворян,— в белом кителечке и в фуражке с белым чехлом. Я не знаю, что означала повязка на его рукаве, похожая на траурную. Итак, премьер затерялся в толпе... Богров позже показывал: «Вернувшись из Купеческого сада и убедившись, что единственное место, где я могу встретить Столыпина, есть городской театр, в котором был назначен парадный спектакль 1 сентября, я решил непременно достать билет...»

Было полвторого ночи, когда Кулябку разбудили:

— Опять пришел этот Аленский-Капустянский.

— Пусть войдет... Что ему надо?

Богров, взволнованный, путано рассказывал:

— Оказывается, у Николая Яковлевича в портфеле бомба. Нина имеет два браунинга. Они поручили мне побывать в Купеческом саду, чтобы установить возможность покушения и расстановку охраны. У них есть связи, и они могут добыть билеты в театр...

— Государю опасность угрожает? — спросил Кулябка.

— Ни в коем случае! *За императора будьте спокойны.* А мне нужен билет в театр. Я просил тут одну проститутку Регину из кафешантана... она обещала... через знакомых в оркестре...

— Голубчик, о чем разговор! — сказал Кулябка.

И дал ему билет: кресло № 406 в ряду № 18.

— Спасибо.— Богров ушел спать; все заснули.

8. СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

А войска шли всю ночь — войска Киевского военного округа, войска особой выучки (драгомировской!). Они имели право шагать босиком, курить в строю и разговаривать, могли расстегнуться и даже сойти на обочину,— *это были лучшие войска России,* которые в мирные дни ходили как на войне. Всю ночь они держали устойчивый марш, уходя все дальше от Киева — для маневров. Сухомлинов, желая угодить царю, велел задержать марш-марш в пяти верстах от Киева, но тут возмутились драгомировские генштабисты:

— Здесь маневры, а не придворный спектакль...

После Сухомлинова пост киевского генерал-губернатора занимал генерал Трепов; в шесть часов утра, когда войска удалились от Киева на сорок пять верст, Трепов садился в автомобиль, чтобы нагнать их на марш-марше, и тут посыльный вручил ему записку от Кулябки, извещавшую, что на Столыпина готовится покушение. Трепов указал свите — предупредить об этом премьера:

— Скажите ему — пусть не высовывается на улицу!

В семь утра Столыпина разбудил Кулябка и подтвердил:

— На вас готовится покушение. Посидите дома...

После Кулябки его навестил Курлов — с тем же!

— Все это несерьезно,— отвечал Столыпин.

Курлов в разговоре с ним добавил:

— А за ваше пребывание *в театре мы спокойны...*

Утро 1 сентября нанесло Столыпину еще один страшный удар по самолюбию. 4 сентября царь намеревался с женой и свитой отплыть пароходом в Чернигов, придворное ведомство распределило каюты для сопровождающих царя, и тут выяснилось, что Столыпина... забыли! В гневе он позвонил Фредериксу:

— Шеф-повара государя вы не забыли, а премьера... забыли? Я уже не говорю о том, что каждый придворный холуй разъезжает на автомобиле, а я, премьер империи, на наемных клячах. Я молчу о том, что вы не дали мне экипажа. А теперь...

— Петр Аркадьевич,— отвечал министр императорского двора,— извините, но для вас места на пароходе не хватило.

— Кто составлял список пассажиров?

— Кажется, Костя Нилов...

Штабс-капитан Есаулов навестил с утра пьяного Нилова.

— По-моему,— сказал ему офицер,— один премьер империи стоит того, чтобы высадить с парохода половину свиты.

Бравый алкоголик Нилов спорить не стал:

— Хорошо, я сразу доложу его величеству... — и скоро вышел из царских покоев.— Государь указал, что премьера не надо!

— Зато теперь все ясно,— вздохнул Столыпин, выслушав Есаулова, и позвонил Коковцеву.— Доброе утро, дорогой мой...

Коковцев, дабы скрасить отверженность премьера, каждодневно обедал с супругами Столыпиными в ре-

стороне, но сейчас он извинился, что сегодня будет вынужден обедать отдельно:

— У меня встреча с друзьями юности — лицеистами.

— Надеюсь, на ипподром мы поедем вместе?

— Да, конечно. Я заеду за вами...

В 14.00 ожидался приезд царской семьи на Печерский ипподром, где должны состояться скачки и смотр «потешных». За полчаса до этого игрища Коковцев заехал за Столыпиным, который пересел в экипаж министра финансов. Лошади красиво взяли разбег.

— Вот что! — сказал Столыпин.— Я не хочу, чтобы это разглашалось, но есть сведения, что на меня готовится покушение. А потому будет лучше, если мы сей день будем кататься вместе.

С точки зрения человеческой морали Столыпин поступал не ахти как прилично. Коковцев сознавал всю опасность для себя соседства Столыпина, но, человек воспитанный, с замашками былой уланской доблести, он ограничился лишь кратеньким замечанием:

— Не очень-то любезно с вашей стороны...

— Ерунда! Я жандармам не верю,— буркнул Столыпин, и здесь я еще раз замечаю, что он поступил не по-рыцарски, заслоняясь от пуль телом своего коллеги, который в высшей степени благородно согласился быть для него этой живой «заслонкой».

. . . . . .

Богров до полудня зашел в «Европейскую» гостиницу, где в номере генерала Курлова еще раз повидался с жандармами. Он сказал им, что Николай Яковлевич и Нина, очевидно, расположены ждать вечера, когда Столыпин двинется в театр. Кулябка заметил на это, что было бы хорошо, если Богров оповестит филеров наружного наблюдения о выходе террористов из дома курением папиросы. Богров охотно согласился закурить папиросу...

— Брать будем на улице,— решил Кулябка.— Как он закурит папироску, так сразу налетим и сцапаем.

Узнав, что на ипподром съезжаются царь и его свита, Богров взял коричневый пропуск, удостоверяющий его службу в охранке, и покатил туда же, имея в кармане браунинг. Но секретарь «Киевского бегового общества», некто Грязнов, парень из жокеев, узнал Богрова в лицо как заядлого игрока в тотализатор.

— Эй,— сказал он ему,— а тебе чего тут надобно?

— Я жду придворного фотографа,— смутился Богров и тишком показал коричневый билет, шепнув: — Ты ведь тоже в охранке?

Грязнов выплюнул изо рта папиросу и со словами.— «Ну, держись, морда поганая!» — пинками выставил Богрова с ипподрома.

А ведь Богров уже занял хорошую позицию для стрельбы. От министерской ложи его отделяло всего три шага, и он видел спину Столыпина... Жокей, сам того не ведая, спас премьера!

. . . . . .

Благородное вино, искрясь радостью, хлынуло в сияющие бокалы. Коковцев принимал в гостинице друзей юности — лицеистов. При этом он вел себя как настоящий аристократ, одинаково ровно и любезно общаясь со всеми – и с теми, которые достигли высоких чинов, обросли имениями, и с теми, кто едва выбился в жизни, погряз в долгах и неудачах, опустился и раскис.

— Извините, вынужден на минутку оставить вас... дела! — В канцелярии он напомнил чиновникам, чтобы позвонили на вокзал — вагон министерства финансов надо прицепить к вечернему поезду. После чего вернулся в компанию лицеистов.— Очень приятно быть в Киеве, но для нас, лицеистов, до смерти «целый мир чужбина, отечество нам Царское Село»! — Раскурив папиросу и жестикулируя, отчего резко вспыхивал алмаз в его запонке, представитель винной монополии старался реабилитировать себя в обвинениях, будто он, министр финансов, строит бюджет государства на продаже казенной водки.— Самое главное — золотой запас,— заключил он с вызовом.— Поверьте, после меня кладовые банков России будут трещать от накоплений чистого сибирского злата...

Войдя на цыпочках, чиновник особых поручений шепнул ему на ухо, что пора в театр. Старые обрюзгшие лицеисты, которых Коковцев помнил еще юными непоседами-шалунами, расходились, отчасти подавленные величием своего товарища, а Коковцев в экипаже поехал за Столыпиным. Усевшись с ним рядом, премьер сказал:

— Если в театре ничего не случится, значит, вообще ничего не случится...

Театр был переполнен разряженной публикой, в толчее и давке штабс-капитан Есаулов с трудом отыскал Курлова.

— Еще раз прошу обеспечить охрану премьера.

В первом ряду сидела вся знать, министры и генералитет. Ровно в 9.00 царскую ложу заняли Николай II с женою, занавес взвился, блеснула томпаковая лысина дирижера, и грянула веселая брызжущая музыка... «Сказка о царе Салтане» началась!

. . . . . .

Перед финалом оперы Кулябка велел Богрову сбегать домой, чтобы узнать, где сейчас Николай Яковлевич с бомбой и Нина с браунингами. Богров вскоре же, постояв на улице, вернулся и сказал, что террористы ужинают. В первом антракте Кулябка опять наказал ему проверить, что делают покусители.

С волнующим шорохом занавес поплыл вниз, очарование исчезло, и зал медленно наполнился электрическим светом. Сразу же по краям первого ряда кресел (как бы замыкая министров по флангам) встали два жандармских полковника — Иванов и Череп-Спиридович: внешне равнодушные, они зорко следили за настроением зала... Столыпин в антракте разговаривал с Сухомлиновым; премьер стоял лицом в зрительный зал, а спиною облокотился на барьер оркестра. Коковцев подошел к нему проститься.

— Как я вам завидую,— произнес Столыпин.

— В чем дело? Бросайте эту глупую «Сказку», берите под руку Ольгу Борисовну, а мой вагон всегда к вашим услугам.

— Не могу,— выговорил Столыпин,— я думаю, что все-таки надо съездить в Чернигов, чтобы взнуздать тамошнего губернатора Маклакова.

Коковцев направился к выходу, и в узком проходе лицом к лицу столкнулся с идущим навстречу молодым человеком в пенсне. Это был Богров, который театральной афишкой прикрывал оттопыренный карман с оружием. Возле самых дверей Коковцева остановил сухой и отрывистый треск (характерный для стрельбы из браунинга). Было всего два выстрела — одна пуля прошила руку Столыпина, вторая погрузилась в печень и застряла в ней. Коковцев от выхода сразу же повернул обратно, но пробиться через публику оказалось невозможно. В театре началась паника! Затолканный слева и справа, Коковцев беспомощно крутился между кричащими дамами, и только сейчас он смутно начал догадываться, что его, как царя Гвидона, волнами этой толпы прибивает к сказочному граду Леденец, где его и попросят княжить,— на место того человека, который сейчас провис через оркестровый барьер, как худая мокрая тряпка...

При первом же выстреле Череп-Спиридович выхватил шашку и бросился на Богрова, чтобы в крутом размахе разрубить его череп, как арбуз, на две половинки. Но к Богрову было уже не пробиться — толпа, озверелая и кричащая, растерзывала его, и тогда Череп-Спиридович (весьма дальновидный) отбежал к царской ложе, где, не убирая шашки, он встал подле царя, демонстрируя перед ним свою боевую готовность. *Богрова убивали!* Жандармский полковник Иванов кинулся спасать его. Не впутанный в курловские интриги, Иванов твердо понимал одно — Богрова надо сохранить ради *следствия*. Этим-то он и спутал все карты игры Курлова.

Человек страшной физической силы, Иванов словно котят разбросал вокруг себя публику и выдернул Богрова из толпы, как выдергивают пробку из бутылки. После этого одним мощным рывком он воздел убийцу над собой, держа его словно напоказ на вытянутых руках. Весь театр видел, как Богров, описав плавную траекторию, перелетел через барьер и рухнул прямо в оркестр, ломая и круша под собой хрупкие пюпитры обалдевших музыкантов. Вслед за ним в оркестровую яму прыгнул и сам полковник Иванов, сразу и ловко заломивший руки провокатора назад.

— *Теперь ты мой,*— сказал он, лежа поверх Богрова.

«Сказка о царе Салтане» закончилась. К театру уже подкатывали кареты: одна санитарная, другая тюремная... Царская ложа давно была пуста.

. . . . . .

Коковцев заскочил внутрь санитарной кареты. Столыпин лежал на полу, ботинки его почему-то были расшнурованы, рубашка задрана, на животе виднелось красное пятнышко — след пули, ушедшей внутрь. Лошади трясли карету по булыжникам мостовых, они ехали на Малую Владимирскую — в частную клинику доктора Маковского... Столыпин страдальчески выхрипывал из себя:

— Я знал, что этим все кончится... Мне теперь уже безразлично, откуда летели пули,— слева или справа...

Столыпина сразу же отнесли на операционный стол. Вынуть пулю из печени оказалось нелегко. Был уже час ночи, когда Коковцева позвали к телефону клиники. Он решил, что звонит сам государь, но в трубке послышался рыкающий голос:

— Жиды убили русского премьера русского правительства в русском граде Киеве в русской опере на представлении русской сказки о царе Салтане. Так вот, предупреждаем, что если Столыпин умрет, мы завтра же устроим жидам кровавую баню...

— Кто говорит со мною? — спросил Коковцев.

— Балабуха... киевский кондитер. А что?

— Да нет. Ничего. Приму к сведению...

Опять звонок — генерал-губернатор Трепов:

— Такая каша... Можете срочно приехать ко мне?

— Не могу. Пулю еще не вынули. А что за каша?

— Да опять с жидами,- проворчал Трепов.

Было три часа ночи, когда в чашку звонко брякнулась пуля, извлеченная из печени. Коковцев спросил Маковского — как дела? Тот ответил, что положение слишком серьезное.

— Есть ли надежда, что Столыпин выживет?

— Вряд ли... все-таки — печень.

Санитары вывели в коридор Ольгу Борисовну; увидев Коковцева, женщина без слез, но яростно прошептала:

— Этого бандита Курлова я бы сама убила...

В четвертом часу ночи Коковцев приехал к Трепову.

— Утром в Киеве начнется резня. А войска гарнизона на маневрах. Казаков нет. Я погибаю. Что делать?

Коковцев сказал, что еврейского погрома допустить никак нельзя. Маневры должны были начаться уже сегодня, а царя Коковцев мог увидеть не раньше двух часов дня. К этому времени все перья из подушек будут уже выпущены.

— Я сам боюсь погрома,— заявил Трепов.— В другое время — куда ни шло, ладно. Но сейчас в городе-то царь! При нем как-то неудобно выпускать пух на Подоле...

— Погрома не будет,— твердо сказал Коковцев.— Сейчас, по праву, мне данному, я принимаю на себя обязанности Столыпина и волею председателя Совета Министров приказываю вам срочно отозвать с маневров кавалерию и казачьи части обратно в город. Чтобы к рассвету они были на улицах еврейского Подола.

— Да как же они поспеют?

Коковцев вспомнил молодость, когда выслуживал ценз в лейб-гвардейских уланах. Он сказал Трепову:

— На шпорах, на шенкелях... все в мыле! Поспеют...

Запахнув крылатку, он пошел прочь. Было уже четыре часа ночи. Коковцев позвонил в Николаевский дворец, чтобы сообщить царю о смертельном ранении Столыпина, о том, что утром возможен еврейский погром, но дежурный чиновник сказал ему:

— Его величество сразу, как вернулись из теат-

ра, попили чайку и преспокойно легли спать... Велели не будить.

Коковцев раздвинул занавеси на окне. Улица была наполнена тенями. Тени, тени, тени... Скрип тележных колес, тихий плач детей. Уже началось поголовное бегство евреев из Киева [1]. К утру в городе не осталось ни одного еврея, а поезда не успевали вывозить их со скарбом. Через шесть лет Коковцев вспоминал: «Полки прибыли в начале восьмого часа утра, и погрома не было. Станция Киев и площадь перед вокзалом представляли собой сплошное море голов, возов подушек и перин...» В этой толпе несчастных людей не было ни одного, кто бы не проклинал Богрова за его выстрел!

9. ТЕПЕРЬ ОТДЫХАТЬ В ЛИВАДИЮ

Во время от полуночи до трех часов ночи, когда хирурги извлекали пулю из столыпинской печени, Курлов спросил Спиридовича:

— Ты почему сразу не рубанул его шашкой?

— Не пробиться было. Свалка началась.

— Вот теперь жди... свалка тебе будет!

И горько рыдал Кулябка — от жалости к самому себе:

— Я же его и заагентурил... Теперь мне крышка!

Богров жив. Богров в лапах киевской прокуратуры.

— Его надо вырвать... с мясом! — сказал Курлов.

Допрос и обыск Богрова начался в буфете Киевского театра. Присутствовали киевский прокурор Чаплинский и его помощники. Из фрачных карманов убийцы на стол сыпались визитные карточки. Был обнаружен и билет кресла № 406 в ряду № 18.

— Кто вам его выдал? — спросил Чаплинский.

— Полковник Кулябка.

— Запишите, — велел прокурор секретарю.

Службу в охранке Богров отрицал.

— Запишите и это. Потом проверим...

Из охранки прибыл в буфет пристав Тюрин.

— Имею приказ генерала Курлова забрать преступника.

— Куда? — спросил Чаплинский.

— Известно куда... все туда.

— Возьмете его только через мой труп.

— А что мне передать? Там Кулябка плачет.

— Так и передайте, что прокурор возражает. А плачущего Кулябку доставьте сюда... как свидетеля.

Кулябка, прибыв в театр, настаивал на свидании с Богровым наедине с ним, «желая получить от него очень важные сведения». Чаплинский ему отказал. Кулябка попросил прокурора выйти в фойе театра, и там, плача, он говорил, что никогда бы не дал Богрову билет в театр, ибо законы тайного сыска уважает, но на него нажал Курлов... В конце беседы он произнес с отчаянием:

— Курлов-то выгребется, а мне... пулю в лоб?

Курлов сам позвонил в театр Чаплинскому:

— Богров — революционер, это ж сразу видно.

— Я еще не выяснил, кто он,— отвечал Чаплинский.

Богрова опутали веревками с ног до головы, зашвырнули в карету и отвезли в каземат «Косого канонира», где за него сразу же взялся следователь по особо важным делам Фененко.

— Если вы революционер, то почему же выбрали в театре, где находился царь, своей целью не царя, а Столыпина?

Богров резко и непримиримо отверг свою принадлежность к революционным партиям России и добавил, что боялся стрелять в царя, ибо это могло бы вызвать в стране погромы. Он продолжал считать себя великим «государственным человеком» и верил в будущую славу — пусть даже геростратову! Не сразу, но все-таки он признал, что является агентом царской охранки.

— Подпишитесь,— сказал Фененко в конце допроса.

Богров отказался подписывать протокол в той его части, где зафиксированы его слова о боязни погрома.

— Почему упорствуете? — спросил Фененко.

— Потому что правительство, узнав о моем заявлении, будет удерживать евреев от террористических актов, устрашая их последующей за актом организацией погрома...

По записной книжке Богрова, начатой им с 1907 года, жандармы произвели в Киеве свыше 150 арестов. Все делалось с нахрапа, без проверки, и тюрьму забили ни в чем не повинные люди — врачи, артисты, певички, адвокаты, проститутки, студенты, прачки. Из тюрьмы в город выплеснуло мутную волну: Богров — провокатор!

Вот тогда киевский голова Дьяков (человек осторожный и дальновидный) созвал журналистов, дав им пресс-конференцию.

— Обращаю ваше внимание! — заявил он.— Киевская городская дума ни в чем не виновата. Мы не давали Богрову билет на вход в театр. Полковник Кулябка из жандармского управления Киева выцарапал у меня семь билетов для своих агентов. Я записал их номера. Пожалуйста! Ряд восемнадцатый, кресло четыреста шестое. Это как раз место убийцы. А я не давал Богрову билета.

Ему был задан скользкий вопрос:

— Значит, Богров — агент царской охранки?

Дьяков (повторяю) был человеком осторожным.

— А я в такие дела не путаюсь,— отвечал он, сворачивая свою кургузую конференцию, благо *главное было уже сказано.*

Городская дума за свой счет выстелила Малую Владимирскую улицу мягчайшим сеном, чтобы проезд экипажей не беспокоил Столыпина, умиравшего в палате клиники Маковского. 3 сентября премьер вдруг почувствовал облегчение и вызвал Коковцева.

[1] В 1968 г. наша печать опубликовала найденное в архивах «Дело Коковцева», где сказано: «Этот вопрос о погроме в связи с убийством Столыпина мало известен». Описание массового бегства евреев из Киева в ночь с 1 на 2 сентября 1911 г. дано в автобиографическом романе польского писателя Яна Бжехвы, проведшего свою юность в Киеве (Пора созревания. М., 1964).

Он передал ему ключ от своего портфеля с секретными документами государства, попросил сиделок и врачей удалиться.

— Известно,— сказал Коковцеву с глазу на глаз,— что на совещании у кайзера немцы решили начать войну против России в 1913 году, а на посту военного министра находится человек в красных штанах, который ни к черту не годен. Убирайте его! А заодно уж, Владимир Николаич, сковырните и нижегородского губернатора Хвостова — я не успел до него добраться...

Киев наполнился слухами, что премьер поправляется. «Сдохнет!» — выразился Распутин. (Гришка сейчас выжидал, когда царь с царицей позовут его отдыхать в Ливадию...) 4 сентября Столыпину стало хуже, а Николай II не отложил поездки в Чернигов; расцвеченный лампочками пароход отвалил от пристани, а Коковцев сказал: «И так всегда! Если предстоят неприятности, государь оперативно сматывается куда-нибудь подальше». 5 сентября Столыпин скончался, а Богров продолжал давать откровенные показания, подробно оглашая свои похождения. Допрос гнали с такой быстротой, будто судьи опаздывали на последний трамвай. Курлов сознавал, что авантюра удалась лишь наполовину: Столыпин убит, а Богрова, чтобы не наболтал лишнего, надо как можно скорее сунуть в петлю. 8 сентября следствие торопливо свернули. В казематах «Косого капонира» состоялся закрытый судебный процесс. Не жажда мести руководила судьями — нет, их поджимали сроки... Кулябка плакал, и Богров стал его выгораживать. Получилась замкнутая реакция: жандарма Кулябку выручал провокатор Богров, а Кулябка выкручивал из этого дела Курлова, ибо понимал, что если потопит Курлова, то и сам оставит после себя на воде одну лишь «бульбочку»... Зачитали приговор — смерть через повешение!

10-го числа полковник Иванов велел привести Богрова.

— Один вопрос! — сказал полковник.— Чем объяснить ваш образ поведения на суде, когда вы стали выгораживать Кулябку?

— Просто он растерялся. Мне стало его жалко.

— Верю! Завтра вас ждет смерть. Рано утром, когда на Подоле запоют петухи. Можете писать письма. Вот бумага...

Но тут к жандармам заявился киевский кондитер Балабуха.

— Этот номер не пройдет! — заявил он чистосердечно.— Знаем, как это делается. Повесите куклу из тряпок, а потом скажете, что казнили Богрова... Мы, киевские союзники, истинно русские, воистину православные, хотим сами жида вешать.

Иванов сказал Балабухе, что линчевать Богрова им никто не позволит, а делегацию «союзников» до места казни допустят. Смерть Столыпина оставила народ равнодушным. В защиту Богрова общественность страны не вступилась. Против казни убийцы прозвучал *только один протест* — от вдовы и детей самого Столыпина.

. . . . . .

Черниговский губернатор Николай Алексеевич Маклаков был сегодня в ударе. Перед дверями в столовую его дома стояли царь в мундире преображенца и царица в белом с золотом платье.

Обед начался. Пока царственные гости насыщались, губернатор успел проявить клоунские, актерские и имитаторские таланты. Кричал петухом и рыкал львом.

В курильной комнате царь сказал губернатору:

— Скажите, а вот в Думе есть ученик самого Плевако — некий Василий Алексеевич Маклаков... это, кажется, ваш брат?

— Увы,— загрустил губернатор,— стыдно за кадета Васю, говорил я ему — не трепись, братец, но куда там! Занесло! И стал членом ЦК... Объясню суть: еще в детстве меня отец часто порол, а Васю никогда. Это его и развинтило! Я, сеченый, пошел в эм-вэдэ, а несеченый Вася подался в кадеты.

Царь покидал Чернигов в отличном настроении.

— Николай Алексеич,— сказал он Маклакову,— Чернигов под вашим правлением произвел на меня отрадное впечатление. Благодарю за службу, за вкусные обеды и за минуты искреннего веселья.

Коковцев, встретив царя на киевской пристани, сразу же завел речь о том, что надо провести жестокий процесс над главными виновниками гибели Столыпина: «Ясно, что Курлов не стрелял в Столыпина, но рука Курлова направляла руку Богрова...» На автомобиле подъехали к Николаевскому дворцу.

— Сегодня восьмое сентября,— сказал царь, листанув настольный календарь.— Та-ак... завтра я выезжаю в Ливадию.

— Как? Разве не будете присутствовать на похоронах?

— Я бы остался, но... жена! Она не любит сцен.

— Ваше величество, вы хоть взгляните на него. Вы столько лет работали вместе... Больше вы его никогда не увидите.

— Хорошо, я постою у его гроба.

Коковцев ждал, что над гробом Столыпина царь открыто призовет его на пост премьера империи, но царь в раздумье постоял возле покойника, не глядя на него, и молча удалился. Коковцев не знал, что накануне вечером Николай II спрашивал у Распутина — кого ставить в министры внутренних дел?

— А, чего уж там выбирать... давай Хвоста!

. . . . . .

Малую Владимирскую улицу переименовали в Столыпинскую, а на рассвете 11 сентября Богрова казнили. Виселица была установлена в одном из фортов Киевской крепости — как раз на Лысой горе, где, по преданиям, свершался шабаш всякой нечистой силы. От встречи с духовником Богров отказался, писем для родных не оставил. А смерть он встретил весьма спокойно...

Днем к перрону киевского вокзала был подан царский экспресс. Провожать императора в Ливадию собралась местная знать, тузы дворянства и столпы местной бюрократии, но государь почему-то задерживался. Вдруг на перроне показался скороход, одетый так, как одевались пажи времен веселой Елиза-

веты — с крылышками Юпитера на лодыжках ног. Запыхавшись, он объявил, что его (Коковцева) «очень ждет» император. Коковцев велел шоферу ехать быстрее и скоро предстал перед царской четой. Слуги уже стаскивали вниз баулы с туалетами, царица перед зеркалом примеряла громадную шляпу. Состоялся разговор — краткий, нервный, торопливый.

— Владимир Николаич,— сказал царь,— я решил дать портфель внутренних дел нижегородскому губернатору Хвостову.

— Назначение такого человека, каков Хвостов, будет означать, что вы добровольно бросаетесь в пропасть. Одно дело — министр земледелия: если он запорет нам один урожай, мы его выкинем и поставим другого. Но нельзя эм-вэ-дэ вручать Хвостовым!

— Отчего вы так суровы к Алексею Николаевичу?

— Среди наших губернаторов масса безобразников, но такого хулигана, каков Хвостов, пожалуй, сыскать трудно...

— Хорошо,— сказал Николай II, протягивая руку.— О министре дел внутренних я еще подумаю. А вы будете моим презусом...

Слово сказано! Коковцев передохнул так, будто сбросил с себя тяжелый мешок. Но царь вдруг повернулся к презусу, и в его «глазах газели» блеснула яркая, выразительная злость.

— Надеюсь,— отчеканил он в разлуку,— *вы не станете заслонять меня, как это делал покойный Столыпин!*

В этой фразе затаилась разгадка убийства Столыпина...

10. ТАК БЫЛО — ТАК БУДЕТ!

После революции на глухой окраине Киева, во дворе чугунолитейного завода, много лет стоял бронзовый Столыпин с отбитым носом и, философски заложив руку за отворот сюртука, терпеливо поджидал своей очереди на... переплавку (СССР нуждался в ценных металлах!). А на улицах Киева торчал монумент, с которого свергли памятник, и на нем можно было прочесть столыпинские слова: «Вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия!» В эти годы, первые годы социализма, нашлись горячие головы, которые пожелали на месте бронзового Столыпина водрузить гипсового Богрова, чуточку видоизменив надпись на постаменте: «Нам не нужна великая Россия — нам нужны великие потрясения!» Советским историкам пришлось проделать адову работу (она продолжалась и продолжается сейчас), чтобы выяснить подлинный образ Богрова, и теперь нам уже ясно, что революционера Богрова никогда не было — был подленький торгаш-провокатор, который на убийстве и предательстве делал гешефт своей посмертной славы. Выстрелы в киевском театре прозвучали не слева, а справа. Пуля, сразившая Столыпина, была начинена ядом реакции...

Революция свергла памятник диктатору.

Но революция не ставит памятников провокаторам!

Вообще этот выстрел был никому не нужен. Столыпин как политический деятель давно агонизировал — Богров только ускорил эту агонию... А через три года Коковцев рассказал французскому послу Морису Палеологу:

— Знаете, почему царь отказался участвовать в похоронах Столыпина, а царица даже не подошла к его гробу? Столыпин в конце жизни разочаровался в верности своего пути и стал указывать царю, что монархический строй России нуждается в демократизации. И когда я позже упоминал имя Петра Аркадьевича, царь всегда отвечал мне одно: «Сам бог хотел, чтобы его не стало!»

. . . . . .

Морис Палеолог иногда посещал на Литейном проспекте книжный магазин издателя Соловьева, чтобы не купить, а полюбоваться французскими изданиями XVIII века. В один из дней посол копался в редкостных книгах, когда в магазин вошла красивая женщина с бархатными глазами. На ней было платье из серебристого шелка, отделанное кружевами, а поверх плеч накинута расстегнутая шубка из шиншиллы. При свете люстры на шее женщины сверкало чудное антикварное ожерелье. Приказчики засуетились, подвигая ей кресло, из конторки выбежал сам Соловьев, раскрывший перед дамою громадный фолиант с гравированными портретами. Палеолог обратил внимание, что красавица со вкусом рассматривала гравюры, через линзу отмечая отточенность линий, и каждое движение дамы было подчеркнуто грациозно. Купив несколько портретов, она, со смехом рассказывая что-то очень забавное, попрощалась с Соловьевым за руку (на республиканский лад) и вышла на улицу, где шофер в форме гусара предупредительно распахнул перед нею дверцу автомобиля. Палеолог спросил:

— Отчего я не видел этой дамы в Петербурге?

— Вы и не могли ее видеть,— отвечал книготорговец,— ибо она приехала из Орла, где ее муж командует кавалерийской дивизией... Это графиня Наталья Брасова.

— Брасова... не помню такой фамилии.

— Брасово — имение великого князя Михаила Александровича, брата царя, и по имению его она обрела себе титул.

— Морганатическая жена?

— Да не жена... метресса. В случае брака с нею Михаил механически теряет свой титул «регента».

— Она оригинальна и даже... чуточку вызывающа.

— Вы не ошибаетесь, посол: графиня Брасова позволяет в своем политическом салоне высказывать такие дерзкие мысли, за которые любой другой на ее месте получил бы двадцать лет каторжных работ...

. . . . . .

Михаил проживал частным лицом, не впутываясь в дела государства. Брат-высочество не был похож на брата-величество: царь — скупердяй, а Мишка мог отдать последнее, царь жесток и мстителен, а Мишка многое людям прощал. После того, как при нем появилась Наталья, царь спровадил братца в Орел, где он командовал 17-м гусарским полком, увлекался

новым делом — авиацией, был отличным шофером высшего класса. В табельные дни гусары совершали «проездку» по улицам города. Впереди гарцевал на жеребце сам Мишка.

В канун убийства Столыпина, будучи под негласным надзором полиции, Мишка с Натальей умудрились скрыться за границу. Ощутив в этом некую угрозу престолу, царь поставил на ноги секретную агентуру. В погоню за беглецами бросился генерал-майор корпуса жандармов Герасимов... Мишка был простак! Вся оперативная работа по избежанию ареста проводилась Натальей, женщиной хитрой и ловкой, как Мата Хари. Из Берлина, где они поначалу скрывались в санатории д-ра Аполанта, «супруги Брасовы» выехали в Киссенген; отсюда они дали телеграмму в берлинский отель «Эспланад» — чтобы забронировали за ними два спальных места на поезде от Франкфурта до Парижа. Царская охранка, узнав об этом, метнулась обратно — кто в Париж, кто в Берлин, а беглецы уже мчались в автомобиле через горные перевалы Швейцарских Альп. Ночью их стали преследовать фарные огни автомашины генерала Герасимова; Наталья, закурив папиросу, достала из ридикюля браунинг с нарядною перламутровой ручкой. Мишке она сказала:

— Не отвлекайся — я открываю огонь.

Со звоном вылетело разбитое стекло: Наталья со вкусом разрядила весь барабан в настигающую машину охранки.

— Я разбила им радиатор,— сообщила радостно...

Прибыв в Вену, они посетили сербскую церковь св. Саввы, где священник без канители оформил их брак. Степан Белецкий телеграфировал Герасимову шифрованное указание царя, что «Эрнеста» и «мадам Жюлли» следует залучить в западню и тайно доставить на родину. До Ливадии не сразу дошло, что Мишка вступил с Натальей в законный брак... Алиса была очень обрадована.

— Тайным браком с потаскухой твой брат сам устранил свои права на занятие им престола, к которому Наташка подбиралась, и нам осталось только утвердить это положение...

Михаила тут же лишили титула регента при наследнике, царь запретил ему появляться в России, а имения великого князя секвестровали, о чем и было объявлено в торжественном манифесте. Вслед за этим Мария Федоровна забрала свой двор и, заодно с мужем Шервашидзе, перебралась на постоянное жительство в Киев — подальше от сына-царя. Теперь, если наезжала в столицу, то разбивала свой бивуак в Гатчинском замке или на Елагином острове.

Михаил оказался на положении вынужденного эмигранта. «Граф Брасов» со своей «графиней» проживал в Европе, пока не вспыхнула война с Германией, позволившая ему вернуться на родину, и в планах дворцовых заговорщиков Михаил будет идеальным кандидатом на занятие царского престола.

. . . . . .

Кулябка, отсидев несколько лет в тюрьме, служил агентом по распространению швейных машинок известной компании «Зингер». Старый, обремененный семьей человек таскал по этажам на своем горбу тяжелую машинку, на кухнях перед домохозяйками он демонстрировал, как она ловко оставляет строчку на марле и дает прекрасный шов даже на пластине свинца. С ним все ясно! Кулябка — обычный «стрелочник», виноватый за то, что поезд полетел под откос. Зато прокуратура в кровь изодрала себе пальцы, но так и не смогла затащить в тюремную камеру генерала Курлова: в процесс вмешалась «высочайшая воля».

— К нему всегда придираются,— говорил Коковцеву царь,— а Курлов хороший человек. Я велю дело его предать забвению.

— Но этим самым,— упорствовал новый премьер,— вы утверждаете общественное мнение, которое убеждено, что именно Курлов устранил Столыпина ради выгод своих и...

— Перестаньте! Курлова я не дам в обиду.

Генерал вышел в отставку, и вплоть до войны с Германией он проживал на коште Бадмаева, который выплачивал ему немалый «пенсион», как человеку, который себя еще покажет. Но с удалением из МВД Курлова еще выше подскочил Степан Белецкий — он стал директором департамента полиции! Дележ столыпинского наследства заканчивался. Коковцев удержал за собой прежний пост министра финансов. А портфель внутренних дел в кабинете Коковцева получил невыразительный педант консерватизма Макаров — тот самый, который после Ленского расстрела заявил: «Так было — так будет!..»

Со Столыпиным отошла в былое целая эпоха русской истории, а на развале столыпинщины укрепляла свои позиции распутинщина. Мир церковной элиты, едва сдерживаемый Саблером, содрогался от грозного величия нахального варнака. Но уже вставала сила махровая, сила дремучая, ярость первозданная — в Петербург ехали «богатыри мысли и дела» Пересвет с Ослябей... Епископ Гермоген всю дорогу щелкал в купе поезда громадными ржавыми ножницами, взятыми им напрокат у одного саратовского кровельщика. Показывая, как это делается, епископ говорил Илиодору:

— Один только чик — и Гришка не жеребец! Потом мы его, паршивца, шурупами к стенке привинтим и плевать в него станем...

11. КУТЕРЬМА С НОЖНИЦАМИ

В таком серьезном деле, каким является кастрирование Распутина, без поддержки влиятельных особ не обойтись, и потому Пересвет с Ослябей первым делом нагрянули на дом к Горемыкину.

— Иван Логиныч,— сказал Илиодор экс-премьеру,— вот вы разогнали первую Думу, за что, как сами рассказывали, царь вас целовал, а царица назвала «отцом своим». Человек вы в преклонных летах, а орденов столько, что смело можете на брюки их вешать. Вам уже нечего искать. Нечего бояться. Все в жизни было. Все изведали. А потому вы, как никто другой, можете поехать к государю и в глаза ему сказать, что Распутин...

— Как вы могли сопричислить меня к числу врагов Григория Ефимовича? Распутин в моем представлении — человек самых благих государственных намерений, и польза его несомненна.

На улице Илиодор сказал Гермогену:

— Махнем к министру юстиции Щегловитову! Хотя его в Питере не зовут иначе, как Ванькой Каиным, и предать нас он может, но ведь «гоп» мы уже крикнули — теперь надо прыгать...

Щегловитов их принял. Илиодор начал:

— Вы понимаете, что угодить царю — это одно, а угодить Распутину — это другое, и Гришке угодить даже труднее, нежели его величеству... Все вы, министры, висите на волоске! Сегодня вы есть, а завтра вас нету. Мы пришли сказать вам — Гришке капут! Запрем пса на ключ и будем томить в потаенном месте, пока царь не даст согласия на постоянную ссылку его в Сибирь.

Гермоген заварухи побаивался, лепетал жалобно:

— Илиодорушка — дитя малое: что на уме, то на языке.

— А за это время,— продолжал фантазировать Илиодор,— в селе Покровском дом Распутина со всеми его вещами будет сожжен, чтобы в огне исчезли царские подарки и не осталось бы даже памяти, что Гришка был близок к царям...

Щегловитов к заговору не примкнул, но одобрил его.

Возвращаясь в Ярославское подворье, Илиодор сказал:

— Гришка-то для меня котенок еще. А я бы хотел с самими царями сцепиться да погрызть их как следует.

— Что ты, что ты! Тогда мы все погибнем.

— Не люблю царей. Мешают они жить народу. Ей-ей, как иногда задумаешься, так революционеры-то и правы выходят...

«Пусть погибну,— писал он,— но мне хочется дернуть их за то, что они с такою сволочью, как Распутин, возятся. Посмотрю, откажутся они от этого подлеца или нет?» Гришка в Петербурге отсутствовал — еще нежился в Ливадии, где 6 декабря праздновался день рождения царя. В ожидании его приезда Илиодор посетил Бадмаева, которому передал на заветное хранение интимные письма к Распутину царицы и ее дочерей.

— Когда меня будут вешать,— сказал он,— ты можешь меня спасти. Для этого вручи письмо императрицы лично в руки царя, и тогда у него, дурака пьяного, глаза-то откроются. Тут ее рукой писано, что она мечтает поспать с Гришкой...

Когда иеромонах удалился, Бадмаев с трудом освоился с мыслью, что в его руках не просто письма — это важные документы, дающие ему возможность шантажировать самого царя!

. . . . . .

Распутин, в отличие от царя, очень любил телефоны и широко ими пользовался. Едва прибыв в Питер, он из квартиры Муньки Головиной сразу созвонился с подворьем, без удержу хвастал:

— Папка-то в Ливадии новый дворец отгрохал... пять мильёнов выложил! Есть комнаты из одного стекла, ажно звезды видать. Водил меня папа за руку, все показывал! А в Севастополе я встретил Феофана поганого... дохлый-дохлый, стоял на пристани и гнил от зависти, что я в почете живу. Закрылась ему лазутка, и другим лазутки прикрою! А в Киеве-то дураки: хотят Столыпину памятник ставить. А я еще за семь дён до убивства Володю-то Коковцева в примеры наметил. Володя — парнишка ничего, меня любит. А папа мне сказал: «Не хочу я памятника Столыпина, но ты, Григорий, не болтай об этом, а то сплетни опять начнутся». А я говорю: «Покойникам ставить памятники ты никогда не бойся, дохлые тебе не навредят, пущай по смерти и покрасуются...»

Илиодор пресек болтовню резкими словами:

— А я не люблю царя! Слабый.

Условились, что Распутин заедет на подворье 16 декабря. К этому времени заговор клерикалов уже оформился. Из лейб-казачьих казарм прибывало солидное подкрепление в лице мрачного есаула Родионова, который пописывал книжечки о «духовном благе», а с Гришкой имел личные счеты. Из клиники Бадмаева, тихо блея, прибыл блаженный Митя Козельский, и Гермоген торжественно вручил ему громадные ножницы для разрезания кровельного железа.

— Мы штаны с него сдерем, а ты режь под корень,— поучал Гермоген.

Из позорной отставки явился и протоиерей Восторгов.

— От драки увольте,— сказал он.— Я слабый здоровьем, а Гришка, учтите, словно бес... как бы не раскидал нас!

За окном, весь в снегу, курился дымками зимний Петербург, жарко стреляли дрова в печке. Гермоген отшатнулся от окна.

— Идет,— сказал,— шапкой машет...

Распутин вошел, увидел компанию, почуял неладное.

— А чего этот пентюх здесь? — указал на Митьку.

Все тишайше молились. Блаженный щелкал ножницами. Двери подворья заперты — бежать нельзя. Западня!

Есаул с ухмылкой принял с плеч Распутина шубу.

— Чай, тыщи на две потянет? Это и есть твое «старческое рубище»? Ну, а шапку покажь... Сколь платил за нее?

— Не помню. Кажись, триста.

В «красных» комнатах подворья расселись все мирно по стульям. Долго и натужно помалкивали. Восторгов не утерпел:

— Ну, Митенька, ты дитя божие... приступай с богом!

Тот, щелкая ножницами, истошно возопил:

— А-а-а, вот когда я тебя обкорнаю...

— Стой, вражья сила! — гаркнул Гермоген.— Что вы самого-то безобидного да глупого в почин дела суете? — Епископ накинул на себя епитрахиль, подкинул в руке тяжкое распятие.— Гришка! — позвал решительно.— Валяй сюда... на колени.

Распутина подтащили к иконам, он безвольно осел на пол, будто сырая квашня. Илиодор по конспекту, заранее составленному, зачитывал над ним обвинения противу церкви и нравственности, а на каждом параграфе, согласно их нумерации, Гермоген регулярно долбил крестом по черепу обвиняемого. Текла речь — текла кровь. Через красные пальцы Распутин смотрел на всех растопыренным в ужасе глазом, источавшим страх и ярость бессилия.

— Покайся! — следовал выкрик после каждого удара.

Илиодор свернул конспект прокурорских обличений.

— Намонашил ты здорово. Сознаешь ли вину свою?

Восторгов, корчась от жажды мести, с превеликим удовольствием смачно высморкался в лицо Распутину, не забыв деловито напомнить, сколько он истратил на него своих денег.

— И ты не вернул их мне! — сказал он, отходя.

— Отпустите... грешен... сам ведаю,— мычал Гришка.

— Не здесь каяться! — заорал Гермоген.

Распутина волоком, словно раскисшую швабру, втащили в церковь. Гришка ползал перед иконами, клялся, что больше к царям не полезет. При этом он очень бдительно надзирал за действиями Митьки Блаженного, который уже разрезал на его штанах пояс. Гришка энергично отпихивал от себя ножницы, подбиравшиеся к его сути. И вдруг, как распрямленная пружина, он ринулся на Гермогена, обрушив его на пол. Зазвенели, падая и колотясь, церковные сосуды. Восторгов, бегая в отдалении, кричал:

— Уйдет, уйдет... держите его!

Началась драка. Самая грубая, самая русская.

Родионов обнажил шашку, выскочил перед варнаком:

— Зарублю... смирись, падло паршивое!

В общей свалке и в едком дыму угасающих свеч зловеще скрежетали кровельные ножницы, и этот звук напоминал Гришке о том, что положение слишком серьезно,— надо спасаться.

Распутин ударом сапога поверг юродивого наземь, вынося при этом болезненные удары от Илиодора, который бил его расчетливо — в морду, в горло, в поддыхало.

Сцепясь в клубок, они выкатились в прихожую. Распутин могуче высадил двери, на себе выволок иеромонаха на лестницу. Там они оба своими костями пересчитали все ступеньки до самого низу. А на улице Распутин стряхнулся, сбросив Илиодора с себя.

— Ну, погоди! — крикнул и убежал...

Без шубы и без шапки, он домчал на извозчике до вокзала, сел в дачный поезд и махнул на дачу Анютки Вырубовой.

— Вот, гляди, что со мною сделали,— сказал он ей.— Могло быть и хуже, да сила небесная меня еще не покинула...

Вырубова бегала по комнатам, будто ополоумев.

— Боже мой! Боже мой! Боже мой! — восклицала она...

По тропинке она повела его через парк, как поводырь слепого. Распутин шатался, ступая по снегу, красные от крови лохмы его волос мотались из стороны в сторону, глаза были безумны... Он выл! В таком виде Вырубова явила его перед императрицей.

. . . . . .

Гермоген сутками не вставал с колен, ел одни просфоры, пил только святую воду. Илиодор сбросил рясу из бархата, облачился в холщовый подрясник, туго опоясался кожаным поясом, пеплом из печки посыпал свою буйную головушку и накрыл ее грубой «афонской» скуфейкой. Боевой. Дельный. Логичный.

— Идти надо до конца! — сказал он.

— Сожрут ведь нас,— затрясло епископа.

— А мной подавятся... я ершистый!

Оставался последний шанс — личная встреча с царем. Соблазняя его «открытием тайны», по телеграфу просили царя принять их. Ответ пришел моментально: «*Не* о какой тайне я знать не желаю. Николай». Отбили вторую — императрице (молчание). Стало известно, что Гришка не вылезает из Александрии, ведет там длинные разговоры о «небесной силе», которая спасла его от погибели.

— Мученический венец плетут нам,— решил Гермоген.

Неустанно трещал телефон на Ярославском подворье.

— Але,— говорил Илиодор, срывая трубку.

В ухо ему вонзались визгливые бабьи голоса. Грозили карами небесными. Обещали растерзать, клеймить, четвертовать. Яснее всех выразилась сумасшедшая Лохтина: «Отвечай мне по совести: *что* ты хотел у Христа отрезать?..» Чтобы скрыть свои следы, Распутин мистифицировал столичные газеты о своем мнимом отъезде на родину. Он как паук затаился в тени царских дворцов и там незаметно ткал свою липкую паутину, в которой запутывал всех. Кажется, только сейчас Гришка в полной мере осознал, как дальновидно поступил, проведя в синодские обер-прокуроры Саблера,— «старикашка» служил ему, аки верный Трезор: пореже корми, почаще бей, а иногда и погладь — тогда он всех перелает...

— Одна надежда — на царя,— убивался Гермоген.

— Для меня уже нет царя! — отвечал Илиодор, держа царскую телеграмму.— Смотри, какой же это царь, если он грамотно писать не умеет? Написал: «*Не* о какой тайне...» А каждый гимназистик знает, что писать следует: «Ни о какой тайне...»

— Не ищи у царей ошибок — сам ошибешься!

— Буду искать ошибки! — взорвало Илиодора, в котором проснулся дух донского казака.— Я столько уж раз в царях ошибался, что теперь не прощу им ошибок даже в русской грамматике.

— Молись! — взывал Гермоген.

— Время молитв прошло — пришло время драк!

Явился курьер из Синода — вручил им два пакета от Саблера, но подписанные Даманским (Синод уже перестал быть синклитом персон духовных — Саблер и Даманский бюрократической волей расчищали дорожку перед Распутиным). Гермоген прочел,

что его лишают саратовской епархии, приказано ехать «на покой» в захудалый Жировецкий монастырь, а иеромонаха Илиодора ссылали «на послушание» в лесную Флорищеву пустынь.

Илиодор принял на подворье столичных журналистов.

— Синод надо взорвать,— объявил он.

— Как взорвать? — спросили его.

— А так: бочку динамита в подвал заложить, бикфордов шнур до Невы раскатать, самому за Медным всадником укрыться, а потом рвануть все к чертовой бабушке... Вот и порядок!

Газеты опубликовали его вещий сон: Распутин в виде дряхлого пса бегал между пивной и Синодом, таская в зубах какую-то грязную тряпку, а нужду он справлял возле телеграфного столба, пронумерованного апокалипсическим числом «666». Но в дела духовные вмешался министр внутренних дел Макаров:

— Исполнить указ Синода, иначе штыками погоним.

К воротам подворья был подан автомобиль МВД, в который и уселся потерпевший крушение епископ. Митька Блаженный, юродствуя, ложился на снег и просил шофера переехать через него колесами, дабы вкусить «прелесть райскую». Гермоген сдался!

Илиодора окружили падкие до сенсаций газетчики:

— Ну, а вы как? Поедете во Флорищеву пустынь?

— В указе не сказано, чтобы ехать. Пойду пешком...

Кто-то из доброжелателей шепнул ему: «За поворотом улицы дежурят переодетые жандармы... Скройтесь!» Ночью, в чужом драном пальтишке, по виду — босяк, Илиодор позвонил в квартиру на Суворовском, Бадмаев предоставил ему убежище у себя.

— За это вы напишете все, что знаете о Распутине...[1]

Монах хотел пробиться в Царицын, где у него была армия заступников. Но из газет вычитал, что полиция разгромила в Царицыне его храм. «Со страшными ругательствами, обнаживши шашки, таскали бедных женщин по храму, вырывали волосы, выбивали зубы, рвали на них платье и даже оскорбляли шашками девичью стыдливость самым невероятным образом... Пол храма представлял поле битвы. Везде виднелась кровь, валялась порванная одежда». Бадмаев через Курлова вызнал, что все вокзалы перекрыты кордонами — Илиодора ищут. Макаров пустил на розыски монаха своих сыщиков... Илиодор сам же и позвонил Макарову:

— Это ты, который царю сапоги наяривает ваксой?

— Кто позволяет тебе так разговаривать со мною?

— Да я... Илиодор! Хочешь меня живьем взять?

— Хочу,— честно заявил министр внутренних дел.

— Ишь ты, хитрый какой... Ну, ладно. Хватай меня на углу Суворовского и Болотной. Обещаю, что буду стоять там.

Бадмаев помогал ему одеться, подарил шарфик.

— Вот и хорошо! Опять будете у царского сердца.

— Лучше уж в любом нужнике...

— Стоит ли вам против царя поход начинать?

— Ладно. Вы письма царицы к Гришке берегите.

Жандармы на углу улиц поджидали его. Бунтаря впихнули в промерзлый автомобиль, повезли прямо на вокзал к отходу поезда. В дороге нацепили ледяные наручники. На перроне перед арестантом шарахалась публика. Илиодор, озоруя, кричал людям:

— Ну, чего пялитесь? Я же Гришка Распутин, меня Илиодор погубил. Видите, теперь в тюменские края ссылают...

Его посадили в клетушку тюремного вагона.

Поезд тронулся. За решеткой вагона, в сизой вечерней мгле, проплыл в небыль чадящий окраинами Петербург, вдали от которого монаху предстояло думать, думать, думать.

. . . . . .

Бадмаев показал Курлову письма царицы к Распутину, отставной жандарм прочел их спокойно, потом сказал:

— Не вздумай сам вручать их царю — погибнешь! Такие вещи делать надо чужими руками. Известно, что думский председатель Родзянко давно наскребает к себе на дом всякий навоз о Гришкиных радостях... Ему и отдай! Дурак еще «спасибо» тебе скажет!

Так эти письма, выкраденные из сундука Распутина, оказались в кабинете председателя Думы.

12. НАТИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Настал 1912 год, в котором Россия отмечала 100-летие со дня Бородинской битвы, а кайзеровская Германия пышно праздновала 100-летие фирмы сталелитейного Круппа... Кончились те времена, когда у нас в учебниках по истории Россию ошибочно называли «полуколонией», зависимой от того, что скажут банкиры Парижа или Лондона. Теперь, напротив, наши историки справедливо указывают, что русская мощь во многом определяла всю тональность европейской политики. Промышленный подъем империи начался в 1909 году еще при Столыпине, а расцвет капиталистического производства пал на период премьерства Коковцева. Этому способствовали напряженный труд рабочих и активная деятельность ученых — химиков и физиков, металлургов и горных инженеров. Россия стояла в одном ряду с Францией и Японией (но отставала от Англии и Германии); зато по степени концентрации производства русская империя вышла *на первое место в мире*. Бурный рост синдикатов и картелей шел параллельно с развитием в стране революционного движения. Близилась первая мировая война.

А в 1943 году в оккупированном гитлеровцами Париже умирал человек, подготовивший экономику

[1] Эти очень интересные документы, составленные Илиодором на квартире Бадмаева, опубликованы в советское время в книге «За кулисами царизма. Архив тибетского врача Бадмаева».

России к войне с кайзеровской Германией. Советские историки относятся к Коковцеву более благосклонно, нежели его современники: он обогатил русскую казну золотым запасом, без которого немыслимо сражаться с могучим противником. Правые упрекали Коковцева в недостатке монархизма. Левые критиковали за излишек монархизма. А середина есть: Владимир Николаевич попросту был либерал. Распутин всюду гудел, что «Володя — свой парень», но Коковцев не считал, что «Гриша — свой в доску». Саблер при встрече с премьером однажды заметил, что Распутин — личный друг царской семьи, вмешиваться в их отношения нельзя, ибо это... семейные дела.

Утонченный аристократ отвечал с вежливым ядом:

— Но существует извечный закон: в монархиях семейные дела закономерно становятся делами государственными.

Между тем Распутин надавал в обществе столько авансов о своей дружбе с Володей, что теперь ему ничего не оставалось, как заверить эту дружбу визитом. Однажды поздним вечером, сидя в приемной, Коковцев просматривал длинные списки лиц, чающих у него аудиенции, и холеный палец премьера, полыхая теплым огнем крупного бриллианта в перстне, задержался на колонке списка как раз напротив имени Распутина... Так-так!

— А ведь неглупо придумано,— сказал он.— Бестия знает, что, если вломиться ко мне как Гришка Распутин, я выставлю его пинком. Но я, как премьер, по долгу службы обязан принять всех просителей по списку, и в том числе не могу отказать просителю Распутину только потому, что он... Распутин!

. . . . . .

Распутин пришел, и Коковцев, ничем не выделяя его из массы просителей, предложил ему сесть... Сказал вежливо:

— Прошу изложить ваше дело касательно до меня.

Далее события развивались стихийным образом.

Распутин сидит. И министр сидит.

Распутин молчит. И министр молчит.

Коковцев, чтобы не тратить времени зря, придвинул к себе отчеты губернских казенных палат, щелкал на счетах, думал... Наконец все-таки не выдержал:

— Так какое же у вас ко мне дело?

— Да нет... я так,— отвечал Гришка, гримасничая; с тщательным вниманием он рассматривал потолок министерского кабинета.— Нет у меня никакого дела,— сознался Распутин.

— Зачем же записывались на прием?

— Посмотреть на вас.

— Ну, посмотрели. Что дальше?

— Теперь вы на меня посмотрите.

Коковцев посмотрел на него и сказал:

— Очень... неприятно!

После долгого молчания Гришка наивно спросил:

— Неужто я такой уж плохой?

— А если вы такой уж хороший, так убирайтесь к себе в Тюменскую область и не лезьте в чужие дела...

Распутин растрезвонил по свету, что именно он провел Коковцева в премьеры и теперь хотел получить с Коковцева хорощей «сдачи». А потому не уходил, хотя ему на дверь было точно указано. Владимир Николаевич отодвинул в сторону иллюстрированную «Искру», в глаза невольно бросилась фотография: голод в Сибири! Под трагическим снимком было написано: «Семья вдовы кр. д. Пуховой Курган, идущей на урожай. В запряжке жеребенок по второму году и два мальчика на пристяжке, сзади — старший сын, упавший от истощения». Эта фотография направила мысли Коковцева совсем в другую сторону.

— Кстати,— сказал он без подвоха,— в Сибири был недород, а как там у вас в волости обстоят дела с хлебом?

Распутин заговорил о крестьянских делах четко, здраво, разумно, между ним и Коковцевым возник содержательный разговор: Далее цитирую показания Коковцева: «Я его прервал и говорю: «Вы бы так говорили обо всем, как сейчас». Моментально (он) сложился в идиотскую улыбку, опять рассматривание потолка и проницательные, колющие насквозь глаза. Я сказал ему: «Вы напрасно так смотрите... ваши глаза впечатления не производят».

— Когда-то был случай,— нечаянно вспомнил Коковцев,— когда я, грешный, выписал на ваш приезд из Сибири деньги. Теперь я согласен выписать их снова в любой сумме, какую ни попросите [1], ради вашего отбытия в Сибирь... Хватит валять дурака! В вашу святость не верю, ваш гипноз не оказал на меня никакого действия, а делать из министерств спальни я вам не позволю.

Распутин, не солоно хлебавши, убрался, но оставил Коковцева в крайне затруднительном положении. Если он не доложит царю об этой встрече, то Распутин изложит царю ее сам, но уже в той интерпретации, какая ему будет выгодна. Следовало опередить варнака, и Коковцев при первой же аудиенции с императором сам начал рассказ о своем знакомстве с Распутиным.

— Давно пора! И какое впечатление он произвел?

Подлинный ответ Коковцева:

— Государь, я одиннадцать лет служил в главном тюремном управлении, исколесил мать-Россию от Млавы до Сахалина и побывал во всех тюрьмах, какие у нас существуют. Я ходил по камерам без конвоя, и за все это время только один арестант бросил в меня миской, да и тот оказался сумасшедшим...

— Вы говорите мне о Распутине! — напомнил царь.

— Я говорю именно о нем... Средь множества сибирских варнаков-бродяг таких распутиных сколько душе угодно! Это ведь типичный уголовный тип, который одной рукою перекрестится, а второй тут же невозмутимо хватит вас ножом по горлу.

Царь дал такой ответ, что можно ахнуть:

— Ну что ж! У вас свои знакомые, а у меня свои...

. . . . . .

---

[1] По слухам, бытовавшим в обществе, Коковцев предложил «отступного» Распутину в двести тысяч рублей.

Распутин указывал: «Миленькаи папа и мама. Илиодора нужно бунтовщика смирять. А то он собака всех сест собака злой. Ему ништо. А зубы обломать. Построже стражу болше. Да. Григорий». Заштатная Флорищева пустынь затерялась в Гороховецких лесах; Илиодора вторгли в темницу, окна забили досками, в коридоре толпились вооруженные солдаты. Стены монастыря высокие! Но русские семинаристы из поколения в поколение, от деда к внуку, передавали секрет сложного трюкачества — как перемахнуть через ограду, имея при себе громадную бутылищу с водкой (и чтобы она не разбилась при этом!). Илиодор и показал страже, как это делается... Его догнали. Стали избивать. Бок пропороли штыком. Сапогами расквасили лицо. Илиодор с трудом поднялся.

— Братцы, да ведь я же... священнослужитель!

— Так точно.

— Нельзя же так... с человеком-то!

— Нельзя,— соглашались с ним.

— За что же вы меня излупили?

— А нам так приказано...

Гермоген переслал узнику письмо, умоляя его смириться и не гневать царей. Илиодор отвечал злобной бранью, он писал епископу, что презирает его трусливую душонку, и напомнил из истории: Французская революция началась, когда королева оказалась замешана в краже бриллиантов,— дай бог, чтобы у нас революция началась с публикации писем царицы к Распутину! Флорищеву пустынь часто навещала Ольга Лохтина («не теряя надежды на мое примирение с Григорием»). Илиодор издали кричал дуре, чтобы бросила Гришку и вернулась в семью, как положено жене и матери. «Она ходила,— записывал монах,— вокруг моей кельи, забиралась на стену, на крышу сарая и все кричала одно и то же: «Илиодорушко! Красно солнышко!» Монахи, думая, что у меня с ней были грешные отношения, смеялись, а стражники таскали ее за волосы, босые ноги разбивали сапогами до крови, потом сажали в экипаж и увозили в Гороховец. Она никогда не сопротивлялась, притворяясь мертвой». Под видом бродячего странника во Флорищеву пустынь проник хвостовский журналист Ржевский.

— Я очень нуждаюсь. Дайте мне на вас заработать.

Такой честный подход к делу подкупил Илиодора.

— Пиши,— сказал он,— что меня заточили в дом терпимости. Здесь каждый монах имеет женщину, а то и двух.

— Вы бы о себе побольше,— сказал Борька.— Говорят, Распутин поклялся, что засадит вас в крепость, а Саблер готовит документы о том, что вы спятили. Мне один знакомый телеграфист подарил копию телеграммы Распутина к царице. Вот, прочтите: «Илиодору собаке живот распорю...» Что на это скажете?

— Я сам ему кишки выпущу,— ответил Илиодор; потом, прочтя репортаж бездарного писаки, он покривился.— Так писать — все мухи сдохнут.

Он сочинил интервью с самим собою, и в репортаже об узнике-монахе послышался голос разгневанного человека. Борька Ржевский напечатал его под своим именем в газете «Голос Москвы», что сослужило ему хорошую службу — его заметили, стали публиковать в центральных газетах России...

В темной келье иеромонах внушал себе:

— Думай, Илиодор, думай... крепко думай.

Пришлось проделать анализ прошлого, начиная с тех времен, когда он, крестьянский сын, пахал с отцом землю на хуторе близ станицы Мариинской; анализ уводил далеко — до небес, и вскоре Илиодор пришел к выводу, который стал неожиданным для Синода и самодержавия,— он будет неожиданным и для тебя, читатель!

. . . . . .

Неясно кто — Бадмаев или Родзянко, но письма царицы к Распутину были кем-то размножены. Отпечатанные под копирку на «ремингтонах», они сотнями экземпляров расходились по стране. Над словами царицы хихикала барышня-бестужевка и мрачно плевался старый сановник: «Черт знает до чего мы дожили!» Во дворце разыгралась некрасивая сцена, и Алиса срочно депешировала в Покровское, спрашивая Распутина: каким образом мои письма к тебе очутились в чужих руках? «Миленкая мама,— телеграфировал Распутин,— фу собака Илиодор! Вот вор. Письма ворует. Украл из сундука или еще как. Да. Бесам служит. Это знай. У него зубы остры у вора. Да. Грегорий». Дума бурлила. Пуришкевич громил с трибуны «швабского жида» Саблера, а Синод в это же время подносил Саблеру подхалимские адреса в переплетах из сафьяна. Дума сражалась с Распутиным, дабы спасти престиж царской власти... Родзянко предупреждал депутатов: «Мне стало известно, что если запрос о Распутине последует на обсуждение, то Думу сразу прикроют. Лучше вы не шумите, а я сам буду говорить с императором». Неожиданно из департамента полиции его поддержал Степан Белецкий, сказавший по телефону: «Вы решили говорить с царем? Очень рад... Гришка так надоел нам! Прямо с вокзала берет каких-то барынь и тащит их в баню. У нас вылетают в трубу тысячи рублей на слежку за ним. Даже наблюдение за Борисом Савинковым обходится нам дешевле!» В конце февраля Родзянку навестил генерал Озеров, состоявший при вдовой императрице Марии Федоровне: «Она крайне обеспокоена слухами о Распутине. Не могли бы вы навестить императрицу завтра в одиннадцать часов дня со всеми документами?..»

Свидание состоялось. Всегда очень собранная, подтянутая, неизменно добродушная, с располагающей улыбкой, вдовая царица приняла председателя Думы в своем маленьком гатчинском кабинете.

— Какова же причина запросов в Думе об этом мужике? Нет ли тут революционной подоплеки? — сразу же спросила она.

Родзянко отвечал, что успокоение умов — вот главная цель этой шумихи, а революцией тут и не пахнет. Он прочел некоторые выдержки из конфискованных газет и брошюр, в которых говорилось о дикой карьере Распутина... Царица задумалась:

— Может, и правда, что он какой-то святой? Я в это не верю, но в простом народе, знаете, всегда какие-то юродивые...

— В том-то и дело,— отвечал Родзянко,— что простой народ никогда не верил в святость Распутина. Вот извозчик — отвозил Гришку в публичный дом. Вот дворник — тащил пьяного Гришку из саней на пятый этаж. Вот банщик — видел, какой содом развел Гришка с дамами... Именно люди нашего круга вознесли его до палат царских! Государыня, мы, монархисты, больше не в силах молчать. Последствия слишком опасны для династии...

Наконец она подошла к самому каверзному вопросу.

— Я слышала, у вас подлинник письма моей невестки к Распутину, где есть очень неудобные выражения... Покажите мне!

Родзянко записывал: «Я сказал, что не могу этого сделать. Она сперва требовала, потом положила свою руку на мою:

— Не правда ли, вы его уничтожите?

— Да, ваше величество, я его уничтожу».

Родзянко не сдержал своего слова, и эти письма впоследствии оказались в Югославии, где их следы затерялись...

13. ОДИН РАСПУТИН ИЛИ ДЕСЯТЬ ИСТЕРИК

Был 1924 год, когда в поезде, идущем в Белград, в столицу сербского королевства, врангелевские офицеры избивали жалкого бедного старика, одежда на котором болталась как на вешалке. Это был Родзянко — бывший камергер и председатель Государственной Думы; в глазах белогвардейщины он выглядел крамольником. Ехавший в Белград за получением ничтожной пенсии, Родзянко и скончался — от жестоких побоев... Конец жизни страшный!

Он принял бразды правления Думы из рук Гучкова и председательствовал в парламенте до самой революции — фигура, таким образом, историческая. Лидер октябристов, глава помещичьей партии, Родзянко внешне напоминал Собакевича, но за этой внешностью, словно обтесанной топором, скрывался тонкий проницательный ум, большая сила воли, стойкая принципиальность в тех вопросах, которые он защищал со своих — монархических! — позиций. Лелея в душе идею царизма, Родзянко невзлюбил самого царя, он с трудом выносил императрицу. Наш историк С. Пионтковский писал, что «для династии Романовых Родзянко был определенно *врагом*». Царица платила ему острой ненавистью. «Нахал,— говорила она.— Заплыл жиром, сипит, как самовар... Хорошо бы им висеть рядом — тощему Гучкову и толстому Родзянке!» Родзянко всегда был самым твердым и самым неутомимым врагом Распутина. Во имя идеи монархизма монархист не боялся идти на обострение конфликта с монархами. После беседы с вдовою императрицей придворный мир пребывал в страшном волнении: примет царь Родзянку для доклада о Распутине или отвергнет?..

Распутин, прибыв в столицу, сказал царской чете:

— Я знаю, что злые люди подстерегают меня. Воля ваша — слушать их или не слушать. Но если вы меня покинете, то потеряете сына и престол через шесть месяцев... Вот так-то!

Неприличный шум вокруг Распутина все возрастал, имя царицы трепали на всех перекрестках, полиция была бессильна заткнуть рты всем россиянам; художник В. М. Васнецов, человек глубоко верующий, обратился к Синоду с гневным протестом против вмешательства Распутина в церковные дела. В это сложное и трудное для правительства время Родзянко запросил аудиенции у царя для доклада о распутинских мерзостях. Родзянко шел на штурм, вооруженный до зубов фотографиями и документами, способными оставить от дворца одни головешки... Примет ли его царь?

Коковцев после очередного доклада уже собрался уходить, но Николай II задержал его словами:

— Владимир Николаевич, возьмите вот это...

Это была резолюция об отказе Родзянке в аудиенции!

— Ясно одно,— рассуждал Коковцев перед женою,— правила дворянской чести заставят Родзянку сразу же подать в отставку, как только он узнает об этой изуверской резолюции царя. Но уход Родзянки вызовет перевыборы, и возможен думский кризис... Я растерян. Не знаю, что и делать.

Родзянко звонил ему по телефону — радостный:

— Мы с женой побывали в Казанском соборе, я заказал молебен перед святым делом сказывания правды в глаза царю, святых тайн я уже приобщился... Владимир Николаевич, резолюция была?

— Нет, пока не было,— солгал Коковцев.

— Я вам еще позвоню.

— Да, пожалуйста...

Николай II, когда вручал эту резолюцию, сказал: «Он будет докладывать, а я должен кивать головой и благодарить его за то, что благодарности не стоит». Теперь надо было как-то спасать положение, спасать доклад о Распутине и спасать самого Родзянку от унижения, а потому Коковцев сам позвонил Родзянке:

— Михайла Владимирович, я думаю, вам лучше завтра к шести вечера прямо подъехать в Царское. Наверное, резолюция застряла где-либо в каналах бюрократии, и царь будет вас ждать.

— Я тоже так думаю,— согласился Родзянко...

Николай II не ждал его, когда он, сипло дыша, вошел к нему — со всеми фотокарточками и документами, отчего в кабинете его величества запахло винным перегаром, вонючими портянками, банными мочалами и клиникой доктора Бадмаева с цветками азока...

Коковцев обманул царя! А Родзянко оставил протокол своей беседы с царем, и потому писать мне будет легко.

. . . . . .

Закончив говорить о думских делах, Родзянко предупредил царя, что его доклад выйдет за пределы обычного. Николай II поморщился.

— Я имею в виду,— закинул удочку Родзянко,—

Распутина и недопустимое его присутствие при дворе вашего величества...

Царь тихо сдался: «Ну, что ж. Послушаю».

— Никакая революционная пропаганда не может сделать того, что делает присутствие Распутина в царской семье... Влияние, которое Распутин оказывает на церковные и государственные дела, внушает ужас всем честным людям. А на защиту проходимца поставлен весь государственный аппарат, начиная от верхов Синода и кончая массою филеров... Явление небывалое!

Родзянко говорил очень долго, оперируя точными фактами, которые невозможно опровергнуть. Николай II съедал каждое подаваемое ему блюдо в молчании, только однажды не выдержал:

— Да почему вы все считаете его вредным?

Родзянко заговорил о распутстве и хлыстовстве:

— Почитайте брошюру Новоселова, которую конфисковала полиция из продажи. А вот и фотография, где Распутин с двумя женщинами, а внизу — его рукою писано: «Путь, ведущий к спасению». Полиция нанесет вам три короба фактов о том, как Распутин таборами водил женщин в баню.

— В народе принято мыться вместе,— сказал царь.

— Нет, государь,— возразил Родзянко,— это было давно, но еще Елизавета Петровна повела с этим борьбу, а Екатерина Великая особым указом запретила совместное мытье. Согласитесь, что сейчас, в нашем веке, никто и не пойдет мыться вместе.

Царь горячо отстаивал «банный» вопрос:

— Но существуют же в банях номера на двоих!

— Существуют — для мужа с женой, но это их дело. А вот письмо госпожи Л., обратите внимание. Распутин обесчестил ее, после чего она отшатнулась от него, обратясь к честной жизни. И после этого вдруг видит, что Распутин выходит из бани с двумя ее дочерьми-гимназистками... Госпожа Л. тут же сошла с ума!

— Я об этом слышал,— сознался царь.

— Далее,— продолжал Родзянко,—не думайте, что я хочу испортить вам настроение, нет, просто я всегда помню слова присяги: «О всяком же вреде и убытке его величеству своевременно извещать и предотвращать тщатися...» У нас принято в газетах ругать министров, Синод, Думу, и меня облаивают, мы все терпим... привыкли! А вот о Распутине писать не дают, как будто он высокопоставленное лицо царской фамилии. Это наводит на мысль, что *он стал членом вашей семьи...*

— Распутина теперь здесь нет,— произнес царь.

— Если его сейчас нет во дворце, то позвольте мне, после этого визита к вам, всюду утверждать, что Распутин удален вами и более никогда в Царском Селе не появится.

Николай II помолчал и ответил, стесняясь:

— Не могу этого обещать...

28 февраля на квартиру Родзянки позвонил дворцовый комендант Дедюлин, его старый гимназический товарищ.

— Миша,— сказал он,— здравствуй. Знаешь, после твоего доклада государь за обедом был скучен, даже есть не стал. Я его спросил — утомил вас Родзянко? А он: «Да нет... Там в Синоде завалялось какое-то старое дело о Распутине, скажи ему, чтобы забрал его, но пусть об этом никто не знает...» Миша, слушай, не мог бы ты вечерком заглянуть ко мне?

Вечером они встретились на городской квартире. Дедюлин сказал, что если сейчас возникнет война (а дело к тому и идет), то все в империи полетит вверх тормашками.

— А у тебя ничего не получится.

— С чем? — спросил Родзянко.

— Да с этим... с Гришкой!

— Почему ты так решил, Вовочка?

— Ах, Мишка, Мишка... Едва ты вышел от государя, как наша благоверная царица бухнулась в постель, объявив себя больною. Конечно, никакой Боткин или Бехтерев тут не помогут — спасти ее может только Гришка. А я,— подытожил Дедюлин,— еще полюбуюсь на это и... застрелюсь!

— Ты с ума сошел.

— Вряд ли...

Дедюлин застрелился, а на его место был назначен генерал Джунковский, бывший московский губернатор. Родзянко, исполняя решение царя, взял за глотку жулика Даманского и душил его до тех пор, пока тот не выдал ему из архивов секретное дельце о Распутине. Но когда подошло время докладывать о нем царю, Коковцев снова получил от царя резолюцию, отказывающую Родзянке в аудиенции с глазу на глаз. На этот раз Коковцев не стал выкручиваться, а сунул эту резолюцию к носу Родзянке.

— Как же так? — обомлел тот.— Сам же просил меня поднять это дело из Синода, а теперь видеть меня не желает.

— Настала моя очередь,— ответил ему Коковцев...

. . . . . .

Теперь, когда контуженный Родзянко временно отполз в кусты, зализывая раны своего самолюбия, в атаку на штурм твердынь распутинщины двинулся элегантный премьер империи. Коковцев начал с того, что Распутин — шарлатан и негодяй, а газеты...

— А вы читаете газеты? — с издевкой спросил царь.

— И газеты *тоже*,— со значением отвечал Коковцев.

Его величество потребовал от своего презуса, чтобы печать империи больше не смела трепать имя Распутина.

— Ваше величество, есть только один способ заткнуть рты печати — для этого пусть Распутин живет не здесь, а в Тюмени!

Царь молчал. Коковцев решил бить в одну точку:

— Позволено мне будет распорядиться о принятии мер к тому, чтобы Распутин навсегда застрял в Покровском селе?

— Я *сам* скажу Распутину, чтобы он уехал...

Коковцев не верил своим ушам. Неужели царь, утомленный борьбой за Распутина, решил от него избавиться?

— Должен ли я полагать, что решение вашего

императорского величества есть решением окончательным?

— Да, это мое решение.— Царь взял со стола карманные часы, показывавшие половину первого, и циферблатом повернул их в сторону своего премьера.— Больше я не держу вас...

. . . . . .

Весной царский поезд отправлялся в Ялту, списки пассажиров проверены, лишних никого нет, бомб в багаже не спрятано, все в порядке, можно ехать. Гукнул паровоз — тронулись... В салон царя заявился генерал Джунковский, маленький хрупкий человек, обладавший колоссальной нервной силой. Ступая лакированными сапожками по мягкому ворсу ковра, он подошел к его величеству и на ухо (как шепчут слова нежной любви) прошептал:

— Ваше величество, *ваше решение нарушено.*

— Каким образом?

— С нами едет Распутин.

— Как он попал в мой экспресс?

— Вырубова спрятала его в купе князя Туманова.

— Это... нахальство,— сказал царь.

Поезд уже миновал веселые дачки платформы Саблино — приближалась станция Тосно. Джунковский решительным жестом отодвинул клинкет купе, в котором, сняв сапоги, сидел босой Григорий Ефимович и вел приятную беседу с попутчиком по дороге князем Тумановым, закручивая ему мозги «насчет святости».

Джунковский с приятной улыбочкой подтянул перчатки.

— Ну, поганое отродье,— сказал он почти сладострастно,— долго ли еще нам с тобою тут чикаться?

Рука генерала сжалась в стальной кулачок, бронированный скрипящей кожей, и нанесла святому обширное сокрушение в области глаза. Божий свет наполовину померк, расцвеченный удивительно красивыми искрами. Распутин вылетел в коридор и бойко побежал в конец вагона. Тосно!

Платформа станции еще плыла назад, когда последовал хороший тумак по затылку, и Гришка кубарем выкатился на доски перрона. Вслед ему полетели шикарные перчатки генерала, которые брезгливый Джунковский уже не пожелал носить после осязания ими «святого старца». Он помахал рукой машинисту поезда — трогай! И царский экспресс помчался в благоуханную Ялту, а Распутин поднялся с перрона, еще не сознавая, что же такое случилось. Тут его взяли в кольцо агенты полиции.

— А вам... в село Покровское,— сказали они.

На станции Любань Джунковский прошел в помещение вокзала, попросил связать его с кабинетом премьера Коковцева.

— Владимир Николаевич,— доложил он,— все в порядке.

...Коковцев оказался решительнее Столыпина!

. . . . . .

6 мая в новом дворце Ливадии собралась вся знать империи, чтобы принести поздравления императрице со днем ее тезоименитства. По очереди подходили министры, выражая в двух-трех словах свою «искреннюю радость по случаю» и т. д. Коковцев подошел тоже, но императрица, украшенная диадемой из огромных жемчужин Екатерины Великой, повернулась к нему... задом.

Да, да, читатель! Я не преувеличиваю.

Коковцев тоже сказал два-три слова, выражая «искреннюю радость по случаю...», и тут он понял, что он, конечно, не Столыпин и отставка его неизбежна. Здесь же, в Ливадии, он узнал, что царская семья поджидает скорого приезда Распутина... Коковцев в недоумении развел руками:

— Ваше величество, как же так? Вы сами...

Последовал ответ царя — сакраментальный:

— Лучше уж один Распутин, нежели десять истерик на день...

ФИНАЛ ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ

В мае 1912 года, когда Гришка пирровал свою победу, Илиодор, сидя в темнице Флорищевой пустыни, закончил анализ своего прошлого — настало время устраивать будущее... Для начала он созвал монастырский синклит, начав речь перед ними, как гоголевский городничий в канун нашествия ревизора:

— Господа! Я собрал вас затем, чтобы сообщить пренеприятнейшую новость: *бога нет.* А потому я отныне уже не считаю себя связанным с церковью и слагаю с себя духовный сан. Исходя из того положения, что я заточен в тюрьму не гражданским судом, а уставами церкви, я теперь вправе покинуть эту тюрьму, ибо церковь для меня уже не храм, а просто обычное культовое строение...

Иеромонаха Илиодора не стало — появился крестьянин Сергей Труфанов! Это была сенсация, которую сразу же разнесли газеты. Распутин отреагировал моментально: «Серьгу Труханова отступнека карать. Отступнека повесить чтоб у нево собаке язык на сторону. Грегорий». Синод пребывал в панике. Как же так? Самый страшный мракобес, готовый за церковь разорвать глотку безбожникам, и вдруг открыто заявляет, что бог — это фикция, сан с себя слагает.

Газеты печатали интервью с бывшим монахом: «Если б был телефон на тот свет, я позвонил бы туда и обложил их всех! Почти год в баньке не был — не пущают, сволочи! Говорят, будто я спятил. Хорошо! Согласен на врачебный осмотр. Но с одним условием — пусть осмотрят Саблера и всех из святейшего Синода, а тогда Русь узрит, что я-то как раз нормальный, а скотов из Синода и МВД надобно судить...»

Саблер слал во Флорищеву пустынь увещевателей.

Вот подлинный ответ им Илиодора: «Да постыдитесь! Ведь это похоже на то, как разбойник убьет человека, ограбит его карманы, а потом целует его закоченевший труп. Я мертв для вашей лжи! Отстаньте же от меня! И поскорее отлучайте формально от вашей компании... Чего медлите, толстопузые? Или писцов у Саблера мало? Или чернил не стало?..»

. . . . . .

ПРОШЕНИЕ ИЕРОМОНАХА ИЛИОДОРА В

СВЯТЕЙШИЙ СИНОД ОБ ОТРЕЧЕНИИ ЕГО ОТ ЦЕРКВИ (приводится в сокращении):

«Кто вы? Вы все — карьеристы... За звезды, за ордена, за золотые шапки, за бриллиантовые кресты, за панагии, усыпанные драгоценными камнями... Вы к начальству ласковы, смиренны, чтобы сохранить за собой земное благополучие.

Бедных вы презираете, а с богатыми целуетесь!

Вся жизнь ваша — сплошное удовольствие. Вы одеваетесь в роскошные шелковые рясы, ездите в дорогих каретах, спите на мягких постелях, услаждаетесь вкусными обедами, пьете прекрасное вино, копите много денег. Вы — горды, надменны, злы, мстительны... За расположение угнетателей народных вы готовы продать душу дьяволу. Под своими широкими мантиями вы скрываете всякую нечистоту и неправду... Вы ослепляете народ своей пышностью, а не даете ему жизни! Вы храмы обратили в полицейские участки, в торговые палаты и в постоялые дворы. И проклятьями, и пеплом, и огнем вечным заставляете бедных малодушных людей поклоняться вам и питать ваши ненасытные чрева!

Вас я презираю всею силою души. С вами, поклонниками святого черта, грязного хлыста Гришки Распутина, я не хочу быть в духовном общении ни одной минуты более.

Поэтому скорее срывайте с меня рясу!

Отлучайте меня от своей церкви!

Вы должны это сделать!

Животные, упитанные кровью народной, доколе вы будете сидеть на шее народа?

Доколе будете прикрываться именем божиим?»

Бритвою он полоснул себя по руке, кровью подписался: *СЕРГЕЙ ТРУФАНОВ*... А Распутин знай себе строчит царям: «Вот бес то Илиодор отступнек проклятай. Надо бы его сделать сума сошел докторов надо ато беда. Он пойдет играть в дудку беса. Грегорий». Бывшего монаха пытались силой затащить в храм, но из этого ничего не вышло. Серега взял железный дрын и сказал: «Вот только троньте меня... Всех порасшибаю».

На том веском основании, что Илиодор «усумнился в спасительном воскресении Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа», Саблер повелел монаха из духовного узилища изринуть! Распутин в ужасе от этого телеграфировал: «Ну пошел бес Серьга Труханов отступнек: Анахтема. Таперича гуляет. Надо следить. Ато он смуту сделает полицию к нему. Пусть она ему зубы почистит. Акаянный. Да. Грегорий». Падкие до всяких скандалов, в Гороховец наехали журналисты столичных газет... Обступали толпой, спрашивали:

— Какие у вас теперь отношения с Распутиным?

— Замечательные! Он обещал мне живот распороть, а я ему обещаю все кишки на землю выпустить. Весь вопрос в том — кто из нас раньше схватится за ножик?

— Можно так и записать? — спрашивали журналисты.

— Да пиши. Мне-то что!

Весеннее солнышко припекало голову. Илиодор зашел в парикмахерскую, в последний раз он тряхнул волною кудрей.

— Валяй стриги под корень... Отмонашился!

Был он одет в пиджачок с чужого плеча, в галошах на босу ногу, штаны — в пятнах дегтя. Журналисты прилипли к нему.

— Куда теперь едете, господин Труфанов?

— Домой, на тихий Дон. Буду землю пахать...

На вокзале во Владимире журналистов даже прибавилось. Подали состав. За минуту до отхода поезда Серега опустился на грязный перрон — принес перед публикой всенародное покаяние:

— Я прошу прощения у великой русской интеллигенции, которую я оскорблял. Я прошу всех евреев простить меня за то, что я их преследовал. Прошу простить меня родственников Льва Толстого, ныне мертвого, которого я оскорблял при жизни и в гробу. Наконец, и людей со слабым зрением, которые носили очки, я тоже прошу извинить меня за грубые мои нападки на них... Но людей с портфелями все-таки не люблю! Чего они там таскают?

Он вскочил с колен, его глаза блеснули зеленым ядовитым огнем, и в нем проснулся вдохновенный оратор. Под надрывные возгласы вокзального гонга, вещавшего отбытие в иную жизнь, Труфанов чеканил слова, как афоризмы:

— Слушайте, слушайте! Говорю я вам, что в России нет царя, в России нет Синода, в России нет правительства, и нет в ней Думы народной... есть только великий гад Распутин, стервец и вор, который заменяет царя, Синод, Думу и все наше правительство!

Поезд тронулся — он вскочил на подножку вагона.

— Императору Григорию Первому я живот распа-а-арю-у-у!

. . . . . .

Исторически будет справедливо, если покушение на Распутина произведет не мужчина, а женщина!

Царская семья держала Гришку в Ливадии почти на нелегальном положении; он проживал в ялтинской гостинице «Эдинбург» по паспорту на фамилию Никонов. Чтобы не раскрыть себя, он держался прилично — никаких скандалов, никаких оргий. Гришка не знал, что за ним все время следует одна женщина, имя которой — Хиония Гусева...

У меня есть фотография, где ей всего шестнадцать лет: круглое лицо крестьянской девушки, гладкая прическа, хороший и чистый взгляд, в руке у нее книга. Сейчас Хионии Гусевой было уже сорок три года. «Лицо ее сильно обезображено сифилитическими язвами, нос провалился совсем, веки покрыты струпьями» — так писали о ней журналисты.

Мне очень жаль эту несчастную женщину...

Гусева была проституткой.

Она видела в Распутине главный источник того зла, которое сгубило ее жизнь. Мало того, Распутин осквернил ее дочерей. Хиония Гусева — мстительница за все женские беды, за все бесчестья женского рода...

Под широким платьем она прятала длинный нож.

Глаза ее безошибочно выискивали Распутина в шуме приморских бульваров, в ароматной зелени ял-

тинских садов-шантанов. Лакеи гнали ее прочь — она уходила и снова возвращалась.

Так что Илиодор-Труфанов не бросал слов на ветер!

Этот парень знал, что неизбежное случится...

В сущности капризная судьба послала Распутину все, что было необходимо для его личного счастья: много водки, много вышитых рубах и много (даже очень много) женского продовольствия. Но за этой идиллией тобольского мужика скрывалась подлинная трагедия всея России!

Александр Яблоновский

Часть пятая

ЗЛОВЕЩИЕ ТОРЖЕСТВА

(Лето 1912-го — осень 1914-го)

ПРЕЛЮДИЯ К ПЯТОЙ ЧАСТИ

Опять Нижний Новгород, опять нам весело, опять у губернатора Хвостова полный короб удовольствий и неприятностей...

На банкете по случаю открытия ярмарки раблезианский желудок Хвостова объемно и натурно воспринимал все блага щедрой русской кухни, которые тут же исправно ополаскивались коньяками, шампанским, рябиновкой и ликерами. Взбодрившись до того состояния, в каком даже титулярная мелюзга мнит себя государственным мужем, Алексей Николаевич поехал в театр — слушать оперу. Какую давали оперу — для истории неважно; существенно, что из мрака губернаторской ложи Хвостову приглянулась одна артистка. Он долго не мог поймать ее в фокус бинокля, хотя и без бинокля было уже видно, что женщина пикантна, очаровательна, воздушна.

— Кто такая? — спросил он полицмейстера.

Тот сунулся в театральную афишку.

— Это... сейчас скажу... Ренэ Радина, сопрано!

— В антракте поди и скажи ей, что я зову ее ужинать.

Ренэ Радина отвечала полицмейстеру уклончиво:

— Благодарю за честь, но сегодня первый спектакль в сезоне, он всегда напряженный, и я буду крайне утомлена.

Выслушав отказ, Хвостов наказал полицмейстеру:

— Ренэ Радину арестовать и доставить ко мне...

Огни рампы погасли, а труппа актеров, дабы спасти честь актрисы, осталась в театре, репетируя оперу на завтрашний день. Полицмейстер согласился с доводами режиссера, что «репетиция завтрашнего спектакля — прямое продолжение спектакля сегодняшнего». Поняв так, что арестовать Радину он может только после окончания репетиции, полицмейстер из театра не уходил, шлялся в пустынном фойе. И вдруг он попятился... Прямо на него из боковой «променальи» шагал господин во фраке и при орденах.

— Честь имею,— сказал он.— Действительный статский советник и солист его императорского величества...

Это был Николай Николаевич Фигнер, краса и гордость русской оперной сцены, бывший офицер флота. После трагического, небывало обостренного разрыва с певицей Медеей Фигнер он блуждал по городам России как импресарио со своей собственной труппой. К этому хочу добавить, что избалованный славой артист, будучи братом знаменитой революционерки, оставался в душе монархистом и был вхож в царскую семью... Полицмейстер испытал трепетание, когда Фигнер вытянул руку и стал драть его за ухо.

— Так вот, милейший! — сказал певец.— Та особа, на которую обратил внимание твой хам губернатор,— моя *жена*...

Это была его третья жена — третья большая страсть в жизни великого артиста. Старше Радиной на много лет, Фигнер любил ее с болезненным надрывом, остро и мучительно. Полицмейстер сделал под козырек, когда артист выскочил из театра на темные улицы. По телеграфу он разослал телеграммы о безобразиях Хвостова: директору театров Теляковскому, министру внутренних дел Макарову, министру двора Фредериксу и многим влиятельным персонам. После чего вернулся в театр, и... репетиция длилась до утра!

До утра пировал и Хвостов; губернатор был уже здорово подшофе, когда перед ним положили телеграмму из МВД, в которой Хвостову указывали оставить в покое певицу Ренэ Радину. Рассвет уже сочился над раздольем волжским, золотя окна губернаторского дома. Нижегородский визирь был оскорблен.

— Заколотить в театре все двери досками. А в эм-вэ-дэ телеграфируйте, что в труппе Фигнера — политические преступники!

Театр, словно сарай, забили досками, а труппу Фигнера под конвоем погнали на вокзал. Фигнер собирался через день быть в столице, но Хвостов велел силой впихнуть артиста в одесский поезд. На прощание певец заявил нижегородской полиции:

— За это я вашему Хвосту хвост выдерну!

Через несколько дней Макаров объявил Хвостову строгий выговор с занесением в чиновный формуляр. Фигнер, надев мундир и ордена, побывал в Царском Селе, где рассказал о сатрапских наклонностях губернатора. Николай II принял половинчатое решение, предлагая Хвостову самому сделать выбор — лишиться звания камергера или оставить пост губернатора... Вопрос сложный!

Третья Дума провела пять сессий и разъехалась по домам, а теперь начиналась кампания по выборам «народных избранников» в четвертую Думу. Царизм мобилизовал все свои силы, чтобы Дума № 4, упаси бог, не сдвинулась влево. Из темной глухомани провинций правительство извлекало явных реакционеров, предпочтение на выборах отдавалось чиновникам, помещикам, духовенству. Удержав за собой ключ камергера, Хвостов сохранил право бывать при дворе. Теперь надо завоевать официальное положение.

Хвостов был помещиком орловским, а посему баллотироваться мог по Орловской губернии. Для нача-

ла он вызвал Борьку Ржевского, входившего в славу после интервью, взятого им у Илиодора, и сказал напрямик:

— Было время, я тебе помог. Теперь ты меня выручай! Оттени все, что знаешь обо мне хорошего. Знаешь ты хорошее?

— Знаю,— отвечал Борька (покладистый).

— Плохо знаешь. Я тебе составлю список всех добрых дел, какие я сделал...

Он проходил по выборам дворянской курии, которая хорошо знала обширную семью Хвостовых, и надо полагать, что чрево Алексея Николаевича, способное переварить массу рыбных и мучных закусок, внушало даже купцам немалое уважение. Ржевский купил по случаю подержанный «ремингтон», пальцем неумело тыкал в клавиши, слагая пышные дифирамбы новому триумфатору: «Орел ликует! На стогнах древнего русского града слышны призывы избрать достойных. И мы уже избрали. Всем своим патриотическим сердцем Орел устремлен на природного сына — А. Н. Хвостова! Что мы знаем о нем? Что можно добавить к тому, что уже было сказано?..» А так как добавлять было уже нечего, то Хвостов, естественно, проскочил в депутаты четвертой Думы...

. . . . . .

Все дальнейшее поведение Хвостова обличает в нем изворотливый ум карьериста. Но сначала он допустил промах! Зарегистрировав себя в канцелярии Думы как крайне правый, Хвостов и расселся среди крайне правых. Впрочем, умнику понадобилось немного времени, чтобы он сразу заметил свою нелепую ошибку. Крайне правые для правительства были так же неудобны и одиозны, как и крайне левые. Царизм никогда не рисковал черпать сановные кадры из числа крайне правых, которые при слове «царь» сразу же разевались в гимне: «Боже, царя храни...» Хвостов перекочевал в лагерь умеренно правых — прочно занял место в кругу тех людей, которые могли рассчитывать на правительственную карьеру. В партии правых, которой симпатизировал сам царь, Хвостов сознательно чуточку... полевел. Между прочим, он тишком расспрашивал в Думе о Распутине — где бывает, стервец, каковы привычки его, мерзавца? Пуришкевич подсказал ему:

— Я давно слежу за Гришкой, он проводит вечера на «Вилле Родэ», но сидит в кабинете, редко выходя в общий зал...

Хвостов повадился таскаться на «Виллу Родэ», несколько раз видел Распутина в зале. Гришка сразу же узнал его, но не обращал на депутата никакого внимания. Только однажды, пьяный, он толкнул столик Хвостова, и прорвало его старую обиду:

— Пьешь? Жрешь? А кады я приехал в Нижний, у меня гроша за душой не было... Сам к тебе на обед набивался, а ты, голопуп, рази накормил меня?

О политических деятелях иногда судят не по тому, что они говорят и делают, а по тому, что они не сказали и чего не сделали. Хвостов в Думе столь упорно отмалчивался, что за его молчанием грозно чуялось нечто из ряда вон выходящее. Сохраняя тупое реакционное молчание, он стал лидером фракции правых. Но человеку с такой утробой одного лидерства для пропитания маловато. Таким людям необходим портфель министра внутренних дел!..

1. ВЕРБОВКА АГЕНТОВ

Побирушка так жил, так жил... гаже не придумать!

Недавно научный журнал «Вопросы истории» дал картинное описание этого бесподобного жития: «Его квартира была одновременно и часовней, и салоном, где встречались гомосексуалисты всего города... Перебывало более тысячи молодежи, часто приводимой князем прямо с улицы. Андронников вел себя подозрительно, отлучаясь с кем-либо в ванную комнату». От себя дополню: по военным училищам Петербурга юнкерам был зачитан секретный приказ — избегать знакомства с князем М. М. Андронниковым (Побирушкой)!

После революции лакей князя, некто Кильтер, дал показания о средствах Побирушки: «Чуть ли не каждодневно брал из банка по тысяче: Вино белое и красное текло рекой. Как-то я купил в английском погребе тысячу бутылок вина, так едва хватило на две недели. Со стола не сходили икра, балык, анчоусы, торты, дорогие колбасы и прочее». Но с чего такая роскошь, читатель? На это можно ответить вторым вопросом: «А на кой же тогда черт существует славная русская кавалерия?» Конница всегда имеет падеж лошадей, а шкуры павших стоят недешево, иначе с чего бы обувь делали? Весной 1912 года Побирушка увязался в очередную командировку Сухомлинова в Туркестан, где они скупали по дешевке благодатные ферганские земли с хлопком и виноградниками, а продавали их налево по бешеным ценам... Теперь понятно, что Побирушка возле Пяти углов не стоял с озябшею, протянутой к прохожим рукой!

В один из дней к нему на квартиру вдруг нагрянул директор департамента полиции Степан Белецкий...

— Выпить хотите? — предложил Побирушка.

— Нельзя. Завтра доклад у министра...

Разговорились. Белецкий сказал:

— А ведь я упорно занимаюсь самообразованием.

— Вот как? — поразился Побирушка.

— Представьте! Именно только попав в департамент полиции, я начал усиленно просвещать себя.

Я читаю серьезные монографии всемирно известных историков революций — от Карлейля до Альбера Вандаля. Не скрою, мне интересно знать, что в революциях бывает с такими людьми, как я... Жена говорит: «Степан, не лезь, ты погибнешь!» А я уже залез. И уже не выбраться. Сижу по уши и вижу, как жернова крутятся... Из истории же видно, что конец будет один — повесят или расстреляют. Что лучше — не знаю. Но это меня настраивает на боевой лад, и я делаю все, чтобы затоптать искры...

— Наверное, устали,— посочувствовал Побирушка.

— Зверски! Едва ноги таскаю.

— Хотите?..

— Чего?

— Отдохнуть, говорю, хотите? Встряхнуться?

— Да не мешало бы... только — как?

Побирушка дал ему порошочек в аптечном фантике, провел в ванную комнату и запер там одного, крикнув ему через дверь:

— Вы понюхайте... весь мир прояснится.

Понюхав, Степан вылез в коридор:

— Спасибо. А кокаин и правда неплох — проясняет.

Побирушка проводил его до дверей.

Дверь закрылась, но Побирушка по опыту жизни знал, что она еще не раз откроется перед Белецким. Женщин князь не выносил, и его навещала только Наталья Илларионовна Червинская.

. . . . . .

Откуда она взялась? О-о, эта дама достойна внимания... Начнем с того, что она была двоюродной сестрой первого мужа Екатерины Викторовны Сухомлиновой. В бракоразводном процессе она сначала поддерживала своего брата Бутовича, но затем, оценив преимущества дружбы с министром, переменила фронт — стала на сторону Сухомлиновых. По документам Червинская представляется мне дамой хитрой, желающей взять от жизни побольше и послаще, что характерно для мещанской натуры. Одетая на подачки Альтшуллера с безвкусной роскошью, мадам Червинская брала гитару с пышным бантом, и министерская квартира наполнялась пением тоскующей львицы из конотопского хутора по названию Утопы.

В поисках острых ощущений Червинская ринулась на Английский проспект, где в это время проживал Гришка Распутин. Генералу Сухомлинову женщина рассказывала так:

— Григорий понял, что я единственная женщина в мире, на которую он как мужчина не имеет никакого влияния. Хотите, я вас с ним познакомлю?

Сухомлинов в ужасе замахал руками.

— Что угодно, только не это чудовище...

Сухомлинов твердо отвергал все попытки Распутина установить с ним близкие отношения. Отдадим ему должное — он поступал как порядочный человек. Этой «ошибки» ему уже не исправить, и расплачиваться за нее станет его жена... Между тем Наталья Илларионовна Червинская, попав в столицу, хотела обойти все рестораны, побывать на всех гуляньях. Странное дело: Петербург битком набит мужчинами, и ни один из них не бросился в ноги Червинской, умоляя о знойном счастье. Червинская (чтобы не быть совсем одной) таскала за собой племянника Колю Гошкевича, который тоже был устроен Сухомлиновым на теплое местечко. Худосочный юноша с жиденьким галстуком, уже не голодный, но еще и не сытый, он, конечно, никак не мог украсить общество такой дамы, как его неутоленная тетушка.

Но... ладно! Пошли они в ночной ресторан «Аквариум» на Каменноостровском, ныне Кировском, проспекте. Сели за столик. Коля Гошкевич оглядел высокие пальмы, увидел, какие роскошные королевы есть на свете, сразу же и бесповоротно осознал все свое ничтожество и надрался так, что через пять минут можно считать — вроде бы он есть, на самом же деле его нету. Оказавшись в таком невыгодном положении, Наталья Илларионовна величественным взором конотопской Клеопатры окинула сверкающий зал и тут...

Читатель, прошу тебя сохранять хладнокровие!

Тут к ней подошел тот самый «принц», который ей снился в жарких снах. Интересный молодой человек, одетый, как на картинке журнала, пригласил ее к танцу. Потом они оставили Колю Гошкевича погибать и дальше, а сами уселись в глубокую тень, где к ним на цыпочках, словно карманный вор, приблизился скрипач Долеско, и его скрипка пробуравила в сердце Червинской огромную кровоточащую рану. «Принц» вел себя идеально (еще бы!), а говорил именно те слова, которых Червинская так давно желала:

— Вы божество мое... Одну ночь любви... Умоляю!

«Принц» вывел ее из ресторана на улицу, где его ждал «напиер» на шести цилиндрах в тридцать пять лошадиных сил с корпусом, особо модным в ту пору (типа «каросери»).

Приехали. Долго поднимались по лестнице. «Принц» открыл двери в пустую прохладную квартиру с очень богатым убранством.

— Мы выпьем за ночь любви,— деловито сказал он.

Червинская выпила, и... все! Больше она ничего не помнит. Утром проснулась и увидела, что возле окна, тихо беседуя, стоят три незнакомых мордастых господина в одинаковых пиджаках, в гуттаперчевых воротничках на багровых от полнокровия шеях. Заметив, что Червинская открыла глаза, все трое как по команде взялись за спинки венских стульев, поднесли их к самому дивану и сели на них разом, окружив лежавшую женщину.

— Доброе утро,— сказали они хором.

Червинская до глаз натянула на себя одеяло.

— Господи, где я?.. Кто вы такие?..

— Спокойно. Мы — контрразведка.

Чтобы раз и навсегда испугать эту организацию, дама дико завизжала, но удар пощечины ослепил ее, как вспышка молнии. Тогда она села на постели и стала плакать.

— Без истерик,— предупредили ее.— Вы должны отвечать на любой наш вопрос. Быстро. Не думая. Точно. Кратко.

В основном ее расспрашивали о конторе Альтшуллера.

Она рассказала все, что знала, что видела.

Червинская потом говорила жене Сухомлинова:

— Я, конечно, отвергла все его попытки, хотя, признаюсь, было нелегко устоять перед таким мужчиной. Он обещал мне позвонить.

И он действительно позвонил:

— Сегодня вечером в «Фантазии» на Разъезжей.

— Но я сегодня занята...

— Это нас не волнует. Будьте скромно одеты. Фасон вашего платья не имеет для встречи никакого значения.

На этот раз «принц» ограничил кутеж бутылкою вишневой воды и заказал для своей дамы мороженое с вафлями.

— Мы будем платить по сто рублей в месяц. Нас интересует контора Альтшуллера, где вы стучите на машинке, и... полковник Мясоедов.

— Но я Мясоедова видела только один раз.

— Повидайте второй, третий... Мы не спешим!

. . . . . .

Мясоедов стоял на пороге кабинета Сухомлинова.

— Милости прошу. Что вас привело ко мне?

— Вы разве не узнали меня?

— Простите,— отвечал старик,— не упомнил.

Мясоедов ощутил неловкость своего появления:

— А я думал, что моя жена Клара Самуиловна...

— Ах, это ваша жена? — оживился Сухомлинов.— Ну, как же, как же... Теперь вспомнил! Так это с вашей супругой моя Катерина Викторовна провела то дивное лето в Карлсбаде?

— Именно так.

— Прошу. Садитесь. Чем могу быть полезен?..

Итак, пора выводить на сцену Мясоедова, которому суждено быть повешенным.

2. СЛЕПАЯ КИШКА

Для начала приведу факт, ускользнувший от внимания историков... Волынь тогда кишмя кишела шпионами, а правление «Северо-Западного пароходства» давно подозревалось в шпионаже в пользу Германии. Служащий пароходства Моисей Капыльник был взят под стражу, дело его вел советник Квашнин-Самарин. Однажды в ресторане к нему подсел в штатском костюме Мясоедов, сказавший, что, как директор пароходства, он глубоко потрясен арестом своего сотрудника. Квашнин-Самарин понял, что корни этого «потрясения» уходят куда-то очень глубоко, иначе Мясоедов не стал бы тревожиться из-за мелкой конторской сошки. Юрист ответил, что подробности дела не помнит, а о политической стороне дела разумно умолчал. По поведению Мясоедова было видно, что он с облегчением распрямился. «Я вам чрезвычайно благодарен,— сказал он,— отныне я считаю Капыльника уволенным. Мне он уже не нужен!» Вскоре в виленскую тюрьму передали посылку с продуктами на имя Капыльника, который, покушав колбаски, тихонько умер. Квашнин-Самарин доложил «наверх» свои подозрения о Мясоедове, но это дело почему-то замяли... Писать о Мясоедове так же трудно, как о Богрове, ибо у Мясоедова, как и у Богрова, полно обвинителей, но еще не вывелись красноречивые адвокаты, мастера казуистики.

Романист имеет право на свою точку зрения...

Удар гонга! — пограничная станция Вержболово.

. . . . . .

За этой станцией начинается Германская империя; здесь поезда делают остановку, работают погранохрана и таможня. Мясоедов был начальником Вержболовского жандармского отделения: пост очень важный! А в пятнадцати верстах от Вержболова находилось охотничье имение кайзера «Роминтен», где Вильгельм II принимал у себя Мясоедова; однажды во время обеда, на котором присутствовали и берлинские министры, кайзер поднял бокал за здоровье «своего друга» жандарма Мясоедова! Русская контрразведка знала об этом, но... Германский император вправе допустить такую любезность. Генштаб обеспокоило другое обстоятельство: образ жизни полковника. Время от времени, заскучав на перроне Вержболова, он совершал набеги на Вильно, где тогда был единственный кафешантан Шумана, и здесь «шампанское лилось рекой, золото сыпалось в карманы заморских див, подвизавшихся на подмостках шантана...».

Мясоедов нашел себе жену по другую сторону границы — в Германии; так в его жизни появилась Клара Самуиловна Гольдштейн, отец которой, кожевенный фабрикант, выехал в Россию, отвалив жениху чистоганом сто пятнадцать тысяч рублей. Скоро контрразведка докопалась, что Мясоедов берет взятки с таможни, тайком — на служебном автомобиле — он вывозит в Германию контрабандные товары, очень крупно спекулирует. Налаженные связи еврейской торговой агентуры обеспечивали Мясоедову полную безнаказанность, и поймать его, как ни старались, было невозможно, ибо полковник использовал «пантофельную» почту германских евреев. В 1907 году Столыпин приказал перевести Мясоедова во внутренние губернии страны «не ближе меридиана Самары» (чтобы оторвать полковника от немецкой клиентуры). Мясоедову было заявлено: «Вы — русский офицер, и это звание несовместимо с тем, чтобы вы заодно служили и экспедитором кайзеровских фирм...» Мясоедов от меридиана прусской границы оторваться не пожелал и подал в отставку, а в Вильно возникло акционерное общество «Русское Северо-Западное пароходство», председателем в котором стал Мясоедов — для вывески! На самом же деле пароходством управляли родственники Кларочки — Давид и Борис Фрейберги; конторою ведал русский барон Отто Гротгус, один из видных агентов германского генштаба. Фирма занималась исключительно вывозом евреев-эмигрантов из России и Польши — для заселения «обетованной земли» в арабской Палестине! Контрразведка установила, что под русской вывеской отлично замаскировался филиал загадочной германской фирмы, связанной с генштабом Германии! Расследование отчетности пароходства МВД поручило Отто Фрейнату, который дал о Мясоедове самый блистательный отзыв (а позже Фрейната... повесили как крупного немецкого шпиона). Так и текла эта жизнь, время от времени прерываемая поездками в Германию или набегами на виленский шантан Шумана.

Встреча в Карлсбаде жены Сухомлинова с Кларой Самуиловной решила все остальное. Началось с перчаток германского производства, а кончилось тем, что мадам полковница явилась на Мойку в гости к госпоже министерше, имея такую дивную муфту...

— Боже, какое чудо! — ахнула Сухомлинова.

— Скажу по секрету, милочка: муфта стоит полторы тысячи рублей, а продается... всего за сотню.

После покупки муфты Мясоедов и предстал перед Сухомлиновым, просясь вновь определиться на воинскую службу.

— Хорошо. У вас, говорят, какие-то были темные пятна... Ну, да ничего! Я о вас поговорю с самим государем.

Через двадцать дней после убийства Столыпина (этого главного врага Мясоедова!) император подписал указ о принятии Мясоедова на службу. Сухомлинова сразу же навестили его собственные адъютанты.

— Ваше высокопревосходительство, если этот шахермахерщик станет вашим адъютантом, мы все подаем в отставку...

Тогда Сухомлинов, специально для Мясоедова, создал при министерстве особое бюро по борьбе с революционной пропагандой в армии и на флоте, куда и посадил Мясоедова — владычить! Полковник не пролез в адъютанты военного министра, а числился лишь «прикомандированным к военному министру». Заодно уж он собирал для Сухомлинова министерские сплетни, нашептывая на ухо старику: «А ваш помощник Поливанов... знаете, что он сказал?..» Был лишь один неприятный момент. Надо было пройти через горнило кабинета министра внутренних дел.

— Вот как? — удивился Макаров.— Странно мне видеть вас снова полковником... Как вам удалось определиться на службу?

— По личному повелению его величества.

— Значит, вы перепрыгнули через мою голову? Но теперь-то, надеюсь, вы — с погонами! — оставите прежние свои гешефты?..

Нет, не оставил. Макаров докладывал царю, что «Мясоедов связан с еврейским обществом, которое, нарушая русские законы, разоряет Русское государство». Один только человек в семье Сухомлиновых был настроен против Мясоедова и его Клары — это Наталья Червинская, которая выражала точку зрения контрразведки.

. . . . . .

Угадывая желания царя, Сухомлинов делал вид, будто никакой Думы не существует, а поэтому докладчиком в Думе по военным делам был его помощник Поливанов... Гучков навестил Поливанова.

— Можете дать что-либо о Мясоедове?

— Кроме гадостей, о нем ничего более не знаю.

— Схарчим и гадость... Давайте!

Поливанов поехал на стрельбище Семеновского полка, где опробовали новое оружие. Автомобиль помощника министра нечаянно обогнал автомобиль самого министра. Поливанов потом сказал:

— Извините, я случайно перерезал вам дорогу.

Сухомлинов с небывалым раздражением отвечал:

— Хорошо, что перерезали только дорогу, а то ведь говорят, что вы и меня зарезать готовы, лишь бы сесть на мое место...

После стрельб Поливанов сел в «мотор» министра.

— Я требую сатисфакции по поводу оскорбления меня.

Сухомлинов извинился! А затем сказал, что получает теперь анонимки, отпечатанные на машинке, из коих явствует, что Поливанов не раз жаловался, будто он, Сухомлинов, свалил на него всю работу министерства, а сам катается в командировки, дабы рвать «жирные» прогоны — жене своей на тряпки.

— Говорили вы так... о тряпках?

Поливанов резко прервал разговор с Шантеклером:

— После недоверия, выраженного вами ко мне, я вынужден хлопотать о почетном уходе из военного министерства...

Сухомлинов, побывав в Ливадии, сообщил ему:

— Государь изволил меня спрашивать, почему Поливанов, назначенный в Совет, по-прежнему мне помощничает?

Все ясно — отставка. А в спину уходящему Поливанову министр еще крикнул, что не надо было ему соваться в чужие тряпки:

— Будете знать, как перерезать дорогу старшим!

Вскоре Гучков (со слов Поливанова) выступил в Думе против Сухомлинова, обвиняя его в устройстве при Военном министерстве «охранки» во главе с жандармом Мясоедовым. После этого, указывал Гучков с трибуны, «одна из соседних держав стала значительно осведомленнее о наших военных делах, чем раньше». Петербуржцы рвали из рук газеты — скандал, опять скандал, да еще какой! В кампанию против Сухомлинова и Мясоедова включился беспринципный любитель коньяков Борька Суворин, который развернул в своей «Вечерке» картину предательства в военных верхах... В паддоке столичного ипподрома подслеповатый Мясоедов, часто протирая пенсне, отыскал Суворина средь любителей скакового дерби.

— Это вы, сударь, писали, что я шпион? — спросил он издателя.— В таком случае как дворянин предлагаю стреляться.

— Да иди ты к черту! — сказал ему Борька.— Или у меня дел больше нету, как только с тобой дуэлировать?

Мясоедов послал секундантов на квартиру к Гучкову.

— Стреляться? Пожалуйста. Хоть сейчас.

Мясоедов целился тщательно и... промахнулся.

Гучков (отличный стрелок) выстрелил... в воздух.

Сухомлинову позвонил по телефону Макаров.

— Владимир Александрович,— сказал министр внутренних дел министру военному,— должен вас предупредить, что Мясоедов — лошадка темная. Департамент давно имеет на него досье.

— Вы бы знали, как я устал от ваших фокусов!

— Хорошо,— ответил Макаров,— понимаю, что разговор явно не для телефонов, я напишу вам подробнейший доклад...

Пока Макаров писал донесение, Мясоедов по-прежнему околачивался при министре. Сухомлинов однажды вручил ему для передачи в Генштаб пакет со сверхсекретным протоколом военного соглашения с Францией. (Позже Сухомлинов оправдывался тем, что пакет был «хорошо заклеен»,— как будто шпионы не умеют открывать заклеенных конвертов! Мясоедов был честнее министра и сознался, что конверт был «почти не заклеен».) Макаров закончил писать донесение, на которое Сухомлинов ответил ему опять-таки по телефону,— ответил так, что можно упасть в обморок:

— *Даже если ваши подозрения справедливы* и Мясоедов действительно шпион, то он у меня ничего не узнает...

Дураков не учат — дураков бьют! Но в МВД еще

не знали, что секретное письмо Макарова, в котором он вскрыл подпольные связи Мясоедова с германской агентурой,— это письмо Сухомлинов дал прочесть самому Мясоедову. «Ну, какая наглость!» — возмутился тот. А между тем «наглость» русской контрразведки была построена на железной логике. Вот как строилась схема германского шпионажа: Мясоедов и его пароходство — Давид Фрейберг — Фрейберг связан с германским евреем Каценеленбогеном — этот Каценеленбоген связан с евреем Ланцером — а сам Ланцер являлся старым германским разведчиком, давно работавшим против России, и эти сведения были трижды проверены!

— Вы будете меня защищать? — спросил Мясоедов.

— Извините, голубчик... трудно,— уклонился Сухомлинов.— На меня уже и так много разных собак навешали.

— Тогда подаю в отставку.

И уехал в Вильно, где гешефты продолжались...

. . . . . .

Макаров, сухой полицейский педант, принял у себя группу контрразведчиков российского Генштаба.

— Господа, давайте разберемся... Его императорское величество указал нам не тревожить Сухомлинова, а значит, мы не можем трогать и контору Альтшуллера на улице Гоголя...

— Но можно,— намекнули ему,— произвести в конторе такой «чистый» обыск, что даже пыль останется на своем месте.

— Война с Германией,— продолжал Макаров,— начнется через год. Граф Спаноки, австрийский военный атташе, попался на том, что за денежки купил наши секретные карты у барона Унгерн-Штернберга, служащего в фирме, возглавляемой Мясоедовым...

Контрразведчики напомнили ему, что этот Унгерн-Штернберг — ближайший родственник князя Андроникова-Побирушки. Макаров спросил: кто непосредственно держит связь с Альтшуллером?

— Корреспондентка немецких газет Одиллия Аурих.

— Какие связи с ней установлены?

— Видели ее с Мясоедовым... гуляли по Стрелке.

— Опять Мясоедов! — воскликнул Макаров.— Но вот вопрос: какова же та интимная тайна из личной или служебной жизни Сухомлинова, зная которую Альтшуллер держит министра в руках?

— Догадываемся,— отвечали контрразведчики.— Очевидно, это связано с отравлением второй жены Сухомлинова. Киевляне твердо убеждены, что, дав жене яд, он зажал ей рот, пока она яд не проглотила. Альтшуллер может его на этом шантажировать!

— Всем на орехи будет,— закруглил Макаров.— Диву даюсь, что вокруг российского Марса скопилось столько нечистот и выросло столько аппендиксов, которые предстоит удалять сразу же, как только прозвучит первый выстрел битвы с Германией.

— Вы забыли еще о Манасевиче-Мануйлове!

— Спасибо, что напомнили...

Контрразведка выяснила, что Мясоедов заодно с провокатором Богровым добывал за границей фиктивные документы для развода Екатерины Викторовны с Бутовичем и для этого выезжал в Германию (не отсюда ли, я думаю, до наших дней тянется версия, что убийство Столыпина было задумано и оформлено в германском генштабе?). Было известно, что Альтшуллер имеет под Веной богатую виллу, на которой гостили оба — Мясоедов и Сухомлинов. Наконец, поссорившись с министром, Мясоедов предложил несчастному Бутовичу купить за десять тысяч рублей секретные документы, компрометирующие военного министра (Бутович от сделки отказался)...

Гневный душитель революции, Макаров был въедливым и точным механиком потаенного сыска, и казалось, что у царя никогда не возникнет желания от него избавиться!

3. МЕДЛЕННОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

Казалось бы, что тут такого — царь приехал в Москву? А между тем придворная камарилья говорила: «Царь *простил* москвичей». Со времени московского восстания 1905 года Николай II первопрестольную вроде проклял; только в 1912 году, в юбилей Бородинской битвы, он впервые рискнул посетить столицу своих предков. Сто лет назад близ старой Смоленской дороги громыхала битва, отзвуки которой по сю пору слышны в каждом российском сердце. Бородинские торжества имели немало помпезности, дешевой сусальности. Из числа думских депутатов ехать в Бородино пожелали депутаты-крестьяне, но Родзянко сказал им:

— Как поедете? Билетов-то нам не прислали.

Родзянко еще раз просмотрел церемониал Бородинских торжеств и увидел, что его, председателя Думы, в церемонии тоже не учли. Сердитый, назло царю, он сел в поезд и приехал в Москву, где его сразу же осадил церемониймейстер барон Корф:

— Депутаты Думы не имеют права быть при дворе.

— Так что же здесь празднуют? — зарычал Родзянко.— Если Бородинские торжества, так это праздник не придворный, а всенародный. Кстати, церемониймейстеры не спасали тогда Россию...

Он писал: «На Бородинском поле государь, проходя очень близко от меня, мельком взглянул в мою сторону и не ответил мне на поклон». Царь был уверен, что «толстяка» не изберут в председатели четвертой Думы, а значит, не стоит ему и кланяться... На Бородинском поле средь местных крестьян нашлись ветхие старцы и старухи, свидетели Бородинской битвы. В торжестве принимали участие и французы — внуки наполеоновских гвардейцев; в суровом молчании, под мерные возгласы рокочущих барабанов французы возложили венки как на французские, так и на русские могилы.

Время стерло следы прежней вражды!

В это же время германский рейхстаг, под бурные овации кайзеру, вотировал новый закон об увеличении рейхсвера.

— Мы тоже... допингируем,— говорил Сухомлинов.

. . . . . .

После Бородинских торжеств царь со всем семейством отъехал в Польшу — в заповедное имение Спалу. Был чудесный теплый октябрь, и Крулев ляс затрещал от выстрелов. В промежутке между охотой царская семья забавлялась, наблюдая за матросом Деревенько, который, обвешавшись шевронами «за безупречную службу», носился бегом с наследником престола на сытом своем загривке...

Гемофилия сделала из ребенка калеку. Однажды в Спале катались по озеру, и когда подгребли к берегу, мальчик не вытерпел — решил первым спрыгнуть на землю. При этом нечаянно ударился о борт лодки. Две недели спустя в паху у ребенка образовалась кровяная опухоль — гематома; в Спалу спешно вызвали лучших врачей — Федорова, Раухфуса, Боткина. В таких случаях необходимо вмешательство хирургии, но гемофилия не допускала применения скальпеля: резать его — значило тут же убить! 21 октября температура у Алексея подскочила до 39,8°. Федоров сказал царю, чтобы он с женою были готовы к самому худшему исходу.

Сразу возник вопрос о судьбах престола. «Условный регент» великий князь Михаил под именем графа Брасова околачивался за границей. Породить второго сына царица, в силу женских немощей, была уже не способна. А великие князья Владимировичи, Борис и Кирилл, уже таскались к Щегловитову, спрашивая, какие у них есть юридические права на престол. Ванька Каин ответил им, что прав у них нету, но права сразу появятся, если их мать из лютеранства перейдет в православие. Чтобы добыть права на престол забулдыгам-сыновьям, старая потаскуха Мария Павловна (из дома Мекленбург-Шверинского) разделась и полезла в купель, дабы воспринять веру византийскую. Об этом Щегловитов моментально сообщил в Спалу. В спальской церкви днем и ночью текли клубы ладана; царь телеграфировал Саблеру, чтобы перед Иверской иконой отслужили торжественную литургию; в столичном Казанском соборе круглосуточно совершали молебны о выздоровлении наследника...

— Можете ли спасти мне сына? — спросил царь врачей.

— Мы не боги,— ответил за всех старый Раухфус.

23 октября в Спалу приехал министр иностранных дел Сазонов; было очень раннее утро, в охотничьем шале все еще спали, министр пристроился возле камина, наслаждаясь теплом. Он привез царю доклад о положении на Балканах, о том, что схватка с германским милитаризмом близится... По лестнице, убранной рогами оленей, спустилась умиротворенная сияющая императрица.

— Вы улыбаетесь? Значит, наследнику лучше?

— Нет,— отвечала Алиса,— моему сыну хуже. Но я получила телеграмму от Распутина, который написал мне, что господь увидел мои слезы и теперь наследник останется жить.

Что тут можно сказать? Сазонов промолчал.

Днем температура пошла на убыль, а гематома медленно рассосалась. Если это чудо, то Распутин и в самом деле святой! Кровотечение наследника и прекращение его давно меня занимали [1]. Тропинка исторических подозрений заводит нас в клинику доктора Бадмаева... Шарлатан снабжал Вырубову старинным китайским снадобьем, которое увеличивало любое кровотечение, не только гемофилическое. Вырубова незаметно подсыпала эту отраву в пищу ребенка, а потом, когда болезнь обострялась, в интригу активно вторгался и сам Распутин, действуя «заговорами» или «божественной силой». Вырубова прекращала давать наследнику бадмаевские травки — наследник выздоравливал. В любом случае все трое имели выгоду: Распутин усиливал свою власть в царской семье, Вырубова держала в руках Распутина, а Бадмаев обретал право шантажировать обоих, что он очень тонко и делал!

Как бы то ни было, но Дума при известии о выздоровлении наследника дружно встала и пропела «Боже, царя храни...».

А когда петь закончили, Родзянко решил малость поправить свои отношения с Царским Селом — он сказал с трибуны:

— Государственная Дума четвертого созыва продолжает свои занятия с неизменным чувством незыблемой преданности своему венценосному вождю... Поручите мне передать государю императору чувство огромной верноподданнической радости по случаю чудесного выздоровления наследника-цесаревича!

С линзой в руках я обшарил всю громадную фотографию, на которой — в развороте амфитеатра Таврического дворца — открывается панорама четвертой Думы; я нашел того, кого искал. Вот он, заложив руку назад, с напряженным вниманием выслушивает речь председателя, а на лице застыла почтительная внимательность... Это Хвостов! «Избранники народа» домогались у Фредерикса «о счастии представиться государю императору», на что Фредерикс, переговорив с царем, дал благосклонное согласие. Естественно, что в эту депутацию вошел и лидер правых. Поверх камергерского мундира он укрепил пышный бант из трех национальных цветов имперского флага, а поверх банта нацепил... значок! Николай II, обходя шеренгу «умеренных», спросил Хвостова:

— Что это у вас за значок?

— Значок «Союза русского народа».

Согласно чиновному положению ношение значков при форменной одежде возбранялось, и царя покоробило это афиширование патриотизма. Неожиданно он повернул обратно, указал пальцем:

— Снимите... вот это!

Но, запомнив дерзость Хвостова, государь, конечно, теперь будет и помнить о самом Хвостове. В тамбуре дачного поезда, возвращаясь из Царского Села, Хвостов жадно курил, мрачно размышляя: «Черт! Неужели не стану министром внутренних дел?..»

. . . . . .

[1] Здесь же позволю себе выразить благодарность полковнику медицинской службы Виталию Сергеевичу Чернобурову, который, будучи учеником профессора С. П. Федорова (1869—1936), многое поведал мне из его рассказов о лечении наследника и влиянии Распутина на дела придворной медицины.

Министр внутренних дел Макаров, загруженный ювелирными деталями тончайшего политического сыска, закончил свой очередной доклад императору... Был декабрь 1912 года.

— Благодарю за службу,— сказал царь, выслушав его,— а теперь, Александр Александрыч, вы можете подавать в отставку.

— Простите, государь, я не ослышался?

Царь повторил. Макаров зарыдал.

— Голубчик мой,— говорил царь, утешая опричника,— да что вы так переживаете? Я ведь к вам зла не имею... Люблю вас!

— За что же... за что меня гоните?

— Ах, боже мой, да успокойтесь...

— Чем я не угодил вашему величеству?

— Всем! Всем угодили. Не надо плакать...

Непонятно, каковы же причины, по которым убрали Макарова. Субъективно рассуждая, этот старый полицейский волк был «на своем месте». Коковцев — за него! Царь тоже стоял за Макарова!

Тогда... почему же его бессовестно вышибали?

Макаров удалился, так и не осознав, что нельзя быть министром внутренних дел, не выказав основательного решпекта Гришке Распутину. На место Макарова царь вызвал из Чернигова клоуна и имитатора Николая Алексеевича Маклакова, вошедшего в историю МВД под кличкою Влюбленная Пантера. В это же время Степан Белецкий лелеял в душе ту мысль, которая уязвляла и душу Хвостова: «Как посмотришь вокруг, так нет ничего слаще эм-вэ-дэ с его рептильными фондами... Неужели я недостоин?»

4. В КАНУН ТОРЖЕСТВА

Петербург пробуждался, весь в приятном снегу, тонкие дымы, будто сиреневые ветки, тянулись к ледяному солнцу, заглянувшему в спальню директора департамента полиции. Белецкий еще спал, и жена дожидалась, когда он откроет глаза...

— Степан, я давно хочу с тобою поговорить. Оставь все это. Ты уже достиг поднебесья. Просись обратно в губернию.

Поняв причину ее вечных страхов, он сказал:

— Губернаторы тоже причислены к эм-вэ-дэ.

— Лучше сидеть на одной каше, но спать спокойно. Я же вижу, как полицейщина засасывает тебя, словно поганое болото...

— С чего ты завела это нытье с утра пораньше?

— Я завела... Да ведь мне жалко тебя, дурака! Погибнешь сам, и я погибну вместе с тобою... Пожалей хоть наших детей.

— Можно подумать,— фыркнул Белецкий,— что все служащие полиции обязаны кончить на эшафоте.

Жена заплакала.

— Об одном прошу, поклянись мне, что никогда не полезешь в дружбу с этим... Ну, ты знаешь, кого я имею в виду.

— Распутина? Так он мне не нужен...

Жена соскочила с кровати.

— Не так! — закричала она.— Встань к иконе! Пред богом, на коленях клянись мне, Степан, что Распутин тебе не нужен...

Он любил жену и встал на колени. Директор департамента полиции, широко крестясь, принес клятву перед богом и перед любимой женой, что никогда не станет искать выгод по службе через Гришку Распутина... Жена подняла с пола уроненную шпильку, воткнула в крепкий жгут волос на затылке.

— Смотри, Степан! Ты поклялся. Бог накажет тебя...

В прихожей он напялил пальтишко с вытертым барашковым воротником, надел немудреную шапчонку, сунул ноги в расхлябанные фетровые боты. У подъезда его поджидал казенный «мотор».

— В департамент,— сказал, захлопывая дверцу...

«Ольга, как и все бабы, дура,— размышлял директор в дороге.— Где ей понять, что в таком деле, какое я задумал, без Гришки не обойтись, но я ей ничего не скажу... Господи, жить-то ведь надо! Или мало я киселя хлебал? О Боже, великий и насущный, пойми раба своего Степана...» Шофер, распугивая зевак гудением рожка, гнал машину по заснеженным улицам столицы — прямо в чистилище сатаны! На Фонтанку — в департамент.

. . . . . .

Ротмистр Франц Галле в шесть утра уже был в полицейском участке. «Много насобирали?» — спросил, зевая. Дежурный пристав доложил о задержанных с вечера: нищие, воры, налетчики, взломщики, наркоманы, барахольщики, проститутки... По опыту жизни Галле знал, что рабочий день следует начинать с легкой разминки на нищенствующих (это вроде физзарядки).

— Давайте в кабинет первого по списку,— указал он; вбросили к нему нищего, сгорбленного, в драной шинельке.— Где побирался?

— На Знаменской... какое сейчас побирание!

— Почему не желаешь честно трудиться?

— Дык я б пошел. Да кому я нужен?

— Семья есть? — спросил Галле, еще раз зевая.

— А как же...

Сорвав трубку телефона, Галле стал названивать в Общество трудолюбия на Обводном канале, чтобы прислали стражников.

— Да тут одного надо пристроить...

Шмыгнув красным носом, нищий швырнул на стол ротмистру открытый спичечный коробок, из которого вдруг побежали в разные стороны клопы, клопищи и клопики — еще детеныши.

— Я тебя в Крестах сгною! — орал Франц Галле, давя клопов громадным пресс-папье, и с кончиною каждого клопа кабинет его наполнялся особым, неповторимым ароматом...

— Честь имею! — сказал «нищий», распахивая на себе шинельку, под которой скрывался мундир.— Я министр внутренних дел Маклаков, а клопов сих набрался в твоем клоповнике... Ну, что? Не дать ли вам, ротмистр, несколько капель валерьянки?

Началась потеха: всех арестованных за ночь погнали из камер на «разбор» к самому министру...

Взломщики сочли Маклакова за своего парня. Он

угостил их папиросами, душевно побеседовал о трудностях воровского мастерства. Несколько дней полиция Петербурга находилась в состоянии отупляющего шока. Боялись взять вора-домушника. Страшились поднять с панели пьяного... «Поднимешь, в зубы накостыляешь, а потом окажется, что это сам министр». Маклаков, подлинный мистификатор, являлся в участки то под видом адъютанта градоначальника, то бабой-просительницей, то тренькал шпорами гусарского поручика. Гримировался — не узнаешь! Голос менял — артистически! Петербург хохотал над полицией, а сам автор этого фарса веселился больше всех. Озорная клоунада закончилась тем, что царь сказал Маклакову:

— Николай Алексеич, пошутили, и хватит... Я прошу вас (лично я прошу!), окажите влияние на газеты, чтобы впредь они больше не трепали имени Григория Ефимовича...

Обывателю не возбранялось подразумевать, что Распутин где-то существует, но он, как вышний промысел, всеобщему обсуждению не подлежит. Натянув на прессу намордник, Маклаков вызвал к себе Манасевича-Мануйлова, которого отлично и давно уже знал.

— Ванечка, ты больше о Распутине не трепись.

Влюбленная Пантера совершала немыслимые прыжки и, покорная, ложилась возле ног императрицы, облизывая ей туфли. Царь отверг резолюцию Коковцева, который о Маклакове писал: «Недостаточно образован, малоопытен и не сумеет сыскать доверие в законодательных учреждениях и авторитет своего ведомства». Но что значит в этом мире резолюция? Бумажка...

. . . . . .

Ванечка зашел на Невском, дом № 24/9, в парикмахерскую «Молле», владелица которой Клара Жюли сама делала ему маникюр. Между прочим, болтая с неглупой француженкой, Манасевич-Мануйлов краем уха слушал разговоры столичных дам:

— Теперь чулки прошивают золотыми пальетками, так что ноги кажутся пронизанными лучами утреннего солнца...

— А Париж уже помешался на реверах из черного соболя...

Действуя по наитию, Ванечка подошел к телефону.

— Здравствуй, Григорий Ефимыч,— сказал приглушенно.— Не узнал? Это я — Маска... враг твой! Я прямо от Маклакова, он к тебе хорошо относится. За что? Не знаю. Он сказал: «Ванюшка, только не обижай моего друга Распутина...» Встретимся?

— Да я в баню собрался,— отвечал Распутин, явно обрадованный тем, что Маклаков к нему хорошо относится.

— Ну, пойдем в баню. Я тебе спину потру.

— Ладно. Приходи. Я моюсь в Ермаковских.

Распутина сопровождали семь женщин (четыре замужние, две овдовевшие и одна разведенная). Гришка тащил под локтем здоровущий веник, так что подвоха с его стороны не было. Пошли в баню с приятными легкими разговорами. Ванечка семенил сбоку, слушая. Неожиданно Распутин спихнул его с панели, сказав:

— А меня, брат, скоро укокошат... это уж так!

— Кто? — спросил Ванечка, испытав зуд журналиста.

— Да есть тут один такой... Ой и рожа у него! Не приведи бог... Я вчера с ним мадеру лакал. Человек острый...

Интересно было другое. На углу Казачьего переулка стояла грязная баба-нищенка, и Распутин окликнул ее дружески:

— Сестра Марефа, а я мыться иду... Не хошь ли?

— Рупь дашь, соколик, тогда уступлю — помоюсь.

— Трешку дам. Пива выпьем. Чего уж там! Причаливай...

Из соображений нравственного порядка я дальнейшие подробности опускаю, как не могущие заинтересовать нашего читателя. Но хочу сказать, что после бани Распутин платье баронессы Икскульфон-Гильденбрандт, пошитое в Париже на заказ, отдал нищенке, а знатную аристократку обрядил в отрепья сестры Марефы.

— Горда ты! — сказал ей.— Теперича смиришься...

При выходе из бани заранее был расставлен на треноге громадный ящик фотоаппарата, и Оцуп-Снарский (тогдашний фоторепортер Суворинespecially) щелкнул «грушей» всю компанию Гришки, с дамами.

— Вот нахал Мишка! — сказал ему Распутин без обиды.— Доспел-таки меня... ну и жук ты! Пошли со мной мадеру хлебать...

. . . . . .

Под видом интервью, якобы взятого у Распутина, Ванечка со всеми подробностями описал этот Гришкин поход в баню. Борька Суворин «интервью» напечатал в своей газете, за что, как и следовало ожидать, Ванечку потянули на Мойку — в МВД.

— Это же подло! — сказал ему Маклаков.— Я дал слово государю, что Распутина трогать не станут, ты дал слово мне, что не обидишь его, и вдруг... сходил и помылся! Ты меня, Ванька, знаешь: шуточки-улыбочки, но и в тюрьму могу засадить так прочно, словно гвоздь в стенку,— обратно уже будет не выдернуть.

— Ну что ж,— согласился Манасевич,— травлю Распутина я позже всех начал, мною эта кампания в печати и заканчивается...

Влюбленная Пантера проглядывал списки чиновников своего министерства и напоролся на имя князя М. М. Андронникова.

— Как? — воскликнул он.— И этот здесь?

Самое странное, что ни один из столоначальников не мог подтвердить своего личного знакомства с Побирушкой.

— Знаем,— говорили они,— что такой тип существует в России, но упаси бог, чтобы мы когда-либо видели его на службе.

Маклакова (даже Маклакова!) это потрясло:

— Но он уже восемнадцать лет числится по эм-вэ-дэ. Мало того, все эти годы исправно получал жалованье... за что? Неужели только за то, что граф Витте когда-то внес его в список?

Стали проверять. Все так и есть: на протяжении

восемнадцати лет казна автоматически начисляла Побирушке жалованье, а Побирушка получал его, ни разу даже не присев за казенный стол.

Маклаков велел явить жулика пред «грозные очи»:

— Чем занимаетесь помимо... этого самого?

— Открываю глаза,— отвечал Побирушка бестрепетно.

— Как это?

— А вот так. Если где увижу несправедливость, моя душа сразу начинает пылать, и я открываю глаза власть предержащим на непорядок... Я уже в готовности открыть глаза и вам!

Его выкинули. Побирушка кинулся к Сухомлинову.

— Маклаков лишил меня последнего куска хлеба. Если и ваше министерство не поддержит, мне останется умереть с голоду...

На этом мы пока с ними расстанемся.

5. РОМАНОВСКИЕ ТОРЖЕСТВА

Романовы-Кошкины-Захарьины-Голштейн-Готторпские...

Так исторически правильно они назывались!

Было серенькое февральское утро 1613 года, когда возок с первым Романовым, ныряя в сугробах, под шум вороньего грая доставил его из Костромы в первопрестольную; болезненный и хилый отрок Михаил, плача от робости, водрузил на себя корону, которая теперь, три столетия спустя, сидела на голове его потомка Николая II... Триста лет — дата юбилейная, и Романовы весь могучий аппарат имперской пропаганды поставили на воспевание романовских торжеств, дабы в народе не иссякала вера в «добрых, премудрых и всемогущих царей-батюшек»! Ну, конечно, где торжества, где хорошие харчи с выпивкой, там без Гришки не обойтись...

В Казанском соборе совершал службу патриарх Антиохийский, когда Родзянко (под возгласы молебнов) лаялся с церемониймейстером Корфом на злободневную тему: кому где стоять — где Думе, а где Сенату? Председатель добился, чтобы Сенат задвинули в мышиную тень собора, а на свет божий вытаращились пластроновые манишки «народных избранников», причем Родзянко призвал депутатов «не сдавать занятую позицию». В подкрепление своих слов он вызвал полицию, оцепившую линию думского фронта. Но не успел Родзянко отереть пот с усталого чела, как подошел пристав.

— Там какой-то мужик с крестом прется вперед, уже встал перед думскими депутатами и ни в какую не уходит...

Распутин занял позицию перед Государственной думой, перед Государственным советом, перед Правительствующим Сенатом — в темно-малиновой рубахе из шелка, в лакированных сапогах, а поверх крестьянской поддевки красовался наперсный крест, болтавшийся на цепочке высокохудожественной выделки.

— А ты зачем тут? — зловеще прошипел Родзянко.

И получил хамский ответ:

— А тебе какое дело?

— Посмей мне «тыкать»! За бороду вытащу...

Родзянко вспоминал: «Распутин повернулся ко мне лицом и начал бегать по мне глазами: сначала по лицу, потом в области сердца... Так продолжалось несколько мгновений. Лично я совершенно не подвержен действию гипноза, испытал это много раз, но здесь я встретил непонятную мне силу огромного воздействия. Я почувствовал накипающую во мне чисто животную злобу, кровь отхлынула к сердцу, и я сознавал, что мало-помалу прихожу в состояние подлинного бешенства». На гипнотический сеанс мужика столбовой дворянин ответил своим гипнотическим сеансом, глядя на варнака с таким напряжением, что, казалось, глаза вылетят прочь и повиснут на ниточках нервов... И что же? Гипноз Родзянки оказался сильнее: Гришка съежился и перешел на «вы».

— Что вам угодно от меня? — спросил он тихо.

— Чтобы ты сейчас же убрался отсюда.

— У меня билет... от людей, которые повыше вас.

— Пошел вон... с билетом вместе!

«Распутин искоса взглянул на меня, звучно опустился на колени и начал отбивать земные поклоны. Возмущенный этой наглостью, я толкнул его в бок и сказал: «Довольно тебе ломаться!» С глубоким вздохом и со словами «О Господи, прости его грех» Распутин... направился к выходу». А там, на улице, оказывается, его, как важную персону, поджидал автомобиль из царского гаража, выездной лакей в императорской ливрее подал ему великолепную шубу из соболей, какой не мог бы справить себе и Родзянко.

Распутин потом со смехом рассказывал:

— Я хорошую свинью подложил Родзянке, когда из собора ушел. Меня в собор сам царь звал. Спросит он: «А где ж Григорий?» А меня-то и нетути. Да его, скажут, Родзянко прочь вышиб... Вот смеху-то будет, коли Родзянку тоже домой погонят!

В этом году Распутин внял советам друзей и решил усилить свои гипнотические свойства. Тайком, скрываясь от филеров, он посещал кабинет Осипа Фельдмана, который давал ему уроки по влиянию на людей. Но обмануть департамент полиции не удалось, и Белецкий вскоре же установил, что Распутин оказался способным учеником Фельдмана, усилив свойственную ему силу внушения. Шила в мешке не утаишь; по столице стали блуждать слухи, что Распутин уже загипнотизировал царскую семью, теперь он вертит самодержцем как хочет. Эта нелепая сплетня особенно подействовала на главаря черносотенцев — доктора Дубровина, который спешно собрал съезд «союзников», где на высоком научном уровне обсуждался вопрос о *«разгипнотизировании загипнотизированных их императорских величеств»!* Был даже создан особый комитет, который ничем другим, кроме гипноза, не занимался. В качестве научного консультанта к работе привлекли ординатора психиатрической клиники приват-доцента В. Карпинского.

«Разгипнотизирование загипнотизированных» Романовых-Кошкиных-Захарьиных-Голштейн-Готторпских черносотенцам не удалось!

. . . . . .

А Европа была по-настоящему загипнотизирована событиями на Балканах, искры пожаров долетали до берегов Невы и Одера... Балканские войны 1912—1913 годов мы знаем «на троечку», а ведь наши дедушки и бабушки с невыразимой тревогой раскрывали тогда газеты. В Петербурге ошибочно полагали, что армии южных славян не сдержат натиска Турции; Россия будет вынуждена оказать им поддержку, а заодно откроет для себя и черноморские проливы. Турецкую армию обучали германские инструкторы, во главе ее стоял бравый «паша» фон дер Гольц; в канун войны кайзер вызвал его в Берлин и спросил — все ли готово, чтобы дать взбучку славянам? «Ganz wie bei uns» (совсем как у нас),— ответил фон дер Гольц. Турция была вооружена устаревшим оружием — германским, славяне новейшим оружием — французским... Внешне построение балканских войск выглядело нелепо. Болгария, Греция, Сербия и Черногория (неожиданно для Петербурга!) вдрызг разнесли турецкую армию, и та панически бежала, оставляя европейские владения, Македонию и Албанию. Русская публика, приветствуя победы славян, пела на улицах «Шуми, Марица», а в Царском Селе не могли смириться с мыслью, что болгарам достанется лакомый кусок турецкого пирога — Босфор, и потому казаки стегали на улицах публику, в восторге певшую «Шуми, Марица»! Первая Балканская война закончилась. Но не успели составить ружья в пирамиды, как сразу же — без передышки — возникла Вторая Балканская война: Сербия, Греция, Черногория и Румыния набросились теперь на Болгарию (вчерашнюю союзницу), а к ним примкнула и Турция (вчерашняя противница),— эта новая, неряшливо составленная коалиция изволтузила оставшуюся в одиночестве Болгарию. Русская дипломатия явно переоценила свое влияние на Балканах, а дух войны вырвался из повиновения мага Сазонова.

— В результате *двух военных конфликтов*,— рассуждал он,— возникли *два политических результата:* Румыния с королем, склонным к союзу с Германией, кажется, пойдет на союз с Россией, а Болгария, избитая до крови, отвернется от нас, уже примериваясь к неестественной для славян дружбе с Германией...

Довольных не было. Австрия потеряла надежду выйти к греческим Салоникам и нацелилась на захват Албании; Германия с тревогой наблюдала, как в синие воды Босфора рушились каменные быки пангерманского «моста», переброшенного от Берлина до Багдада. Пребывая в «настроении больного кота», кайзер вспоминал слова фон дер Гольца о том, что в Турции, разбитой славянами, «совсем как у нас»... Сложные узлы разрубают мечами!

Сергей Дмитриевич Сазонов, министр, не умел владеть ни лицом, ни голосом (что не характерно для дипломата). Сейчас все его слова выдавали сильное волнение и смятение чувств, крах логики.

— Ощущение такое,— говорил он Коковцеву,— будто где-то под полом лежит «адская машина» и я слышу, **как часики отщелкивают время,** после чего... взрыв! Вся наша работа многих лет, все напряжение дней и бессонные ночи — все насмарку!

Коковцев, человек уравновешенный, отвечал:

— А в Берлине уже и не скрывают, что траншеи выкопаны. Но меня удивляет, что кайзер неизменно подчеркивает — война будет *расовой*: битва славянства с миром германцев. Мы присутствуем при завершении ужасающего процесса европейской истории.

— Где конец этого процесса?! — воскликнул Сазонов.

— Конца не ведаю,— невозмутимо сказал Коковцев,— но зато истоки процесса известны: это 1871 год, это разгром Франции бисмарковской Германией, это унизительное для французов провозглашение Германской империи в Зеркальном зале Версальского дворца, это... ошибки, сделанные лично нами, нашими отцами и нашими дедами еще со времен Венского конгресса!

Теперь кайзер утверждал: «Кто не за меня, тот против меня, а кто против меня, того я уничтожу». Россия три раза подряд уступала немцам, чтобы не вызвать всемирного пожара; уступила в 1909-м, в 1912-м, уступала и сейчас, в 1913 году, но в 1914-м уступать будет уже нельзя. Из Берлина дошли слова кайзера: «Если войне суждено быть, то безразлично, кто ее объявит...»

— Могу ли я что-либо еще сделать? — спросил Сазонов.

— Милый Сергей Дмитриевич, вы уже *никогда и ничего* не сможете сделать. Вы просто не успеете отскочить в сторону, как эта пороховая бочка, сорвавшись с горы, расплющит вас.

— Значит... война?

Народы мира еще не хотели верить, что пролог уже отзвучал,— дипломатический оркестр торопливо перелистывал старые затерханные ноты, готовясь начать сумбурное вступление к первому акту великой человеческой трагедии, и безглазый дирижер, зажравшийся маэстро капитал, уже постучал по краю пюпитра: «Внимание... приготовьтесь... сейчас мы начинаем...»

. . . . . .

В годы Балканских войн Распутин начал влезать в дела международной политики. Вернее, не он начал влезать, а его силком втаскивали в политику, заставляя разговориться о ней... Бульварные газеты повадились брать у него интервью.

— Вот ведь, родной,— говорил Распутин, сидя на кровати, из-под которой торчал ночной горшок,— ты тока пойми! Была война там, на энтих самых Балканах. Ну и стали всякие хамы орать: быть войне, быть! А вот я спросил бы писателев: нешто хорошо это? Страсти бы укрощать, а не разжигать. Памятник бы поставить — да не Столыпину, какой в Киеве нонешней осенью отгрохали,— нет, поставить бы тому, кто Россию от войны избавил.

Репортер Разумовский перебил его:

— Я из газеты «Дым Отечества»... Вот вопрос: вы русский крестьянин, неужели же вам глубоко безразличны страдания ваших же братьев-славян от ига Австрии и Турции?

На что Распутин, погладив бороду, отвечал:

— А може, я не мене ихнего страдаю. А може, славянам твоим бог свыше дал испытание от турка. Бывал я в Турции, кады по святым местам ездил... А што? Чем плохо? Народец, глядишь, не шатается. Зато славяне твои обокрали меня на вокзале...

— Но ведь войны для чего-то существуют!

— А для чего? — вопросил Распутин.— Скажи, какая мне выгода, ежели я тебя, мозглявого, чичас исковеркаю и свяжу, как в кутузке? Ведь опосля уснуть — не усну. А вдруг ты, паразит такой, ночью встанешь и меня ножиком пырнешь? Так и война! Победителю мира не видать: спи вполглаза да побежденного бойся. А мы, русские, не в Европу должны поглядывать (Што нам ента Европа? Да задавись она!), а лучше в глубь самих себя посмотреть: такие ли уж мы хорошие, чтобы других учить разуму?..

Этот примитивный пацифизм Распутина объяснялся просто: внутренним чутьем он понимал, что вслед за войною придет революция — и неизбежный конец его приятной веселой жизни. Германии он не знал! Но когда ездил в Царицын к Илиодору, то часто посещал колонии немцев Поволжья, где его ошеломили чистота полов, фикусы до потолка и работа сельскохозяйственных машин германского производства. Но больше всего Гришку потрясло то, что немцы-крестьяне пили по утрам... кофе.

— Мать честная! — не раз восклицал он.— Утром встал, рожу ополоснул, а ему уже кофий ставят. Не чай, а кофий! Ну, где уж нам, сиволапым, с немаками тягаться? Живем, брат, из кулька в рогожку. А тут еще воевать хотим. Как можно германца победить, ежели он по утрам кофий дует?

В конце 1913 года в Петербург прибыл болгарский царь Фердинанд (из династии Кобургских). Николай II не принял его. Тогда царь Болгарии нагрянул с адъютантами прямо в квартиру Распутина на Английском проспекте, и Гришка даже не удивился:

— Чево надо? Папку повидать? Так иди. Повидаешь...

После этого император России принял царя Болгарии!

. . . . . .

От внешней политики перейдем к сугубо внутренней, хорошо засекреченной. Чтобы иметь в доме «своего человека», Распутин выписал из Покровского племянницу Нюрку... Однажды в полдень эта девка разбудила его, крепко спавшего «после вчерашнего».

— Дядь Гриша, да встань ты... Машина-то звенит и звенит, уж я надселася — эдак страшно-то, что железки звенят...

Это звонил телефон! Календарь показывал декабрь 1913 года. В трубке Распутин услышал голос бывшей премьерши:

— Вас беспокоит Александра Ивановна Горемыкина... Сколько уж я спрашивала ваших знакомых, что вы любите больше всего, а они говорят: Григорий Ефимыч готов жить на одной картошке.

— Верно! — отозвался Гришка с охотой.— Картошку, да ежели ишо селедочку с молокой, да и луку туда покрошить, так лучше закуски под мадеру и не придумаешь...

— Видно, что вы картофеля еще не ели! Я знаю десять способов его готовки. Вы сами скажете мне горячее спасибо.

Связываться со старухой из-за одной картошки не хотелось.

— А куды мне? Коль надо, так и в мундире наварим.

— Нет, нет, не отрицайте! Это чудо...

От старухи было никак не отлипнуть, а картошку она действительно варить умела. Гришка вскоре и сам привык, что картошка на столе должна быть только «горемычного» происхождения. Мадам Горемыкина брала таксомотор и с Моховой на Английский доставляла картофель еще горячим, пар шел!

В этом году синодальный официоз «Колокол» благовестил на всю Русь: «Благодаря святым старцам, направляющим русскую внешнюю политику, мы избегли войны и будем надеяться, что святые старцы и в будущем спасут нас от кровавого безумия...» С этой дурацкой статьей в руках оскорбленный Сазонов спрашивал царя:

— Разве я уже не министр иностранных дел? Какие такие старцы помогли нашей стране избежать в этом году войны?

— Сергей Дмитриевич, ну стоит ли обращать внимание?..

6. ГОРЕМЫЧНЫЕ ИСТОРИИ

В истории всегда бывают случаи, которым суждено повторяться. Побирушка с утра пораньше ломился в двери горемыкинской квартиры, на улице трещал зверский мороз, был январь 1914 года.

— Откройте, это я... у меня замерзают фиалочки!

Мадам Горемыкина накрыла лысину париком.

— Опять вы, Мишель? Но мой Жано еще почивает...

Иван Логинович Горемыкин появился из спальни, словно старая моль из выдохшегося нафталина.

— Это вошмутительно. Не дадут пошпать шеловеку, который вштупил в девятый дешяток шишни...

— Александр Иванович,— прослезился Побирушка,— вы даже не знаете, что вас ждет.

— Да ничего меня уже давно не ждет!

— Ошибаетесь — вас ждет Распутин и...

— Зачем мне этот ваш мужик Распутин?

— Ах, не порти мне настроения,— отвечала жена.— Я уже все сделала, что только можно, а ты спрашиваешь — зачем Распутин? Значит, так нужно! Мишель, скажите ему главное...

— Вы снова станете премьером,— объявил Побирушка.

— Какой я премьер? Одной камфарой держусь!

— Не притворяйся глупее, чем ты есть на самом деле,— возразила жена.— В конце концов, хотя бы ради уважения ко мне, согласись еще разочек попремьерствовать. Тебе это даже полезно! Взбодришься.

Побирушка вскоре привел Распутина для «смотрин» будущего визиря. Перед аудиенцией с чалдоном

Горемыкин взбодрил себя инъекцией и был вполне доступен для понимания широкой публики. Разговора не было — как-то не получился. Но зато был конец свидания, когда Распутин старца по колену — хлоп-с!

— Ну, с богом! Валяй... сойдет.

. . . . . .

С тех пор как Коковцев пожелал Гришке жить в Тюмени, а царица в Ливадии показала ему спину, премьер сознавал, что «сьюрпризы» еще будут, и ничему больше не удивлялся. Владимир Николаевич зачитывал в Думе декларацию правительства, когда Пуришкевич встал и заявил, что ему осточертело словоблудие премьера.

— Больше в Думу я не пойду,— сказал Коковцев жене.— Меня нарочно оскорбляют, чтобы я сорвался и наговорил нелепостей!

Атака на премьера велась одновременно с двух флангов, и за царским столом подал голос молодой и красивый капитан I ранга Саблин, одинаково любезный с царем и с царицей.

— Я недавно имел беседу с Петром Львовичем Барком, он сказал ясно: пора кончать с «пьяным бюджетом» Коковцева, нельзя вытягивать доход государства на одной водке.

— Это возмутительно! — поддержала его Алиса.— Ники, пора указать премьеру, чтобы прекратил спаивать верноподданных.

— Да, это скверно! — согласился царь.

— Барк очень разумно рассуждает об экономике государства,— добавил Саблин и, дополнив рюмку царя, пододвинул к императрице тарелку с жирным прусским угрем.— Если послушать Петра Львовича, то, вне всякого сомнения, Коковцев тянет нас в...

Вечером он тишком позвонил по дворцовому телефону:

— Игнатий Порфирьич, это я... Саблин. Как вы и просили, я сегодня завел разговор о Барке и разлаял Коковцева.

— Муссируйте и дальше эти вопросы. Мне нужен Барк!

Саблин, беря деньги от Мануса, продолжал атаку:

— Барк желает национализации кредита, а Коковцев имеет наглость утверждать, что кредит космополитичен. Барк — лучший друг банкира Митьки Рубинштейна, а Митька свой человек в доме Горемыкиных, и вы знаете, что Митька сделает все, что ни попросит Григорий Ефимыч... Барк уже не раз помогал Распутину!

— Ники, ты слышишь? — спросила царица.— Подумай об этом Барке... Коковцев уже столько ласки получил от нас! Дай ему титул графа, и пусть он заберет свою водку и уходит от нас!

Саблин опять названивал Манусу:

— Кажется, они согласны отдать финансы Барку.

— Погодите,— отвечал Манус,— у меня есть еще одна кандидатура. Очевидно, вам предстоит теперь перемешать Барка с навозом и поддерживать того человека, которого я...

— Послушайте,— перебил его Саблин,— но я ведь не мальчик. Нельзя же с полного вперед реверсировать машиной назад!

В ближайшие дни Коковцев выслушал от царя массу демагогических слов о спаивании бедного народа казенной водкой.

— Скажите,— отвечал он,— будет ли бедняк пить меньше, если он узнает, что пьет не казенную, а частную водку? Не забывайте, винную монополию изобрел все-таки не я, а граф Витте [1], проживающий в блаженстве, а все оплеухи за построение бюджета на «пьяном» фундаменте получаю за него я!

На докладе присутствовала и Алиса, листавшая английский журнал «The Ladies Field», в котором освещались помпезная жизнь великосветской женщины, курортный флирт, нравы Монако и Монте-Карло, игра в лаун-теннис, свадьбы принцев с принцессами и путешествия автоамазонок по Африке. Вздохнув, она из этого журнала извлекла прошение Саблина об отводе ему дорогих земель в Бессарабской губернии и протянула бумагу Коковцеву.

— Он очень беден,— сказала царица, а царь добавил, что хорошо бы помочь Саблину.— Подпишите его прошение...

Коковцев в нескольких словах, на основании законов империи, доказал, что эти казенные земли раздаче в частные руки не подлежат. Императрица гневно порвала прошение.

— Когда прошу я (я!), то все мои просьбы незаконны.

Дома, снимая фрак, Коковцев сказал жене:

— Облава закончилась — я взят на мушку!

В среду 28 января премьер делал очередной доклад царю, в конце которого царь заглянул в календарь.

— Следующий ваш доклад в пятницу? Отлично...

А дома Коковцева ждало письмо Николая II, который начинал его ненужным сообщением, что «в стране намечается огромный экономический и промышленный подъем, страна начинает жить очень ярко выраженной жизнью», за что он, царь, особо благодарен Коковцеву, а в конце письма было сказано, что они *останутся хорошими друзьями*. В пятницу, как и было договорено, Коковцев сделал доклад. Царя было не узнать. Голова его тряслась, он прятал глаза. Неожиданно искренне расплакался, с губ императора срывались страшные, терзающие признания:

— Простите... меня загоняли... эти бабы... с утра до вечера... Одно и то же... Владимир Николаич, я ведь понимаю, что ни Барк, ни Горемыкин ни к черту не нужны мне... Простите, если можете... Я сам не знаю... как... это... случилось!

Самому же Коковцеву пришлось и утешать царя:

— Не отчаивайтесь! Я понимаю: тут не вы, а иные силы...

Был очень сильный мороз. С открытой головой,

---

[1] С. Ю. Витте ввел винную монополию в 1894 г., и она стала одним из рычагов «систематического, беззастенчивого разграбления народного достояния кучкой помещиков, чиновников и всяких паразитов...» (Ленин В. И. Соч., т. 12, с. 270). Так, например, в 1913 г. себестоимость водки составила 200 млн. руб., а население оплатило ее в сумме 900 млн. руб. Конечно, все эти разговоры Романовых о «спаивании народа» — чистая демагогия, имевшая своей целью свергнуть В. Н. Коковцева.

продолжая плакать, царь проводил Коковцева до крыльца, повторяя:

— Ко мне все-таки приставали... простите!

Воздух звенел от стужи, снежинки таяли на заплаканном лице императора, мешаясь с его слезами, и в этот момент Коковцев впервые за все эти годы увидел в нем просто человека. 20 января был опубликован указ, что Коковцев увольняется с поста председателя Совета Министров и заодно с поста министра финансов, *«снисходя к его просьбе»*... Жене Коковцев сказал:

— Люди прочтут и решат, что это я сам устроил! Министром финансов сделался ставленник Мануса банкир Барк, а премьером стал Горемыкин, который при знакомстве со своим секретариатом выдал свой первый убийственный афоризм: «Если хотите со мной разговаривать, вы должны молчать...»

Друг, не верь слепой надежде,
говорю тебе — не верь:
горе мыкали мы прежде,
горе мыкаем теперь.

. . . . . .

Альтшуллер, сидя в своей конторе, собирал сведения о русской армии, а заодно, как он сам признался, «хотел заработать» на пушках с паршивым лафетом системы Депора. Тут история темная. Конная артиллерия готовилась получить пушки Шнейдера, но Сухомлинов заказ на эту пушку Путиловскому заводу притормозил, а на полигонных испытаниях он разругал ее, нахваливая пушки с лафетом Депора... Наталья Червинская, вся в модном крэп д'эшине, шпарила на машинке какие-то непонятные для нее бумаги, а на Невском уже начало пригревать мерзлые колдобины снега.

— Вы печатайте и дальше,— сказал ей Альтшуллер,— а я немножко пройдусь. Весна, знаете, она всегда волнует меня...

Он вышел и больше не вернулся. Альтшуллер был обнаружен в... Вене, а на самом видном месте его питерской конторы остался висеть портрет Сухомлинова с дарственной надписью «Лучшему другу, с которым никогда не приходится скучать!».

Военный министр даже обиделся на своего друга:

— Как же так? Уехал и забыл попрощаться...

Червинская оказалась в этом случае умнее его:

— Похоже, что скоро начнется война...

В эти дни Степану Белецкому доложили, что его желает видеть доцент Московского университета Михаил Хохловкин.

— Не знаю такого. Но пусть войдет, если пришел.

Перед ним предстал молодой смущенный человек.

— Я прямо из Вены,— сообщил он.

— Из Вены? А что вы там делали?

— Проходил научную стажировку в тамошнем университете, надеюсь в будущем занять кафедру в Москве по классу германской истории средневековья. Я ученик венского профессора Ганса Иберсбергера, который, в свою очередь, учился в Москве.

— Так, слушаю вас. Дальше.

— На днях я пришел, как обычно, к профессору Иберсбергеру, а он сказал мне: «Миша, занятия кончились. Вы, как военнообязанный, возвращаетесь домой в Россию, ибо скоро начнется большая война и вы должны явиться в полк...» Я думаю,— закончил доцент,— этот факт должен быть известен правительству!

Белецкий отпустил от себя наивного ученого и, сняв трубку телефона, долго думал — кому бы позвонить? Решил, что генерал Поливанов лучше других отреагирует на это известие. Он ему рассказал о визите Хохловкина и получил ответ:

— Плохо, если война. Плохо! *Мы к ней не готовы...*

7. «МЫ ГОТОВЫ!»

Борька Ржевский, нижегородский голодранец, уже сидел однажды в тюрьме «за незаконное ношение формы». Вторично он был задержан полицией на перроне Николаевского вокзала, когда вышел из вагона в мундире офицера болгарской армии.

— Позвольте, позвольте,— возмутился он.

— Нет, это вы позвольте,— резонно отвечали ему.

— Но я не позволю хватать себя, офицера...

— Позвольте ваши документы!

Документы в порядке. Ржевский самым честным образом отгрохал все Балканские войны, получил от царя Фердинанда чин и право носить форму имел. В этой форме, с немыслимым орденом на груди (величиною с десертную тарелку) он без особого трения протерся в кабинет к военному министру Сухомлинову.

— Корреспондент «Нового времени», честь имею!

— Честь — это в наши дни то, на чем мы держимся.

— Так точно,— отвечала шмоль-голь перекатная...

Выяснилось, что министру он нужен. Именно он!

— В пору великого напряжения умов и накала страстей оголтелого германского милитаризма мы не отступим ни на шаг! — продекламировал Сухомлинов.— Мы должны дать достойный ответ берлинским поджигателям войны... в печати!

— Это мне по зубам,— сказал Борька.

— Тогда берите перо. Пишите...

Кто был автор статьи — никто не знает. Наверное, я так думаю, министр подкидывал идеи, как полешки в плохо горящую печку, а журналист брызгал на них керосином, чтобы ярче горели. Они заранее расписались в победе: «В будущих боях русской артиллерии *никогда* не придется жаловаться на недостаток снарядов... военно-автомобильная часть поставлена в России весьма высоко. Кто же не знает о великолепных результатах аппаратов Сикорского, этих воздушных дредноутах русской армии!» Они заверяли русское общество, что арсеналы полны, солдат всем обеспечен для боя, пусть только сунутся — мы их шапками закидаем... Щеголяя красными штанами, министр диктовал:

— Мы с гордостью можем сказать, что для России прошли времена угроз извне. России не страшны никакие окрики. Записали? Особо выделите фразу: Россия готова!.. Идея обороны отложена, русская ар-

мия будет активной. Всегда воевавшая только на чужой территории, она совершенно забудет понятие об обороне... Наша армия является сейчас лучшей и передовой армией в мире!

Статье придумали заглавие: «РОССИЯ ХОЧЕТ МИРА, НО ГОТОВА К ВОЙНЕ», и ее тут же опубликовали в газете «Биржевые ведомости», вызвав немалую сумятицу мнений в самой России и большой переполох среди недругов. По сути дела, Сухомлинов и Ржевский дали пикантный материал в руки германских шовинистов, и те ускорили гонку событий, доказывая в рейхстаге, что если войне быть, так лучше ей быть сейчас, нежели позже... Ржевский выходил на большую дорогу журналистики! В Суворинском клубе, где сгущалась слякоть газетной богемы, некто Гейне приучил его к славе и кокаину, а потом... потом Борьку вызвал к себе Белецкий.

— Когда вас заахентурили?.. Что ж, польщен иметь ахента из классиков. Приятель ваш Гейне... что о нем скажете?

— Инженер из евреев. Кажется, врет, что потомок Гейне... того самого. Ну, пишет стихи. Ужасно бездарные!

— А зачем набаламутили, что «мы готовы»?

— При чем здесь я? Сухомлинов — голова...

— Ну ладно. Оставим классику. Кокаин есть?

Вместо «кокаин» Белецкий говорил «хохаин».

. . . . . .

Петр Дурново, бывший министр внутренних дел, подавлявший революцию 1905 года, повидался с царем...

— Государь,— сказал он ему [1],— в перспективе у нас война с Германией, и это очень страшно для нас. Наш нетрадиционный союз с Францией и Англией противоестественен.

— Вилли уже не раз говорил мне.

— Кайзер прав! — подхватил Дурново.— Россия и Германия представляют в цивилизованном мире ярко консервативное начало, противоположное республиканскому. Наша война с немцами вызовет ослабление мирового консервативного режима.

— Понимаю и это,— тихо отвечал царь,— как понимает и Вилли, но обстоятельства сильнее нас. Нами движет рок!

Далее Дурново произнес пророческие слова:

— Сейчас уже безразлично, кто победит — Россия Германию или Германия Россию. Независимо от этого в побежденной стране неизбежно возникнет революция, но при этом социальная революция из побежденной страны обязательно перекинется в страну победившую, и потому-то, государь, не будет ни победителей, ни побежденных, как не будет и нас с вами. Но,— выделил Дурново,— любая революция в России выльется в социалистические формы!

Николай II пожал плечами. Дурново продолжал:

— Я много лет посвятил изучению социальной доктрины и говорю на основании антигосударственных учений. Германский кайзер отлично знаком с идеями социализма, и потому он столь часто напоминал вам, что военное единоборство монархических держав, каковы наши, вызовет неизбежный крах обеих монархий... Так думаю не я один! Поговорите хотя бы со Штюрмером.

— Я знать не желаю этого вора,— ответил царь.

— Вор, может быть. Но думает одинаково со мною.

— Штюрмер — германофил!

— А почему вы не скажете этого же про меня?

— Вы, Петр Николаич, истинно русский.

Дурново даже засмеялся, довольный:

— Совершенно верно. Истинно русский дворянин, я *вынужден* стать отчаянным германофилом. Поверьте, что, страдая за сохранение вашего престола, я становлюсь еще при этом самым горячим поклонником Германии... А что мне еще остается делать?

Дурново нечаянно раскрыл секрет «германофильства» русских монархистов: не любовь к Германии двигала ими, страх перед грядущей революцией пролетариата — вот что заставляло их нежно взирать на Германию, грохочущую солдатскими сапогами.

— Не знаю,— сказал Дурново, поднимаясь,— убедил я вас или нет, но если имя графа Витте хоть что-нибудь для вас еще значит... он один из ярых противников войны с немцами.

Николай II неожиданно вспылил:

— Витте я никогда не позволял в своем присутствии выражать те мысли, которые я позволил выразить вам.

— Благодарю за доверие, государь. А жаль...

Витте, правда, выступал против войны, но, в отличие от Дурново, граф был подлинным германофилом (уже без кавычек). Витте любил Россию, как столоначальник обожает свою канцелярию, где перед ним ходят на цыпочках, а он получает чины и наградные. Германия нравилась Витте порядком, отсутствие которого в России графа всегда раздражало. Помимо сказочной виллы в Биаррице Витте — с помощью кайзера! — обрел в Германии большое имение, где и собирался провести остаток своих дней. Великий финансист не доверял своих денег даже Швейцарии — они лежали в банках Берлина, под надежной охраной кайзеровского «порядка». «Коли возникнет война,— говорили ему русские,— кайзер все ваши деньги секвеструет». «Быть того не может,— отвечал Витте,— чтобы кайзер и наш император решились воевать между собой. Это было бы актом самоубийства не только двух монархий, но и двух миров, без которых жизнь человечества вообще немыслима...» Он читал немецкие газеты, где говорилось о «резком оживлении расового инстинкта» у славян; пангерманцы указывали, что грядущая битва будет расовой битвой, настала «пора всех славян выкупать в грязной луже позора и бессилия...».

Витте гулял по дорожкам, посыпанным чистым песочком.

. . . . . .

«Новое оружие — новая тактика»,— плох тот генерал, который забыл об этом... И десяти лет не

[1] Приношу извинения перед читателем за то, что известную в истории «Записку» П. Н. Дурново я перевел в прямую речь, дабы мне было удобнее выделить в ней самое существенное.

прошло со времени войны с Японией, а густые колонны пехоты уже рассыпались в цепи, батареи скатились с высот и укрылись в низинах, кавалерийская лава с полного аллюра распалась на эскадроны, а над ними (все замечая и всему угрожая) поплыли рыбины дирижаблей и закружились аэропланы. Вот-вот должен был родиться новый вид артиллерии — зенитной, а ко всем тревогам людской жизни XX век прибавлял еще и «воздушную тревогу». В океанах настойчиво стучали дизели подводных лодок, поглощая жидкое топливо, соляры и мазуты, турбинные агрегаты выводили корабли в долгие плавания...

Война стучалась в дверь, а Сухомлинову хотелось побыть в роли главнокомандующего, чтобы в Потсдаме поставить кайзера на колени. Дядю Николашу в угол он уже поставил — надо его теперь высечь! Еще в декабре 1910 года Сухомлинов затеял военную игру на тему «нападение Германии на Россию». Он запланировал ловушку для великого князя, чтобы тот при всех выявил свою бестолковость, но дядю Николашу предупредили о готовящейся каверзе, и царь тогда запретил играть.

Армия учится на маневрах. Генералы учатся побеждать во время военной игры — игры, похожей на шахматную, но построенную на твердом основании учета боевых возможностей, своих и противника. В апреле 1914 года Сухомлинов снова решился на игру, дабы всем стала ясна его мудрость как военачальника. Играли в Киеве, причем был созван весь цвет русского генералитета. Тема игры актуальная: война России с Германией и Австрией.

— Господа, начнем побеждать,— призвал министр.

Он выступал в роли русского гловковерха, а против него играли за Австрию и Германию генштабисты Янушкевич и Алексеев, с «русской армией» Сухомлинова бились опытные вояки — Брусилов, Жилинский, Иванов, Гутор и прочие. В самый разгар игры «наступление» Сухомлинова было остановлено арбитрами:

— У вас больше нету снарядов. Стойте!

— Мои арсеналы, вы знаете, полны.

— Вы их исчерпали до последнего снаряда.

— Но заводы мои работают.

— Они не справляются с заказами фронта...

«Русскую армию» начали загонять в тылы России.

— Что вы на меня жмете, господа?

— Но у нас,— отвечали генералы, двигая фишки дивизий «противника»,— арсеналы еще не иссякли. Наши заводы работают...

— Я не могу так играть! — отказался Сухомлинов.

Он запретил проводить разбор игры, и генералы разъезжались по своим округам в поганейшем настроении: игра показала неготовность России к войне с немцами. Министр вернулся в столицу, где сделал все, чтобы печальные результаты киевской игры не дошли до широкой публики... Тут его навестил Побирушка.

— Как порядочный человек, я вижу цель жизни в том, чтобы открывать людям глаза на все несправедливости нашего мира...

— Превосходно! Благородно!

— И сейчас я хочу открыть глаза вам,— заявил Побирушка.— Я долго молчал, страдая, но больше молчать не стану. Знайте: ваша Екатерина Викторовна давно живет с Леоном Манташевым!

— Не верю. Такой приятный человек, миллионер...

— Одно другому не мешает,— заверил его Побирушка.

Сухомлинов, кажется, прозрел:

— Благодарю... То-то я не раз замечал: даю сто рублей — жена тратит тысячу, даю тысячу — тратит десять тысяч.

— Вот именно! — подхватил Побирушка, указательным пальцем изображая в воздухе черту, которая должна стать итоговой...

Сухомлинов резко поднялся из кресла.

— Сейчас пойду и устрою ей страшный скандал!

Ушел. Из супружеских комнат слышались крики, женский плач, мольбы и клятвы (Побирушка наслаждался). Но тут появились оба — и к нему. Красный, как и его штаны, министр кричал:

— Как вам не стыдно порочить честную женщину? Катенька мне все сказала. Она и господин Манташев — добрые друзья... Вон!

— Вон! — повторила Екатерина Викторовна.— За все наше добро... ходил тут, ел, пил... Ноги чтоб вашей не было!

— Чтоб не было! — подхватил министр.— А еще князь... Потомок царей Кахетии... Непристойно!

Этого Побирушка никак не ожидал. Его выперли прочь из квартиры Сухомлинова, а точнее — из-под самого носа забрали жирную кормушку Военного министерства. Он вернулся домой едва не плача:

— Пропали мои лошадиные шкуры... Что делать? Говорят, на Кавказе обнаружены ценные залежи марганца. Может, заняться их разработкой?

Раздался спасительный звонок от Червинской, которая о скандале у Сухомлиновых уже знала в подробностях.

— Плюньте на все,— сказала она,— и приезжайте ко мне. У меня сейчас... хвост! Без шуток. Самый настоящий. Пушистый. Ласковый. И хочет напиться. Берите вино — приезжайте...

Побирушка приехал. На диване сидел толстый молодой человек без пиджака, с очень хитрым выражением лица. Наталья Илларионовна слишком интимно обращалась с этим господином.

— Вот это и есть мой хвостик... Знакомьтесь!

Побирушке выпал приятный случай представиться орловскому депутату, лидеру думской фракции правых — Хвостову.

— А почему вас в Думе не слыхать?

— Да знаете,— помялся Хвостов,— просто нет желания трепаться напрасно. А темы для речи еще не нащупал...

Побирушка выставил бутылки с рейнвейном из портфеля.

— Бурда! — сказал Хвостов.— Колбасники на-

льют в бутылки воды из своего заплеванного Рейна и продают нам под видом рейнвейна.

— Вот и тема,— намекнул Побирушка.— Сейчас немцев ругать очень модно и выгодно... Выступите с трибуны Думы!

— Черт возьми,— сказал лидер правых,— жизнь летит, а еще ничего не сделано... для истории!

Побирушка, расчувствовавшись, заметил Хвостову:

— Алексей Николаич, вы такой умный мужчина, с вами так приятно беседовать, слушайте, а почему бы вам не претендовать на высокий пост... скажем, в эм-вэ-дэ?

— Спросу на нас пока нету, но... *мы готовы!*

8. ГЕРОИ СУМЕРЕК

Сергей Труфанов (бывший Илиодор) выбрал в жены красивую девушку из крестьянок, и газеты Синода сразу забили в набат: вот зачем он отрекся от бога — чтобы бог ему блудить не мешал! Между тем Серега вел здоровый образ жизни, жену любил, вином не баловался, по весне поднимал на хуторе пашню. Газеты публиковали его фотографии, где он в пальто и в меховой шапке сидит возле избы, а подле него стоит ядреная молодуха в белом пуховом платке. В руке Сергея Труфанова — палка вечного странника, а узкие змеиные глаза полны злодейского очарования и хитрости...

Неожиданно, будто с луны свалился, притопал на Дон корреспондент американского журнала «Метрополитэн».

— Америка заплатит шесть тысяч долларов. Продайте нам свои мемуары о похождениях вместе с Гришкой Распутиным.

— Я не пишу мемуаров,— скромно отвечал Илиодор...

Он писал их по ночам, когда на полатях сладко спала юная жена. Изливая всю желчь против «святого черта», выплескивал на бумагу яростные брызги памяти. Заодно с Гришкой он крамольно изгадил и царя с царицей, а это грозило по меньшей мере сразу тремя статьями — 73, 74 и 103... Ночью в оконце избы постучали, из тьмы выступило безносое лицо Хионии Гусевой.

— Благослови, батюшка,— сказала она, показав длинный кинжал.— Есть ли грех в том, что заколю Гришку во славу божию, как пророк Илья заколол ложных пророков Вааловых?

— Греха в том нету, касатушка,— отвечал Серега.

Еще зимой он организовал женский заговор против Распутина, во главе заговора встала одна врачиха из радикальной интеллигенции, желавшая охолостить Гришку по всем правилам хирургии, но заговор был раскрыт полицией в самом начале, и, по слухам, Серега знал, что Распутин сделался малость осторожнее. Он дал Хионии денег, проводил убогую странницу до околицы.

— Кишки выпускай ему не в Питере, а в Покровском: дома он всегда чувствует себя в полной безопасности...

Гусева заехала на рудники сибирской каторги, где с 1905 года сидел ее брат-революционер, сосланный за убийство полицейского. Хиония раскрыла ему свои планы, и брат ответил:

— Жалко мне тебя, Хионюшка, бабье ль это дело — ножиком распутника резать? Но я знаю, ты ведь упрямая...

Она появилась в Покровском и стала выжидать Распутина. Русские газеты называли ее потом — «героиня наших сумерек».

. . . . . .

Настало роковое лето 1914 года, душное и грозовое.

Распутин, как солдат со службы, приехал на побывку в родное село, усердно высек сына Дмитрия, потаскал за волосы Парашку («чтоб себя не забывала»), потом остыл, и Хиония Гусева видела его едущим на телеге с давним приятелем монахом Мартьяном. Вечером, никому не давая уснуть, Распутин заводил сразу три граммофона, а потом, пьяный, рассказывал прибывшим из Питера филерам, как его любит Горемыкин, зато не любит великий князь Николай Николаевич. Дневник филерского наблюдения отметил приезд в Покровское жены синодского казначея Ленки Соловьевой,— толстая коротышка, она скакала вокруг Гришки, крича: «Ах, отец... отец ты мой!» Распутин тоже прыгал вокруг коротышки, хлопая себя по бедрам, восклицая: «Ах, мать... мать ты моя!»

Случайно Распутин повстречал на улице села питерского репортера Абрама Давидсона, спросил — чего он здесь шныряет?

— Да так, Ефимыч, занесло к тебе в поисках темы. Не дашь ли мне сам матерьяльца похлеще?

— Я вот как дам тебе сейчас... Убирайся вон!

Давидсон не уехал, а засел в соседней избе возле окошка и все видел... Все! Распутину сказали, что пришла телеграмма. Он встал из-за стола в одной рубахе и пошел к воротам, где его поджидала Хиония Гусева, накрытая большим черным платком.

— Тебе чего, безносая, надоть? — спросил Гришка.

— Подай милостыньку,— просипела Гусева.

Гришка достал кошелек из штанов, ковырялся в нем пальцем, отделяя медь от серебра. Вдруг черный платок слетел с Гусевой и накрыл его с головой. Последовал удар кинжалом прямо в живот, и Распутин со страшным криком побежал. Смахнув с себя платок, он увидел, что из распоротого живота волочатся кишки. Тогда, остановясь, он стал поспешно запихивать их в свою утробу.

— Нет, милый, не уйдешь! — настигла его Гусева.

Распутин схватил полено и одним мощным ударом выбил нож из ее руки. Тут набежали люди, Гусеву схватили и стали избивать насмерть. Давидсон спас женщину от самосуда и, придерживая Гришку за локоть, помог ему подняться на крыльцо.

— А-а, это ты, Абрашка! — узнал его Распутин.— Оно и ловко, что ты не уехал... Давай стропали в газеты по всему миру, что меня хотели убить, но я выживу, выживу, выживу...

В царский дворец полетела телеграмма: КАКА ТА СТЕРВА ПЫРНУЛА В ЖИВОТ ГРЕГОРИЙ. Телеграф отстучал немедленный ответ: СКОРБИМ И МОЛИМСЯ АЛЕКСАНДРА... Гришку срочно отвезли в тюменскую больницу, а Хионию запихнули в одиночку тюменской тюрьмы. По рукам придворных дам ходила тогда фотография: Распутин в кальсонах сидит на больничной кровати, низко опустив голову и уронив безвольные руки, из густой бороды торчит длинный унылый нос, а по низу карточки его рукою писано: НЕВЕДАМО ЧТО С НАМИ УТРЕ ГРЕГОРИЙ. Врачи находили его положение серьезным, была сделана сложная операция. Распутин твердил:

— Выживу... выживу... выживу...

Газеты публиковали телеграммы-бюллетени о здоровье «нашего старца» в таких почтительных тонах, будто речь шла о драгоценном здравии государственного мужа. Николай II вызвал «Влюбленную Пантеру» и учинил разнос за это покушение:

— Чтобы впредь подобного никогда не было!

— Слушаюсь, ваше величество,— отвечал Маклаков...

Поправившись, Гришка со значением говорил:

— Безносая — дура, сама не знала, кого пыряет. Чую, что тут рука видна Илиодора... Серьга-то, гад, гуляет! Опередил меня: не я ему, а он мне, анахтема, кишки выпустил...

Газеты тут же подхватили эти слова. Труфанов, ощутив опасность заранее, начал собираться в дальнюю дорогу. Первым делом он побрился, примерил на себя платье жены, повязался ее платком, и получилась красивая баба!

. . . . . .

Витте по обыкновению проводил летний сезон на германских курортах близ Наугейма. Уже попахивало порохом, и разговоры отдыхающих, естественно, вращались вокруг политики... Среди фланирующей публики Витте случайно встретил питерского чиновника из министерства земледелия — Осмоловского.

— Сейчас,— сказал ему Витте,— в России только один человек способен распутать сложную политическую обстановку.

— Кто же этот человек-гений?

— Распутин,— убежденно отвечал Витте.

Бедного человека даже зашатало, и он, горячась, стал доказывать графу, что это чепуха: если даже политики мира бессильны, то как может предотвратить войну безграмотный мужик, едва умеющий читать по складам? Витте ответил ему так:

— Вы не знаете его большого ума. Он лучше нас с вами постиг Россию, ее дух и ее исторические стремления. Распутин знает все каким-то чутьем, но, к сожалению, он сейчас ранен, и его нет в Царском Селе...

Эти слова Витте насторожили наших историков. Они стали сверять и проверять. С некоторыми оговорками, историки все же признали за истину, что, будь Распутин тогда в Петербурге, и *войны могло бы не быть!* Академик М. Н. Покровский писал: «Старец лучше понимал возможное роковое значение начинавшегося!» Я просматривал поденные записи филеров, ходивших за Распутиным по пятам, и под 1915 годом наткнулся на такую запись: «Год прошлый,— говорил Гришка филерам,— когда я лежал в больнице и слышно было, что скоро будет война, я просил государя не воевать и по этому случаю переслал ему штук двадцать телеграмм, одну послал очень серьезную, за которую хотели меня предать суду. Доложили об этом государю, а он ответил: «Это наши семейные дела и суду они не подлежат!..»

А наша «красивая баба» с узкими змеиными глазами, источавшими зло и лукавство, благополучно добралась до Петербурга, где с Николаевского вокзала на извозчике прокатилась до вокзала Финляндского, откуда утренний поезд повез ее дальше, минуя лесистые просторы прекрасной страны Суоми. Имея на руках подложный паспорт и два заряженных браунинга, «красивая баба» сошла с поезда в Улеаборге, отсюда она пароходиком добралась до пограничного города Торнео... Ночью пограничник видел, как в четырех верстах выше таможни тень женщины метнулась к реке.

— Стой, зараза! Стрелять буду...

Но «баба» отвечала ему уже с другого берега:

— Эй, парень! Скажи своему начальству, что Серега Труфанов, бывший иеромонах Илиодор, благополучно пересек границу Российской империи, и теперь я плевать на всех вас хотел...

За пазухой он таил драгоценное сокровище — рукопись книги по названию «СВЯТОЙ ЧЕРТ, или ПРАВДА О ГРИШКЕ РАСПУТИНЕ».

. . . . . .

А пока Гришка валялся в больнице, залечивая распоротый живот, в Сараеве грянул суматошный выстрел сербского гимназиста Гаврилы Принципа, который позже позволил Ярославу Гашеку начать роман о похождениях бравого солдата Швейка такими словами: «А Фердинанда-то ухлопали...»

Сейчас читать Гашека смешно. Но тогда люди не смеялись. Начинался кризис. Июльский. Трагический.

9. ИЮЛЬСКАЯ ЛИХОРАДКА

С тех пор как существует история человечества, королей и герцогов резали, топили, прищемляли в воротах, травили словно крыс, и это было в порядке вещей. Но теперь в убийстве эрцгерцога Фердинанда германские политики увидели удобный *повод* для развязывания войны.

Впрочем, пока все было спокойно, и Сазонов лишь 18 июля вернулся с дачи; чиновники встретили его словами:

— Австрия ожесточилась на Сербию...

Сазонов повидался с германским послом Пурталесом.

— Если ваша союзница Вена желает возмутить мир, то ей предстоит считаться со всей Европой, а мы не будем спокойно взирать на унижение сербского народа... Еще раз подтверждаю, что Россия стоит за мир, но мирная политика не всегда пассивна!

20 июля ожидался приезд в Петербург француз-

ского президента Пуанкаре, и в Вене решили подождать с вручением ультиматума Белграду, чтобы вручить его лишь тогда, когда Пуанкаре будет находиться в пути на родину, оторванный от России и от самой Франции... Это был ловкий ход венской политики!

. . . . . .

20 июля... Газеты в этот день писали об устройстве шлюзов на реке Донец, о пожаре моста возле Симбирска, о судебном процессе г-жи Кайо, застрелившей редактора газеты за клевету на ее мужа. Николай II во флотском мундире поднялся на борт паровой яхты «Александрия»; с ним были жена и дочери. Подали завтрак, во время которого император много курил, бросая папиросы за борт. Французскому послу Палеологу он сказал:

— Говорят, у моего кузена Вилли что-то давно болит в ухе. Я думаю, не бросилось ли воспаление уже на мозг?

За кофе было доложено о подходе эскадры. Воды Финского залива медленно утюжил громадный дредноут «Франс», за ним шел «Жан Барт», рыскали контрминоносцы эскорта. Кронштадт глухо проворчал, салютуя союзникам. Раймонд Пуанкаре подошел на катере, принятый у трапа самим царем. «Александрия» взяла курс на Петергоф, и дивная сказка открылась во всем великолепии. Обмывая золотые фигуры скульптур, фонтаны взметали к небу струи прохладной сверкающей воды, просвеченной лучезарным солнцем.

— Версаль,— сказал Пуанкаре.— Нет, Версаль хуже...

Вечером в старинном зале Елизаветы президента ошеломили выставкой придворного света. Женские плечи несли на себе полыхающий ливень алмазов, жемчугов, бериллов и топазов. Алиса ужинала подле Пуанкаре, одетая в белую парчу с глубоким декольте, которое было закинуто бриллиантовой сеткой. «Каждую минуту,— отметил Палеолог,— она кусает себе губы, видимо, борется с истерическим припадком...» Пуанкаре произнес речь по вдохновению, а Николай II — по шпаргалке. Возвращаясь из Петергофа ночным поездом, Палеолог просмотрел свежие питерские газеты.

— Обратите внимание,— подсказал секретарь,— сегодня забастовали в столице заводы, работающие на военную мощь.

— Их подстрекают германские агенты,— ответил посол.

. . . . . .

21 июля... Пуанкаре в Зимнем дворце принимал послов и посланников, аккредитованных в Петербурге. Первым подошел граф Пурталес, и президент задержал его руку в своей, расспрашивая немецкого посла о его французских предках. Палеолог подвел к президенту английского посла, сэра Джорджа Бьюкенена; это был спортивного вида старик с надушенными усами и с неизменной свастикой в брошке черного галстука. Пуанкаре заверил Бьюкенена в том, что русский царь не будет мешать англичанам в делах персидских. Наконец ему представили графа Сапари — посла австрийского, которому Пуанкаре выразил вежливое сочувствие по случаю убийства сербами герцога Фердинанда.

— Но случай в Сараеве не таков, чтобы его раздувать. Не забывайте, посол, что в России у сербов много друзей, а Россия издавна союзна Франции. Нам следует бояться осложнений!

Сапари откланялся молча, будто не имел языка.

Сербскому послу Спалайковичу Пуанкаре сказал:

— Я думаю, все обойдется...

Вечером французское посольство давало обед русской знати, а петербургская Дума угощала офицеров французской эскадры. Играли оркестры, дамы много танцевали, от изобилия свезенных корзин с розами и орхидеями было тяжко дышать... В этот день полиция провела массовые аресты среди рабочих, выступавших за мир. Берлин получил депешу Пурталеса, в которой тот докладывал кайзеру о беседе с Сазоновым: «Вы уже давно хотите уничтожения Сербии!» — говорил Сазонов. Возле этой фразы Вильгельм II сделал отметку: «Прекрасно! Это как раз то, что нам требуется».

. . . . . .

22 июля... Страшная жара, а в Петергофе свежо звенят фонтаны. После завтрака Пуанкаре отбыл в Красное Село, где раскинули шатры для гостей, а гигантское поле на множество миль заставили войсками — вплотную. На трибунах полно было публики, белые платья дам казались купами цветущих азалий. Пуанкаре в коляске объезжал ряды солдат, рядом с ним скакал император. Потом был обед, который давал президенту Николай Николаевич — будущий главковерх. Палеолога за столом обсели по флангам две черногорки, Милица и Стана Николаевны, непрерывно трещавшие:

— Вы возьмете от немцев обратно Эльзас и Лотарингию, а наш папа, король Черногорский, пишет, что его армия соединится с русской и вашей в Берлине... Германию мы уничтожим! — Внезапно они смолкли, будто их мгновенно запечатали пробками.— Простите, посол, но... сюда смотрит императрица!

Палеолог посмотрел на Алису: она медленно покрывалась красными пятнами, и черногорки более уже не беспокоили посла.

Потом был балет (Кшесинская свела всех с ума)...

Русские войска сегодня маршировали перед Пуанкаре под звуки лотарингского марша, ибо президент был родом из Лотарингии, которую в 1871 году Бисмарк похитил у Франции.

. . . . . .

23 июля... Прощальный обед на палубе дредноута «Франс»: над банкетными столами, простираясь в сизые хляби морей, вытянулись стальные хоботы башенных установок; короткий и теплый шквал растрепал цветочные клумбы на палубе корабля... Пуанкаре бросил последнюю фразу: «У наших стран один общий идеал мира!» После чего вместе с царем он поднялся на мостик, чтобы в тиши штурманских рубок обкатать последние сомнения перед решительным прыжком в пропасть. Императрица, сидя на палубе в кресле, указала Палеологу на соседнее, приглашая посла к беседе.

— Я ужасно боюсь грозы. Эта музыка...

«Со страдающим видом она указывает мне на оркестры эскадры, которые близ нас начинают яростное аллегро, подкрепляемое медными инструментами и барабанами». Палеолог велел капельмейстеру играть потише, но тот, не поняв, совсем остановил оркестр.

— Так лучше,— сказала императрица.

Взрослая дочь Ольга подошла к матери и учинила ей, кажется, выговор за бестактное поведение в гостях. Посол отметил «надутые губы» Алисы и завел пустую речь об удовольствии морских путешествий. С мостика, жестикулируя, спустились Николай II и Пуанкаре, оркестры снова заполнили рейды гимнами. Караул матросов, крепко шлепая ладонями по прикладам, отбил салютацию, президент стал прощаться. Тысячи людей проводили глазами эскадру, за которой низко над водою стлался бурый неприятный дым.

А когда эскадра растворилась в сумерках моря, Австрия вручила Сербии ультиматум — провокационный! Эту бумагу состряпали в Вене так, что, не имей Белград даже крупицы гордости, он все равно отказался бы принять венские условия. Принять такой ультиматум равносильно отказу Сербии от своей независимости... В этот же день кайзер проболтался:

— Разве Сербия государство? Ведь это банда разбойников... Надо покрепче наступить на ноги всей этой славянской сволочи!

Сербские министры, прижатые к стенке, переслали ультиматум в Петербург, прося о помощи, а сами сели составлять ответную ноту, на писание которой Вена отпустила им 48 часов.

. . . . . .

24 июля... В полдень Сазонов посетил французское посольство, где за завтраком встретился с Палеологом и Бьюкененом.

— Нам нужно быть твердыми,— сказал Палеолог.

— Твердая политика — война,— ответил Сазонов.

Бьюкенен дал понять, что Англия желала бы остаться нейтральной («Но мы постараемся сдерживать германские притязания»). В три часа дня в Елагином дворце собрался Совет Министров. Коллегиально решили: провести мобилизацию округов, направленных против Австрии, а Сербии дать отеческий совет — в случае вторжения австрийцев отступить, сразу призывая в арбитры великие державы. На крыльце Елагина дворца поджидал решения посол Спалайкович.

— Пока еще ничего не ясно,— сказал ему Сазонов, садясь в автомобиль. В министерстве у Певческого моста его ждал германский посол Пурталес с красным носом и слезящимися глазами.— А мы не оставим сербов в беде,— предупредил его Сазонов.

— А мы не оставим нашу союзницу Австрию.

— Ради чего? Ради ее балканских аппетитов?

— Послушайте,— нервно заговорил Пурталес,— австрийскому императору Францу-Иосифу осталось жить совсем немного, и неужели Петербург не даст ему умереть спокойно?

— Ради бога! — воскликнул Сазонов.— Пускай он помирает! Весь мир только и делает, что удивляется его долголетию.

— Вы, русские, просто не любите Австрии...

— А почему мы, русские, должны любить вашу Австрию, которая принесла нам зла больше, чем турки?

Сазонов отдал распоряжение, чтобы (втайне) срочно вычерпали 80 000 000 рублей, хранившихся в германских банках. В этот день германские послы в Лондоне и Париже, угрожая Европе «неисчислимыми последствиями», вручили ноты, в которых было сказано: в конфликте пусть разбираются Вена с Белградом.

. . . . . .

25 июля... Столичные вокзалы уже трещали; дачники метались как угорелые, не в силах решить, что им делать — отдыхать на дачах или трепыхаться в городском пекле; масса офицеров, загорелых и восторженных, скрипя новенькими портупеями, осаждали поезда дальнего следования, их провожали сородичи — с цветами, веселые, нервно-приподнятые. Никто ничего не знал, а пресса крупно выделила слова Сазонова: АВСТРО-СЕРБСКИЙ КОНФЛИКТ НЕ МОЖЕТ ОСТАВИТЬ РОССИЮ БЕЗУЧАСТНОЙ... В Царском Селе было уже известно, что Германия проводит *скрытую общую* мобилизацию. Царь на общую не решился — он стоял за *частичную*. Тринадцать армейских корпусов против Австрии были подняты по тревоге. Но было еще не ясно туманное поведение туманного Альбиона...

Бьюкенену Сазонов сказал конкретно:

— Ваша четкая позиция, осуждающая Германию, способна предотвратить войну. Если вы заявите на весь мир, что поддержите нас и Францию, войны не будет. Если не сделаете этого сейчас, прольются реки крови, и вы, англичане, не думайте, что вам не придется плавать в этой крови... Решайтесь!

Лондон не сказал «нет». Лондон не сказал «да».

В это время сербский президент Пашич (точно в назначенный срок) вручил ответное послание на австрийский ультиматум венскому послу в Белграде — барону Гизлю. Сербское правительство выявило в своей ноте знание международных законов и кровью своего сердца, омытого слезами матерей, создало такой документ, который можно считать самым блистательным актом всей мировой дипломатии. Это был *подлинный шедевр!* Белград с тонкими оговорками принял девять пунктов ультиматума. И не принял только десятого пункта, в котором Вена требовала силами австрийских войск навести «порядок» на сербской территории. Венский посол мельком глянул на ноту, увидел, что там *что-то* не принято, и... потребовал паспорта. У них все уже было готово к отъезду: багаж увязан, архивы заранее упакованы. Вечером австрийская миссия покинула Белград, а это означало разрыв отношений...

Киевский, Одесский, Казанский и Московский военные округа вставали под ружье; по России катились грохочущие эшелоны.

. . . . . .

26 июля... Сазонов жаловался Палеологу:

— Неужели события уже вырвались из наших рук и мы, дипломаты, больше не можем управлять политикой? Петербург еще в силах уговорить австрийцев, но... подозреваю, что Германия обещала Вене слишком большой триумф самолюбия. Больше уступать нельзя! Уступив еще раз, Россия теряет титул великой державы и скатится в болото держав второстепенных... У нас тоже есть самолюбие!

В этот день царь вместе с дядей Николашей появился в Думе, дабы внушить стране мысль о своем единении с народом. Было много речей, много слез и ликований. Но встала и покинула зал заседаний фракция социал-демократов, которая имела смелость по-ленински твердо выступить против войны. «Эта война,— говорили думцы-ленинцы в своей декларации,— окончательно раскроет глаза народным массам Европы на действительные источники насилий и угнетений, от которых они страдают, и... теперешняя вспышка варварства будет в то же время и последней вспышкой!»

. . . . . .

27 июля... Сазонов так издергался, что от него остался один большой нос, уныло нависавший над галстуком-бабочкой. Он еще был способен предвидеть события. Но уже не мог управлять ими. Время виртуозных комбинаций, где не только одно междометие, но даже пауза в разговоре имели значение,— это золотое время дипломатии кончилось... В кабинет министра ломилась яростная толпа журналистов. «Что им сказать? Я уже сам ничего не знаю...»

Он долго кашлял, потом сказал:

— Можете метать стрелы и молнии в Австрию, но я вас умоляю не трогать пока в печати Германию — этим вы разрушите мою комбинацию, которая еще способна спасти нам мир.

Увы, никакой «комбинации» у него уже не было...

. . . . . .

28 июля... Бьюкенен совещался с Сазоновым, а в приемной министра встретились Палеолог и Пурталес.

— Еще день-два,— сказал Палеолог немцу,— и если конфликт не будет улажен, возникнет катастрофа, какой мир еще не ведал. Если ваше правительство столь миролюбиво, как об этом оно не раз заявляло, так окажите воздействие на Австрию.

— Я призываю бога в свидетели,— отвечал Пурталес, зажмурившись,— что Германия всегда стояла на страже мира. Мы не злоупотребляли силой. История покажет, что Германия всегда права.

— Очевидно,— пикировал Палеолог,— положение очень дурное, если возникла необходимость уже взывать к суду истории...

Бьюкенен выходит от Сазонова, Пурталес входит к Сазонову, а в приемной министра появляется австрийский посол Сапари.

— Можете ли вы сообщить, что происходит?

— Коляска катится,— прищелкнул пальцами Сапари.

— Это уже из Апокалипсиса,— ответил ему Бьюкенен...

Сазонов признался Палеологу, что ему стало трудно сдерживать горячку Генштаба: там боятся опоздать с мобилизацией. Пуанкаре еще плыл во Францию на дредноуте, и Палеолог не имел с ним связи. Он, как и Бьюкенен, умолял Сазонова не давать повода Германии для активных действий.

— Немцы уже мобилизуются! — отвечал Сазонов.— А мы еще гуляем, сунув руки в карманы, и поплевываем, как франты...

Кайзер (с большим опозданием) ознакомился с ответом Сербии на венский ультиматум. Он был потрясен железной логикой и примирительным тоном. Белградская нота мешала кайзеру катить бочку с порохом дальше. Он крепко задумался и даже признал:

— Это вполне достойный ответ. Если б я получил такую ноту, я бы на месте Вены счел себя вполне удовлетворенным.

Вильгельм II посоветовал Вене ограничиться захватом Белграда и сразу же начать мирные переговоры с сербами. Белград в те времена лежал на самой черте границы с Австрией (его отделяла от Австрии только река Сава). Совет кайзера запоздал: австрийцы уже понаставили на берегу Савы батареи и по телеграфу передали сербам объявление войны... Но еще никто не верил, что война началась. Не верил и Николай II, отправивший кайзеру телеграмму, в которой умолял его помешать австрийцам «зайти слишком далеко».

. . . . . .

29 июля... Пурталес пришел к Сазонову и зачитал ему наглое требование германского рейхсканцлера, чтобы Россия прекратила военные приготовления, иначе Германия, верная своей миролюбивой политике, ополчится против варварской агрессии России.

Сазонов вскочил из-за стола — весь в ярости:

— Теперь я понял, отчего Австрия так непримирима... Это вы! Вы стоите за ее спиной и подталкиваете на бойню...

В ответ Пурталес, натужно и хрипло, прокричал:

— Я протестую против неслыханного оскорбления...

На стол министра легла свежая телеграмма: австрийцы открыли огонь по Белграду, рушатся здания, в огне погибают жители.

— Первая кровь наша, славянская,— сказал Сазонов.

Янушкевич, начальник Генштаба, все же уговорил царя на всеобщую мобилизацию. Палеолога об этом предупредили: «Россия не может решиться на частичную мобилизацию, ибо наши дороги и средства связи таковы, что проведение частичной мобилизации сорвет планы общей, когда явится нужда в ее необходимости...» Вечером генерал Добророльский прибыл на главпочтамт, имея на руках указ царя о всеобщей мобилизации. Всю публику из здания попросили немедленно удалиться. В пустынном зале сидели притихшие телеграфистки, понимая, что сейчас произойдет нечто ужасное. Добророльский, поглядывая на часы, взволнованно гулял по каменному полу почтамта. Остались считанные минуты, и вся Россия ощетинится штыками... Звонок! Вызывали его к телефону. Говорил Сухомлинов:

— *Отставить передачу указа!* Государь император получил телеграмму от кайзера, который заверяет, что сделает все для улаживания конфликта... Мобилизация возможна лишь частичная!

Император принял это решение личной (самодержавной) властью. Он поверил, что Вильгельм II озабочен сохранением мира.

. . . . . .

30 июля... «Не стройте крепостей — стройте железные дороги»,— завещал Мольтке-старший своему племяннику Мольтке-младшему, который стоял сейчас во главе германской военной машины. Одно дело — мобилизация в России, другое — в Германии, где эшелоны катятся как по маслу. Утром встретились Сазонов, Сухомлинов и Янушкевич, удивленные, что царь так легко подпал под влияние Берлина. Но частичная мобилизация срывала план всеобщей — об этом и рассуждали... Сазонов сказал Шантеклеру:

— Владимир Александрович, позвоните государю.

Сухомлинов позвонил в Петергоф, но там ответили, что царь не желает разговаривать. Вторично позвонил туда Янушкевич.

— Ваше величество, я опять об отмене общей мобилизации, ибо ваше решение может стать губительным для России...

Николай II резко прервал его, отказываясь говорить.

— Не вешайте трубку... здесь и Сазонов!

Царь сказал:

— Хорошо. Давайте мне Сазонова.

Сазонов настоял на срочной с ним аудиенции, царь согласился принять его. Но до отъезда в Петергоф он повидал Пурталеса, крайне растерянного и жалкого, который пробормотал ему:

— Я должен что-то сообщить Берлину, однако моя голова уже не работает. Весьма нелепо, но я прошу вас посоветовать мне, что я могу предложить своему правительству.

Это было даже смешно. Сазонов взял лист бумаги, быстро начертал ловкую формулу примирения, которая обтекала острые углы конфликта, как вода обтекает камни в горной реке: ЕСЛИ АВСТРИЯ, ПРИЗНАВАЯ, ЧТО АВСТРО-СЕРБСКИЙ ВОПРОС ПРИНЯЛ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ХАРАКТЕР, ОБЪЯВИТ СЕБЯ ГОТОВОЙ ВЫЧЕРКНУТЬ ИЗ СВОЕГО УЛЬТИМАТУМА ПУНКТЫ, КОТОРЫЕ НАНОСЯТ УЩЕРБ СЕРБИИ, РОССИЯ ОБЯЗЫВАЕТСЯ ПРЕКРАТИТЬ ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ... Он вручил запись Пурталесу.

— Пожалуйста. Я всегда к вашим услугам.

— Благодарю,— с мрачным видом отвечал посол.

Потом министр отъехал в Петергоф, где его поджидал удрученный император. Сазонов стал доказывать, что приостановкой общей мобилизации расшатывается вся военная система, графики трещат, военные округа запутаются. Война, говорил министр, вспыхнет не тогда, когда мы, русские, ее пожелаем, а лишь тогда, когда в Берлине кайзер нажмет кнопку... Николай II ответил ему:

— Вилли ввел меня вчера в заблуждение своим миролюбием. Но я получил от него еще одну телеграмму... угрожающую! Он пишет, что снимет с себя роль посредника в споре, и,— прочитал царь далее,— «вся тяжесть решения ложится на твои плечи, которые должны нести ответственность за войну или за мир»!

Сазонов разъяснил, что кайзер только затем и взял на себя роль посредника, дабы под шумок, пока мы тут с вами балаганим, закончить военные приготовления. В ответ на это царь спросил:

— А вы понимаете, Сергей Дмитриевич, какую страшную ответственность возлагаете вы сейчас на мои слабые плечи?

— Дипломатия свое дело сделала,— отвечал Сазонов.

Царь долго молчал, покуривая, потом расправил усы:

— Позвоните Янушкевичу... пусть будет *общая!*

Было ровно 4 часа дня. Сазонов передал приказ царя Янушкевичу из телефонной будки, что стояла в вестибюле дворца.

— Начинайте,— сказал он, и тот его понял...

Схватив телефон, Янушкевич вдребезги разнес его о радиатор парового отопления. Еще и поддал по аппарату сапогом.

— Это я сделал для того, чтобы царь, если он передумает, уже не мог бы повлиять на события.

Все телеграфы столицы прекратили частные передачи и до самого вечера выстукивали по городам и весям великой империи указ о всеобщей мобилизации. Россия входила в войну!

. . . . . .

31 июля... На улицах, хотя еще никто и никого не победил, уже кричали «ура», а между Потсдамом и Петергофом продолжалась телеграфная перестрелка: «Мне технически невозможно остановить военные приготовления»,— оправдывался Николай II, на что кайзер тут же ему отстукивал: «А я дошел до крайних пределов возможного в моем старании сохранить мир...» День прошел в сумятице вздорных слухов, в нелепых ликованиях. Этот день имел ярчайшую историческую концовку. Часы в здании у Певческого моста готовились отбить колдовскую полночь, когда явился Пурталес.

Сазонов понял — важное сообщение. Он встал.

— Если к двенадцати часам дня первого августа Россия не демобилизуется, то Германия мобилизуется полностью,— сказал ему посол.

Сазонов вышел из-за стола. Гулял по мягким коврам.

— Означает ли это войну?— спросил небрежно.

— Нет. Но мы к ней близки...

Часы пробили полночь. Пурталес вздрогнул:

— Итак, завтра. Точнее, уже сегодня — в полдень!

Сазонов замер посреди кабинета. На пальце вращал ключ от бронированного сейфа с секретными документами. Думал.

— Я могу сказать вам одно,— заметил он спокойно.— Пока останется хоть ничтожный шанс на сохранение мира, Россия никогда и ни на кого не нападет... Агрессором будет тот, кто нападет на нас, а тогда мы будем защищаться! Спокойной ночи, посол.

10. «ПОБОЛЬШЕ ДОПИНГА!»

Настало 1 августа... Утром кайзер накинул поверх нижней рубашки шинель тренадера и в ней принял Мольтке («как солдат солдата»). Германские грузовики с запыленной пехотой в шлемах «фельдграу» уже мчались по цветущим дорогам нейтральных стран, где население никак их не ждало. Часы пробили полдень, но графа Пурталеса в кабинете Сазонова еще не было. Германский посол прибыл, когда телеграфы известили мир о том, что немцы уже оккупировали беззащитный Люксембург и теперь войска кайзера готовы молнией пронизать Бельгию... Пурталес спросил:

— Прекращаете ли вы свою мобилизацию?

— Нет,— ответил Сазонов.

— Я еще раз спрашиваю вас об этом.

— Я еще раз отвечаю вам — нет...

— В таком случае я вынужден вручить вам ноту.

Нота, которой Германия объявила войну России, заканчивалась высокопарной фразой: «Его величество кайзер от имени своей империи *принимает вызов*...» Это было архиглупо!

— Можно подумать,— усмехнулся Сазонов,— мы бросали кайзеру перчатку до тех пор, пока он не снизошел до того, что вызов принял. Россия, вы знаете, не начинала войны. Нам она не нужна!

— Мы защищаем честь,— напыжился граф Пурталес.

— Простите, но в этих словах — пустота...

Только сейчас Сазонов заметил, что Пурталес, пребывая в волнении, вручил ему не одну ноту, а... две! За ночь Берлин успел снабдить посла двумя редакциями ноты для вручения Сазонову одной из них — в зависимости от того, что он скажет об отмене мобилизации. Черт знает что такое! Пурталес допустил чудовищный промах, какой дипломаты допускают *один раз в столетие*.

Объявив России войну, Пурталес сразу как-то ослабел и поплелся шаркая к окну, из которого был виден Зимний дворец. Неожиданно он стал клониться все ниже и ниже, пока его лоб не коснулся подоконника. Пурталеса буквально сотрясало в страшных рыданиях. Сазонов не сразу подошел к нему, хлопнул его по спине.

— Взбодритесь, граф. Нельзя же так отчаиваться.

Пурталес, горячо и пылко, заключил его в свои объятия.

— Мой дорогой коллега, что же теперь будет?

— Проклятие народов падет на Германию.

— Ах, оставьте... при чем здесь мы с вами?

На выходе из министерства Пурталеса поставили в известность, что для выезда его посольства завтра в 8 часов утра будет подан экстренный поезд к перрону Финляндского вокзала. Сборы были столь лихорадочны, что посол оставлял в Петербурге свою уникальную коллекцию антиков... В четыре часа ночи его разбудил Сазонов, говоривший по телефону из министерства:

— Кажется, нам никак не расстаться. Дело вот в чем. Наш государь только что получил очередную телеграмму от вашего кайзера, который просит царя, чтобы русские войска ни в коем случае не переступали германской границы. Я никак не могу уложить в своем сознании: с одной стороны, Германия объявила нам войну, а с другой стороны, эта же Германия просит нас не переступать границы...

— Этого я вам объяснить не могу,— ответил Пурталес.

— В таком случае извините. Всего вам хорошего.

На этом они нежно (и навсегда) расстались...

В эти дни в Германии застрелился близкий друг детства кайзера — граф фон Швейниц. Он был таким же русофилом в Германии, каким П. Н. Дурново был германофилом в России. Самые умные монархисты Берлина и Петербурга отлично понимали, что в этой войне победителей не будет — всех сметут революции! В 1914 году все почему-то были уверены, что революция начнется в Германии...

. . . . . .

— Побольше допинга!— восклицал Сухомлинов.— Германия — это лишь бронированный пузырь. Моя Катерина просто кипит! В доме сам черт ногу сломает! Лучшие питерские дамы устроили из моей квартиры фабрику. Щиплют корпию, режут бинты... Лозунг наших великих дней: все для фронта! Все для победы!

Ему с большим трудом удалось скрыть бешенство, когда стало известно, что все-таки не он, а дядя Николаша назначен верховным главнокомандующим. Петербург уже давно не ведал такой адской жарищи, а Янушкевич уже завелся о валенках и полушубках.

— Помилуйте, с меня пот льет. Какие валенки?

— Еще подков с шипами. На случай гололедицы.

— Да мы через месяц будем в Берлине!— отвечал министр...

На Исаакиевской площади озверелая толпа громила германское посольство — уродливый храм «тевтонского духа», к проектировке которого приложил руку и сам кайзер, за все бравшийся. С крыши летели на панель бронзовые кони буцефалы, вздыбившие копыта над русской столицей. Толпа крушила убранство посольских покоев, рубила старинную мебель, под ломами дворников с хрустом погибала драгоценная коллекция антиков графа Пурталеса...

Масса русских семейств, отдыхавших на германских курортах, сразу оказалась в концлагерях, где их подвергали таким гнусным издевательствам, которые лучше не описывать. Берлин упивался тевтонской мощью, немецкие газеты предрекали, что это будет война «четырех F» — frisher, frommer, frölicher, freier (освежающая, благочестивая, веселая и вольная).

Кайзер напутствовал гвардию на фронт словами:

— Еще до осеннего листопада вы вернетесь домой...

Сухомлинов, как и большинство военных того времени, тоже верил в молниеносность войны. Скоро из Берлина в составе русского посольства вернулся военный атташе полковник Базаров; в министерстве он попросил дать ему свои отчеты с 1911 по 1914 год.

— Читал ли их министр? Я не вижу пометок.

— Подшивали аккуратно. Но... не читали.

— Это преступно!— закричал он, не выбирая выражений.— На кой же черт, спрашивается, я там шпионил, вынюхивал, подкупал, тратил тысячи? Я же предупреждал, что военный потенциал немцев превосходит наш и французский, вместе взятые...

Бравурная музыка лилась в открытые настежь окна. Маршировала русская гвардия — добры молодцы, кровь с молоком, косая сажень в плечах,— они были воспитаны на традициях погибать, но не сдаваться... Ах, как звучно громыхали полковые литавры!

Сухомлинов названивал в Генштаб — Янушкевичу:

— Ради бога, побольше допинга! Екатерина моя кипит... Такие великие дни, что хочется рыдать от восторга. Я уже отдал приказ, чтобы курорты приготовились для приема раненых. Каждый защитник отечества хоть разочек поживет как Ротшильд.

— Владимир Александрыч,— отвечал Янушкевич,— люди по три-четыре дня не перевязаны, раненых не кормят по сорок восемь часов. Бардак развивается по всем правилам великороссийского разгильдяйства. Без петровской дубинки не обойтись! Пленные ведут себя хамски — требуют вина и пива, наших санитаров обзывают «ферфлюхте руссен»! А наша воздушная разведка...

— Ну что? Здорово наавиатили?

— А наша артиллерия...

— Небось наснарядили? Дали немчуре жару?

— Я кончаю разговор. Неотложные дела.

— Допингируйте, дорогой. Побольше допинга!

Империя вступала в войну под истошные вопли пьяниц, с ужасом узнавших из газет о введении «сухого закона». Мерно и четко шагала железная русская гвардия...

Из храмов выплескивало на улицы молебны Антанты:

— Господи, спаси императора Николая...

— Господи, спаси короля Британии...

— Господи, спаси Французскую Республику...

Литавры гремели не умолкая, и дождем цветов покрывались брусчатые мостовые «парадиза» империи. Самое удивительное, что добрая половина людей, звавших сейчас солдат «На Берлин!», через три года будет кричать «Долой войну!». А газетчики надрывались:

— Купите вечернюю! Страшные потери! Кайзер уже спятил! Наши войска захватили парадный мундир императора Франца-Иосифа...

На пороге кабинета Сазонова уже стоял Палеолог:

— Умоляем... спасите честь Франции!

Август 1914 года. Битва на Марне. Немцы шли на Париж.

. . . . . .

Август четырнадцатого — героическая тема нашей истории, если наше прошлое правильно понимать... Об этом писали, пишут и еще будут писать. Известно, что русская армия мобилизовалась за сорок дней, а германская за семнадцать (это понятно, ибо русские просторы не сравнить с немецкими). Далее следует чистая арифметика:

40—17=23.

За эти двадцать три дня кайзер должен успеть, пройдя через Бельгию, поставить Францию на колени, а потом, используя прекрасно работающие дороги, перебросить все свои силы против русской армии, которая к тому времени только еще начнет собираться возле границ после мобилизации. Антанта потребовала от Петербурга введения в бой наших корпусов *раньше сроков мобилизации*, дабы могучий русский пластырь, приставленный к Пруссии, оттянул жар битвы на Марне в дикие болота Мазурии... Читателю ясна подоплека этого дела!

А речь идет о знаменитой армии Самсонова.

«Он умер совершенно одиноким, настолько одиноким, что о подробностях его последних минут никто ничего достоверного не знает». Наши энциклопедии подтверждают это: «Погиб при невыясненных обстоятельствах (по-видимому, застрелился)». Для начала мы разложим карту... Вот прусский Кёнигсберг, а вот польская Варшава; если между ними провести линию, то как раз где-то посередине ее и находится то памятное место, где в августе 1914 года решалась судьба Парижа, судьба Франции, судьба всей войны.

11. ЗАТО ПАРИЖ БЫЛ СПАСЕН

Александр Васильевич Самсонов был генерал-губернатором в Туркестане, где осваивал новые площади под посевы хлопка, бурил в пустынях артезианские колодцы, в Голодной степи проводил оросительный канал. Он был женат на красивой молодой женщине, имел двух маленьких детей. Летом 1914 года ему исполнилось пятьдесят пять лет. Вместе с семьей, спасаясь от жары, генерал кавалерии Самсонов выехал в Пятигорск — здесь его и застала война...

Сухомлинов срочно вызвал его в Петербург:

— Немцы уже на подходах к Парижу, и французы взывают о помощи. Мы должны ударить по Пруссии, имея общую дирекцию — на Кёнигсберг! Вам дается Вторая армия, которая от Польши пойдет южнее Мазурских болот, а Первая армия двинется на Пруссию, обходя Мазурию с севера. Командовать ею будет Павел Карлович Ренненкампф.

— Нехорошее соседство,— отвечал Самсонов.— Мы друг другу руки не подаем. В японской кампании, когда шли бои под Мукденом, я повел свою лаву в атаку, имея соседом Ренненкампфа. Я думал, он поддержит меня с фланга, но этот трус всю ночь просидел в гаоляне и даже носа оттуда не выставил...

— Ну, это пустое, батенька вы мой!

— Не пустое... После атаки я пришел к отходу поезда на вокзал в Мукдене, когда Ренненкампф садился в вагон. В присутствии публики я исхлестал его нагайкой... Вряд ли он это позабыл!

Народные толпы осаждали редакции газет. Парижане ждали известия о наступлении русских, а берлинцы с минуты на минуту ожидали, что германская армия захватит Париж... Всю ночь стучал телеграф: французское посольство успокаивало Париж, что сейчас положение на Марне изменится — Россия двумя армиями сразу вторгается в пределы Восточной

Пруссии!.. Россия не «задавила немцев количеством». Факты проверены: кайзеровских войск в Пруссии было в полтора раза больше, нежели русских. Немецкий генерал Притвиц, узнав, что корпус Франсуа вступил в бой, велел ему отойти, но получил заносчивый ответ: «Отойду, когда русские будут разгромлены». Отойти не удалось — бежали, бросив всю артиллерию. Но перед этим Франсуа нахвастал по радио о своей будущей победе над русскими. «Ах, так?..» — и немецкие генералы погнали солдат в атаку «густыми толпами, со знаменами и пением». Немцы пишут: «Перед нами как бы разверзся ад... Врага не видно. Только огонь тысяч винтовок, пулеметов и артиллерии». Это был день полного разгрома германской армии, а в летопись русской боевой славы вписывалась новая страница под названием ГУМБИНЕН! Черчилль признал: «Очень немногие слышали о Гумбинене, и почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла эта победа...» Зато эту победу как следует оценили в ставке кайзера Вильгельма II:

— Притвица и Франсуа в отставку,— повелел он.

Русские вступали в города, из которых немцы бежали, не успев закрыть двери квартир и магазинов; на плитах кухонь еще кипели кофейники. А стены домов украшали яркие олеографии, изображавшие чудовищ в красных жупанах и шароварах, с пиками в руках; длинные волосы сбегали вдоль спин до копчика, из раскрытых пастей торчали клыки, будто кинжалы, а глаза — как два красных блюдца. Под картинками было написано: «Это русский! Питается сырым мясом германских младенцев...»

Париж и Лондон умоляли Петербург — жать и жать на немцев, не переставая; из Польши в Пруссию, вздымая тучи пыли, носились автомобили; обвешанные аксельбантами генштабисты чуть ли не в спину толкали Самсонова: «Союзники требуют от нас — *вперед!*» Александр Васильевич уже ощутил свое одиночество: Ренненкампф после битвы при Гумбинене растворился где-то в лесах и замолк...

. . . . . .

Оказывается, в германских штабах знали о столкновении двух генералов на перроне мукденского вокзала — и немцы учитывали даже этот пустяк. Сейчас на место смещенных Франсуа и Притвица кайзер подыскивал замену... Он говорил:

— Один нужен с нервами, другой совсем без нервов!

Людендорфа взяли прямо из окопов (с нервами), Гинденбурга из уныния отставки (без нервов). Армия Самсонова, оторвавшись от тылов, все дальше погрязала в гуще лесов и болот. Не хватало телеграфных проводов для наведения связи между дивизиями. Обозы безнадежно отстали. Узкая колея немецких железных дорог не могла принять на свои рельсы расширенные оси русских вагонов. Из-за этого эшелоны с боеприпасами застряли где-то возле границы, образовав страшную пробку за Млавой.

— Если пробка,— сказал Самсонов,— пускай сбрасывают вагоны под откос, чтобы освободить пути под новые эшелоны...

Варшава отбила ему честный ответ, что за Млавой откоса не имеется. Солдаты шагали через глубокие пески — по двенадцать часов в день без привального роздыха. «Они измотаны,— докладывал Самсонов.— Территория опустошена, лошади давно не ели овса, продовольствия нет...» Армия заняла Сольдау. Шпионаж у немцев был налажен превосходно! Отступая, они оставляли в своем тылу массу солдат, переодетых в пасторские сутаны, а чаще всего — в женское платье.

— Но где же этот Ренненкампф с его армией?

Первая армия не пошла на соединение со Второй армией; Людендорф с Гинденбургом сразу же отметили эту «непостижимую неподвижность» Ренненкампфа; Самсонов оказался один на один со всей германской военщиной, собранной в плотный кулак... Гинденбург с Людендорфом провели бессонную ночь в деревне Таннеберг, слушая, как вдали громыхает клубок боя. Им принесли радиограмму Самсонова, которую удалось раскодировать. Людендорф подсчитал:

— Самсонова от Ренненкампфа отделяет сто миль...

Немцы начали отсекать фланговые корпуса от армии Самсонова, а Самсонов, не зная, что его фланги уже разбиты, продолжал выдвигать центр армии вперед — два его корпуса ступили на роковой путь! Армия замкнулась в четырехугольнике железных дорог, по которым войска Людендорфа и маневрировали, окружая ее.

Курсировавшие по рельсам бронеплатформы осыпали армию крупнокалиберными «чемоданами». Прусская полиция и местные жители, взяв на поводки доберман-пинчеров (натасканных на ловле преступников), рыскали по лесам, выискивая раненых. Очевидец сообщает: «Добивание раненых, стрельба по нашим санитарным отрядам и полевым лазаретам стали обычным явлением». В немецких лагерях появились первые пленные, которых немцы кормили бурдой из картофельной шелухи, а раненым по пять-шесть дней не меняли повязок. «Вообще,— вспоминал один солдат,— немцы с нами не церемонятся, а стараются избавиться сразу, добивая прикладами». Людендорф беседовал с пленными на чистом русском языке, а Гинденбург допрашивал их на ломаном русском языке:

— Где ваш генерал Самсонов?

— Он остался с армией.

— Но вашей армии уже не существует.

— Армия Самсонова еще сражается...

В лесах и болотах, простреленная на просеках пулеметами, на переправах встреченная броневиками, под огнем тяжелой крупповской артиллерии, русская армия не сдавалась — она шла на прорыв! Документы тех времен рисуют нам потрясающие картины мужества и героизма русских воинов... По ночам, пронизав тьму леса прожекторами, немцы прочесывали кусты разрывными пулями, рвавшимися даже от прикосновения к листьям. Это был кошмар! Гинденбург с Людендорфом признали открыто, что русский солдат стоек необычайно. Германские газеты тогда пи-

сали: «Русский выдерживает любые потери и дерется даже тогда, когда смерть является для него уже неизбежной».

Самсонов, измученный приступом астмы, выходил из окружения пешком, спички давно кончились, и было нечем осветить картушку компаса; солдаты шли во мраке ночи, держа друг друга за руки, чтобы не потеряться; среди них шагал и Самсонов. «В час ночи он отполз от сосны, где было темнее. В тишине щелкнул выстрел. Офицеры штаба пытались найти его тело, но не смогли». Известие о гибели Самсонова не сразу дошло до народа; еще долго блуждали темные легенды, будто его видели в лагере военнопленных, где он, переодетый в гимнастерку, выдавал себя за солдата. Вдова его, Екатерина Александровна Самсонова, под флагом Красного Креста перешла линию фронта, и немцы (весьма любезно) показали ей, где могила мужа. Она узнала его лишь по медальону, внутри которого он хранил крохотные фотографии ее самой и своих детей. Самсонова вывезла останки мужа на родину. Александр Васильевич был погребен в селе Егоровка Херсонской губернии...

. . . . . .

Первая мировая война расшатала престолы — по мостовым Петербурга, Берлина и Вены, громыхая по булыжникам, катились короны Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов...

В битве народов, длившейся четыре года, один погибший приходился на 28 человек — во Франции, в Англии — на 57 человек, а Россия имела одного убитого на 107 человек. Прорыв армии Самсонова заранее определил поражение Германии, и те из немцев, кто умел здраво мыслить, уже тогда поняли, что Германия победить не сможет... Ныне гибель армии Самсонова брошена на весы беспристрастной истории: мужество наших солдат спасло Париж, спасло Францию от позора оккупации. Немцы проиграли войну не за столом Версаля в 1918 году, а в топях Мазурских болот — еще в августе 1914 года! Да, армия погибла. Да, она принесла себя в жертву. Сегодня наши историки пишут: «Восточнопрусская операция стала примером самопожертвования русской армии во имя обеспечения общесоюзнической победы...»

Так строится схема исторической справедливости.

Других мнений не может быть!

ФИНАЛ ПЯТОЙ ЧАСТИ

Концлагерь в Пруссии для военнопленных. Средь прочих, взятых в плен под Сольдау, находился и поручик Колаковский. С неба сыпал снежок, было зябко и постыло.

Колаковский шагнул к колючей проволоке.

— Я хочу видеть ваше немецкое начальство.

— Зачем?— спросил часовой.

— У меня важное сообщение...

Лагерному начальству он заявил, что по убеждениям является мазепинцем, ратуя за освобождение Украины от гнета москалей. Лагерная машина увезла его в Аллештейн, где с Колаковским долго беседовал, прощупывая его, капитан германской армии Скопник (из галицийских украинцев). Убедясь, что ненависть Колаковского к русским не имеет предела, Скопник отправил мазепинца в Инстербург, а там его взял в обработку опытный агент германского генштаба Бауэрмейстер, который говорил по-русски как мы с вами, читатель... Шнапс был берлинский, а сало на закуску, естественно, хохлацкое (толщиной в пять пальцев).

— Я коренной петербуржец,— сказал немец за выпивкой.— Мое ухо не выносит нового имени Петроград, от такого русифицирования столица лучше не станет. Моя мамочка умерла в Питере, а мой брат пал за будущее Германии и... вашей Хохландии!

Бауэрмейстер инструктировал:

— Много лет мы работаем ноздря в ноздрю с одним вашим полковником — и ему хорошо, и нам не вредно... В Вильне есть такой шантанчик Шумана, где бывает (запомните!) мадам Столбина, любовница этого полковника... Там и встретитесь!

Поручик спросил, когда его переправят в Россию.

— Вы нужны не здесь, а в России, потому задержки не будет. Сейчас у нас готовят большую партию пленных для обмена на наших. Жаль, что у вас руки-ноги целы — отправили бы еще раньше...

Затем он развернул перед поручиком такую заманчивую картину жизни русского полковника, работавшего на кайзера, что Колаковскому стало не по себе. Доверясь пленному, Бауэрмейстер, дабы умалить его страхи перед расплатой, сказал:

— Чепуха! У меня мамочка до войны (даже мамочка!) не раз провозила из России в Германию важные секретные бумаги. Правда, что этот полковник, о котором я говорил, служил тогда как раз на границе в Вержболове жандармским начальником...

Был уже декабрь 1914 года, когда после длительного пути (морем в Швецию, оттуда через Финляндию) прибыла в Петербург большая партия пленных, в основном калеки — на костылях. Встреча их на Финляндском вокзале была небывало торжественная. Гремели духовые оркестры, произносились речи, дамы дарили цветы, инвалидов закармливали обедами в вокзальном ресторане. Колаковский, зажав под локтем небольшой пакетик с «личными вещами», прошел по Невскому, дивясь тому, что жизнь столицы шумела, как в мирные дни (только поубавилось пьяных). Возле подъезда Главного штаба он сказал дежурному офицеру:

— Я поручик Двадцать третьего Низовского пехотного полка Яков Колаковский, вырвался из плена германского, имею очень важное для страны сообщение... Доложите обо мне кому следует.

Офицер приветливо щелкнул каблуками: «Прошу вас...» Через лабиринт коридоров и лестниц Колаковский следовал в отдел контрразведки, которая сидела на горах ценных материалов и всякого хлама, не брезгуя иногда услугами даже таких подонков, как Манасевич-Мануйлов... Колаковского выслушали, но решили проверить:

— Повторите, пожалуйста, то место своих показаний, где вы рассказали о том, что брат Бауэрмейстера погиб на фронте.

Колаковский повторил. Его арестовали.

Питерскую квартиру Бауэрмейстеров во время войны берегла их гувернантка Сгунер; в эту же ночь к ней нагрянули с обыском. Нашли то, что надо. Бауэрмейстеры через шведскую почту известили гувернантку о том, что их третий брат пал смертью храбрых на русском фронте. Таким образом, подтвердилось показание Колаковского. За него взялся глава контрразведки генерал М. Л. Бонч-Бруевич (позже генерал-лейтенант Советской Армии, родной брат известного большевика-ленинца).

— Итак,— сказал он,— вы прибыли, чтобы взорвать мост под Варшавой и устроить покушение на главковерха. Нас больше интересует этот полковник... вам назвали его фамилию?

— *Мясоедов*! Я о нем до этого ничего не слышал, и Бауэрмейстер в разговоре даже упрекнул меня: «Что ж вы, газет не читаете? Такой шум был, Мясоедов даже с Гучковым стрелялся, а Борьке Суворину в скаковом паддоке ипподрома морду при всех намылил...»

— Значит, Мясоедов... Ну что ж. Превосходно.

. . . . . .

Янушкевич, побывав в Ставке, навестил Сухомлинова.

— Порнографией не интересуетесь?— спросил он.

У самого носа министра очутилась карточка голой женщины, с бокалом вина лежащей в постели. Сухомлинов с радостью узнал свою знакомую — графиню Магдалину Павловну Ностиц.

— Подозревается в шпионаже,— облизнулся Янушкевич.

— Но почему она у вас голая?

— Другой фотографии в архивах не нашли. А эту отняли у... Впрочем, не буду называть. Важно, что он ее «употребил». А вчера на Суворовском (дом № 25) арестовали двух дамочек, которые принимали у себя гостей не ниже генерал-майора. Арестовывал их полковник, так они не хотели его даже пускать.

— Что, они так разборчивы?— спросил Сухомлинов.

— Шпионки! Им сам бог велел разбираться в чинах.

— А к чему вы меня интригуете?

— Я не интриган,— сказал Янушкевич, интригуя.— Просто вам следует знать если не как министру, то хотя бы как мужу...

— Ну... бейте!— отчаялся Сухомлинов.

— Арестованные дамы были подругами вашей Екатерины Викторовны, которая часто навещала их квартиру на Суворовском...

— Тьфу!

Янушкевич суетился не зря: креатура главковерха великого князя Николая Николаевича, он уже начал активную кампанию по смещению Сухомлинова с поста военного министра.

Уходя, он добавил:

— А ваш бывший адъютант опять отличился...

— Кто?

— Да этот пройдоха Мясоедов.

— А при чем здесь я?— возмутился Сухомлинов.— Сразу как началась война, он появился у меня с прошением. Мол, примите на службу. Готов пролить кровь. До последней капли. И так далее. Ну, я сказал: обычным путем, голубчик... На этот раз устраивайтесь без моей протекции. Вот он и служит. А что с ним?

— У меня был корреспондент газеты «Таймс» Уилтон... Ехал он в Варшаву, в вагоне-ресторане к нему подсел какой-то полковник с пенсне на носу. Ну, ясное дело, разговорились. Полковник сразу стал крыть на все корки... кого бы вы думали?

— Не знаю.

— Вас.

— Меня?

— Да... Уилтон на первой же станции позвал с перрона жандарма и говорит, что один русский полковник — явно германский шпион, ибо русский не стал бы так лаять своего военного министра. Полковника арестовали, выяснилось — Мясоедов!

— Ну и что?

— А ничего. Извинились. И он поехал дальше.

Хищники, воры, предатели, мародеры, изменники, развратники, пьяницы... все смешалось и закружилось в ночи русской политической реакции, праздновавшей свой последний праздник перед тем, как исчезнуть с лица земли русской.

Леонид Андреев

Часть шестая

ПИР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

(Осень 1914-го — осень 1915-го)

ПРЕЛЮДИЯ К ШЕСТОЙ ЧАСТИ

В канун войны один наш историк сидел как-то в садике у Донона за обедом и «слышал за ближайшим трельяжем громкий смех и чей-то голос, принадлежавший по оборотам и акценту, очевидно, не только какому-то дремучему еврею, но и человеку явно неграмотному. Субъект этот, оказавшийся Аароном Симановичем, рассказывал историю своей жизни», не забывая держать напоказ оттопыренный палец, чтобы все видели в его перстне бриллиант в пятнадцать каратов.

— Что делать бедному еврею, если Россия начала войну с Японией? Я закрыл в Киеве лавку по скупке подержанных вещей и купил сразу два сундука карт. По дороге на войну, до самого Иркутска, я подбирал заблудших красавиц и на каждой крупной станции фотографировался с ними в элегантных позах. Что нужно воину на фронте? Водки он и сам себе добудет. Ему нужны карты и женщины. Я обеспечил господ офицеров покером, интересными открытками и хорошим борделем. Не скрою — разбогател... Но... дурак я был! Решил честно играть в «макаву» и спустил целый миллион.

— А чем же сейчас занимаетесь?— спросили его.

— Ювелир... придворный ювелир!

— Как же вы, еврей, проникли ко двору?

— Моя жена была подругой детства графини Матильды Витте, а царица покупает бриллианты только у меня... Как? А вот так. Допустим, камень у Фаберже стоит тысячу. Я продаю за девятьсот пятьдесят. Царица звонит по телефону Фаберже, а тот говорит, что Симанович продешевил... Ей приятно. Мне тоже.

— Какая же вам-то выгода?

— Навар большой. Вот царица. Вот бриллиант. Вот я.

— А на что же вы тогда живете, если камень обходится вам в тысячу, а продаете царице себе в убыток?

Симанович обмакнул губы в бокал с красным вином.

— Я играю... *наперекор судьбу!*

Это «наперекор судьбу» развеселило компанию, а историка поразила «полная атрофия возмущения» слушателей: в их присутствии оскорблялась русская армия, умиравшая на полях Маньчжурии, а никто из них не догадался треснуть «поставщика ея величества» по его нахальной фарисейской роже... Лакей шепнул историку:

— Это секретарь и приятель Гришки Распутина.

Так эти два имени, имя Распутина и имя Симановича, прочно сцепились воедино. А что их соединяло?

. . . . . .

Еврейский народ дал миру немало людей различной ценности — от Христа до Азефа, от Савонаролы до Троцкого, от Спинозы до Бен-Гуриона, от Ламброзо до Эйнштейна... Да, были среди евреев великие философы-свободолюбцы, и были средь них великие палачи-инквизиторы. Русское еврейство могло гордиться революционерами, художниками, врачами, учеными и артистами, имена которых стали нашим общим достоянием. Но это лишь одна сторона дела; в пресловутом «еврейском вопросе», который давно набил всем оскомину, была еще изнанка — сионизм, уже набиравший силу. Сионисты добивались не равноправия евреев с русским народом, а *исключительных* прав для евреев, чтобы — на хлебах России! — они жили своими законами, своими настроениями. Не гимназия была им нужна, а хедер; не университет, а субботний шабаш. Сионизм проповедовал, что евреям дарована «вечная жизнь», а другим народам — «вечный путь»; еврей всегда «у цели пути», а другие народы — лишь «в пути к цели». Раввины внушали в синагогах, что весь мир — это лестница, по которой евреи будут всходить к блаженству, а «гои» (неевреи) осуждены погибать в грязи и хламе под лестницей... Вот страшная философия! Сионизм, кстати, никогда не выступал против царизма, наоборот, старался оторвать евреев от участия в революции, и потому главные идеологи еврейства находили поддержку у царского правительства. Единственное, в чем царизм мешал еврейской буржуазии, так это воровать больше того, нежели они воровали. А воровать и спекулировать они были большие мастера, и тут можно признать за ними «исключительность»... Из поражения первой революции евреи вынесли очень тяжелый багаж: разрыв Бунда с ленинской партией РСДРП(б), замкнутость и нетерпимость к неиудеям, кустарный подход к революции, ставка на свое «мессианство», кружки местечковой самообороны (та же «черная сотня», только еврейская!), масса жаргонной литературы и усиленная эмиграция. Царизм в эти годы был озабочен не столько тем, что евреи заполняют столичные города, сколько тем, что евреи активно и напористо захватывают банки, правления заводов, редакции газет и адвокатские конторы.

От взоров еврейской элиты, конечно же, не укрылось всерастущее влияние Распутина на царскую семью, и они поняли, что, управляя Распутиным, можно управлять мнением царя. Аарон Симанович вполне годился для того, чтобы стать главным рычагом управления: он признал израильскую программу Базельского конгресса, исправно платил подпольный налог — шекель и был полностью согласен с тем, что «этническая гениальность» евреев дает им право порабощать другие народы. В этом же духе он воспитывал и своих сыновей; старший сын, Шима Симанович, учился в технологическом институте и однажды проговорился среди студентов: «А мой папа фрак надел, с Распутиным опять в Царское Село поехал — чего-то насчет Думы хотят потрепаться...» Но студенты оказались не лишены чувства чести, как это случилось с публикой у Донона, и они надавали Шиме пощечин...

Недавно, в 1973 году, у нас писали: «Принято считать, будто царем и царицей управлял Распутин. Но это лишь половина правды. Правда же состоит в том, что очень часто Николаем II... управлял Симанович, а Симановичем — крупнейшие еврейские дельцы Гинцбург, Варшавский, Слиозберг, Бродский, Шалит, Гуревич, Мендель, Поляков. В этом сионистском кругу вершились дела, влиявшие на судьбу Российской империи». Знайте об этом!

. . . . . .

Это было еще перед войной — Симановича призвали в кагал финансовой олигархии. Присутствовали миллионер Митька Рубинштейн, Мозес Гинзбург, разжиревший в 1904 году на поставках угля нашей порт-артурской эскадре, были барон Альфред Гинцбург — золотопромышленник, видный юрист Слиозберг, сахарозаводчик Лев Бродский (друг Сухомлинова по Киеву), строители железных дорог Поляковы, держатели акций и ценных бумаг, раввины, издатели, банкиры и прочие воротилы. Сначала они спросили Симановича — как и при каких обстоятельствах он познакомился с Распутиным?

— Давно, еще в доме Милицы Николаевны, когда принес ей показать камни на продажу, Распутин был там... Потом встречался с ним в Киеве — как раз в дни убийства Столыпина.

— Как Распутин относится лично к тебе?

Симанович предъявил кагалу фотографию Распутина с его личной дарственной надписью «Лутшаму ис явреив».

— А как он относится к еврейскому вопросу?

— Он не понимает этого вопроса, но ему очень нравится, что мы всегда при деньгах. Он это уважает в людях!

Симановичу было сказано:

— Скоро будет война... Мы, иудеи, не имеем причин желать России победы в предстоящей войне с Германией, и чем позорнее будет поражение России, тем нам, иудеям, будет это приятнее. Мы сейчас затеваем великое дело, на которое нами жертвуются неслыханные суммы денег... Согласись помочь нам, и ты станешь богат, тебя запишут в еврейские памятные книги «пинкес», и твое имя да будет памятно во веки веков средь детей Израиля! Но ты можешь и погибнуть,— предупредили его.— Однако мы это предусмотрели. К тебе будет приставлена охрана из девяти вооруженных людей, которые станут сопровождать тебя всюду, где бы ты ни был, но они так ловки и опытны, что ты их даже никогда не заметишь...

Тут же было решено, что отныне Распутин тоже ставится под особую еврейскую охрану и все покушения на него должны отводиться сразу же, в чем должен помочь Симанович, которому вменялось неустанно следить за Гришкой и его окружением. Симанович запротоколировал слова барона Гинцбурга. «Ты имеешь прекрасные связи,— сказал он ему,— ты бываешь в таких местах, где еще никогда не ступала нога еврея. Бери же на помощь Распутина, с которым ты находишься в столь близких отношениях. Было бы грех не использовать такие обстоятельства. Возьмись за работу, и если ты сделаешься жертвой своих стараний, то вместе с тобою погибнет и весь (?!) еврейский народ...» Странная речь, не делающая чести уму барона! Симанович задал кагалу насущный вопрос:

— Что конкретно я могу Распутину обещать?

— Что он хочет... наши средства колоссальны. Если понадобится, то откроются банки Чикаго и Лондона, Женевы и Вены. А помимо денег ты обещай Распутину землю в Палестине и райскую жизнь до глубокой старости на средства нашей еврейской общины...

В конце совещания сионисты решили завлечь Распутина в гости, дабы выведать наглядно, не является ли Гришка замаскированным антисемитом. Такая встреча состоялась (еще до покушения Хионии Гусевой) в доме барона Гинцбурга, и если верить Симановичу, то при появлении Распутина все банкиры и адвокаты дружно плакали, жалуясь, что их, бедных (миллионеров!), притесняют. Ответные слова Гришки дошли до нас в такой форме:

— А вы куды смотрите? Ежели вас жмут, так подкупайте всех. Эвон, предки-то ваши: даже царей подкупали! Нешто мне вас уму-разуму учить? А я помогу... Ништо!

«После конференции состоялся ужин. Распутин собирался сесть рядом с молодой и красивой женой Гинцбурга. Хозяин дома, который знал славу Распутина как бабника, очень просил меня,— вспоминал Симанович,— сесть между его женой и Распутиным... После встречи с еврейскими представителями Распутин уже не скрывал свое расположение к «евреям». Спору нет, Гришка сионистом не стал, а его полемика с антисемитами отныне строилась на прочной зубоврачебной основе (весьма существенной, если учитывать, что Гришка всю жизнь страдал зубами); он заводил речь так:

— А ты пломбы ставил? Ты зубы лечил?

— Ну, ставил. Ну, лечил.

— Небось сверлили тебе?

— Сверлили... страшно вспоминать.

— Пломбы-то держатся? Не вываливаются?

— Ну, держатся. А при чем здесь жиды?

— А кто тебе сверлил? А кто пломбу ставил? Вить ежели всех жидов перебить, так мы совсем без зубов останемся...

Сионисты начали с того, что бесплатно вставили Распутину полный набор искусственных зубов.

— Такой великий и умный человек,— внушал ему Симанович,— не должен думать о деньгах. Зачем отвлекаться от государственных проблем? Только скажите — и деньги будут.

— А где возьмешь?

— Это уже мое дело...

Судьбы международных капиталов вообще запутанны. Но они трижды запутаннее, когда проходят через руки сионистов. Ибо деньги в этих случаях выносит наружу в самых неожиданных местах, словно они прошли через фановые глубины канализации. Распутин скоро обнаглел! Он поступал с евреями-банкирами как грабитель со случайными прохожими. Стало уже правилом, что, встречаясь на улице с Гинзбургом или Гинцбургом, Гришка бесцеремонно распахивал на них шубы, забирал бумажник, дочиста обчищал карманы, не забывая при этом оставить ограбленным один полтинничек.

— Это тебе на извозчика, чтобы до дому добрался...

Рубинштейн вскоре открыл на Марсовом поле контору, назначения которой никто не знал. Она ведала финансовым снабжением не самого Распутина, а лишь обслуживанием его окружения. Если кто просил у Гришки денег, он отсылал таких на Марсово поле:

— Идите к Митьке... он умный... он даст!

1. ВСЕ СТАВКИ НА СТАВКУ

После заживления распоротого живота Распутин лишь 12 сентября вернулся из Сибири в столицу, где очень легко убедил царицу, что умудрился выздороветь лишь благодаря «божественному попечению». По сути дела, все решено без него! Война объяла Россию, и он, который всегда войны боялся, в туманных выражениях давал понять, что страну ожидают большие несчастья. Однако «сухой закон» Гришка от души приветствовал, а на «Вилле Родэ» ему подавали водку в чайнике, искусно окрашенную от полицейского надзора под колер крепкого чая. Хлебнув из стакана, в который предусмотрительно была опущена чайная ложечка, Гришка говорил:

— Это хорошо, что прижали нашего брата. А то бы мы, грешные, совсем спились. Эта война, погоди, ишо поправит нам мозги!

В стране возникло неудобство двоевластия: Ставка иногда брала верх в решениях, подавляя своим авторитетом правительство, а порой и царя. Сразу же после возвращения Распутина в столицу Алиса сооб-

щила мужу, что черногорки Милица и Стана хотят сделать главковерха царем в Польше или в Галиции. «Григорий,— писала она,— ревниво любит тебя, и для него невыносимо, чтобы Н. играл какую-либо роль...» Подначивать тоже надо уметь.

— Газетку нельзя раскрыть,— жаловался Распутин царице,— куды ни сунешься, везде «верховный», быдто на Николае свет клином сошелся. А царя опосля ево поминают...

Русская армия победно топала на Львовщину.

— Эка жмут!— говорил Распутин.— Похоже, что дядя Николаша и впрямь спешит стать царем галицийским...

Умом он понимал, что влияние Ставки на жизнь страны огромно, и телеграммой обратился к главковерху с просьбой разрешить ему побывать в Ставке; Николай Николаевич отбил ему ответ: «*Приезжай — выпорю*». Распутин не хотел верить, что его могут выпороть; он дал вторичную телеграмму, а главковерх вторично отвечал ему: «*Приезжай — повешу...*» И повесил бы! В Ставке размещался эшафот с виселицей, никогда не пустовавшей. Вешали без суда и следствия пойманных с поличным спекулянтов, мародеров, аферистов-поставщиков, интендантов, шпионов, дезертиров.

— Начну с маленьких,— говорил верховный,— авось и до главного упыря доберусь. Но прежде линчевания я буду лично пороть Распутина в столице на Марсовом поле, чтобы при этом непременно играл оркестр балалаечников Андреева, а синодского жида Саблера заставлю распевать при народе «аллилуйя»...

Большой силой в Петербурге стали посольства Англии и Франции — с их послами, влияние их отзывалось на оперативных планах русской армии. Гришка решил дать «руководящие указания» Палеологу, как следует вести себя Франции во время войны. Палеолог получил от него листок бумаги, угол которой был оборван; листок украшала абракадабра каких-то прерывистых линий.

— Расшифруйте,— сказал посол,— а заодно отдайте бумагу на анализ: я хочу знать, что здесь было оторвано...

Лаборатория посольства дала ответ: писано на бланке царского дворца, оторван угол с императорским гербом, из чего следует, что происхождение письма из Царского Села решили скрыть. Вскоре секретарь закончил работу, и Палеологу был предъявлен внятно изложенный текст распутинского поучения «Давай бох по примеру жить расси Оне укоризна страны На примерь нестожества сей минут евит бох евленье силу увидите рать силу небес победа с вами и вас роспутин».

После сложнейшей обработки текста с помощью словарей и психиатров дипломаты выяснили, что Распутин хотел сказать следующее: «Дай вам бог жить по примеру России, а не критикой нашей страны. Скоро бог явит силу. Французская армия победит».

— Сдайте в архив посольства,— велел Палеолог.— И уже пора заводить на Распутина досье...

В этом году за Гришкой установил пристальное наблюдение и российский Генштаб, анализируя его окружение, исследуя потаенные каналы его связей. Теперь Гришка был просвечен со всех сторон, словно вражеский дредноут, плывущий в гуле битвы под ослепительным блеском неприятельских прожекторов... Плыл в гибель!

. . . . . .

В декабре военная мощь России стала замедлять ход, как усталый локомотив, из которого выпустили пар и воду. Военная игра в Киеве отрепетировала поражение Сухомлинова: воевать без патронов и снарядов нельзя — стой, армия! Зато, боже мой, как танцевала Малечка Кшесинская: тридцать два fouette подряд — без передышки... Читатель удивлен таким резким переходом от снарядного голода на фронте к балету, но я и сам удивлен не меньше. Дело в том, что артиллерией ведал великий князь Сергей Михайлович, точнее — Кшесинская, которая с ним сожительствовала. Даже царица была возмущена. «Скоро ли Сергей будет смещен со своего поста?— писала она мужу.— Кшесинская опять в этом замешана — она вела себя, как m-me *Сух.*,— брала *взятки* и вмешивалась в артиллерийское управление...» Сухомлинов, невзирая на ненависть, которую питал к нему главковерх, сидел на боевых доспехах нерушимо — как идол. Но царица (женщина неглупая) поняла: «В сущности,— писала она,— он там сидит также для того, чтобы спасти Кшесинскую и Сергея Михайловича...» Сухомлинов позвонил в главное артиллерийское управление и нарвался на генерала Кузьмина-Караваева, которому стал жаловаться, что на фронте пушкари «расснарядили» все арсеналы, а заводы не справляются с требованиями фронта. Подскажите, что нам делать? Ответ ученого генерала Кузьмина-Караваева можно было бы высечь на его надгробном памятнике.

— *Заключайте мир, дураки!* — отвечал он министру...

На что Сухомлинов дал ответ — из области анекдотов:

— Вот бы мою Катерину назначить к вам начальником: снарядов и патронов было бы у нас — хоть всю жизнь стреляй...

Артиллерия в один день войны пожирала 45 000 снарядов (только в обороне), а заводы давали в день самое большее 13 000 снарядов. Скоро навалилась новая беда: нет винтовок, а у кого есть винтовка, нет патронов. Янушкевич докладывал министру из Ставки: «Волосы дыбом при мысли, что по недостатку патронов и винтовок придется покориться Вильгельму... Много людей без сапог отмораживают ноги... Там, где перебиты офицеры, начались массовые сдачи в плен». На фронт срочно отъехала жена Сухомлинова с «царскими подарками», в раздаче которых ей доблестно помогал патриотически настроенный Манташев... Сухомлинов рассказывал Николаю II:

— Жена, государь, честно скажу, взбодрила меня. Сейчас врачи уложили ее в постель, но она снова рвется на фронт... вместе с патриотом Манташевым! Теперь очередь за «теплыми подарками». Катерина в восторге ото всего, что ей показали на фронте...

Ставка ему сообщала, что 900 000 мобилизованных (почти миллион человек!) сидят в бараках на казенной каше, но отправить на фронт их нельзя, ибо не во что обмундировать; запасных отправляли на передовую в гражданской одежде, прикрыв ее сверху шинелями, ратники ехали с палками — ехали под германские пулеметы.

К министру явился гневно пыхтящий Родзянко.

— Владимир Александрыч, на фронте нечем стрелять.

— Патроны... просто жрут их! Но меры уже приняты.

Родзянко сказал — заранее продуманное:

— Мне кажется, общественность России будет приветствовать ваш добровольный уход в отставку.

— У нас все кипит,— отвечал Сухомлинов совсем непродуманно.— Как я могу оставить министерство в такой момент, когда все кипит? Вы посмотрите, что у меня на столе творится...

Шантеклер бодренько докладывал в Ставку: «Мое дамское начальство, на удивление всем, показывает пример энергии и кипучей деятельности. Вчера жена опять помчалась в Москву: чего-то здесь нельзя достать, ну и покатила...» От себя добавлю, что ее сопровождал миллионер Манташев, жертвующий для победы тысячу валенок.

Пессимисты тогда говорили:

— Ну вот! Опять выяснилось, что мы были не готовы.

Оптимисты отвечали им — даже с бравадой:

— А что вы удивляетесь? Быть неготовым — это же извечное состояние нашей империи... Вы только не волнуйтесь: еще годик-два-три, и, глядишь, все завертится как надо. Что вы? Или истории не знаете? Так было всегда.

. . . . . .

Главная квартира Ставки — в Барановичах... В тупик железнодорожных путей загнали штабные вагоны; несколько бараков, шатер походной церкви, все ограждено высоченным забором. Две безбожно декольтированные дамы, неизвестно откуда свалившиеся, служили пикантным соусом к завтраку дяди Николаши.

Николай Николаевич как полководец был неинтересен, ибо работу за него проводили ученые генштабисты. Но его железная воля, «укрепленная» частым употреблением коньяков и морфия, помогала ему безжалостно задраивать пробоины фронта живым человеческим материалом. В Берлине решили использовать семейную распрю Романовых — борьбу между дядей и племянником за должность главнокомандующего. На русских солдат хлынул с неба ливень немецких листовок:

«СОЛДАТЫ. В самых трудных минутах своей жизни обращается к вам, солдатам, ваш царь.

Возникла сия несчастная война против воли моей: она вызвана интригами великого князя Николая Николаевича... я не согласился бы на объявление войны, зная наперед ее печальный исход для матушки-России...

Солдаты! Отказывайтесь повиноваться вашим вероломным генералам, обращайте оружие на всех, кто угрожает жизни и свободе вашего царя, безопасности и прочности дорогой Родины.

Несчастный ваш царь — НИКОЛАЙ».

Ставку навестил генерал Джунковский, у которого в сознании был небольшой вывих — относительно Распутина.

— Гришка — это сложнее, нежели мы думаем,— сказал он главковерху.— Это орудие тайного масонского сообщества, которое использует Распутина в целях разрушения нашего государства. Перед войной в Брюсселе состоялся международный конгресс масонов, а в резолюции съезда один пункт был целиком посвящен Распутину, и сказано: вполне пригоден для целей свержения цезарей...

Николай Николаевич ответил Джунковскому:

— Чепуха! При чем здесь масоны? Я сам виноват. Во время революции, когда мы все, чего греха таить, растерялись, я решил, что царю полезно слышать «глас божий — глас народный»... Вот и втащил жулика в Александрию. Теперь же, сколько ни бубню царю, что Гришку надо убрать, получаю непроницаемый взгляд и сухой ответ: «Я все знаю, но не надо вмешиваться в мои семейные дела...»

. . . . . .

2 января 1915 года, время — 17.20... Ударил гонг, и дачный поезд из Царского Села тронулся в столицу. Вырубова ехала в первом от паровоза вагоне, до Петербурга оставалось шесть верст... «Вдруг раздался страшный грохот, и я почувствовала, что проваливаюсь куда-то вниз головою и ударяюсь о землю, ноги же запутались, вероятно, в трубы отопления, и я чувствовала, как они с хрустом переломились». Вырубовой не повезло — под нею провалился пол вагона, и, пока поезд не остановили, женщину волокло между колес по шпалам. С помощью казаков ее высвободили из обломков. Вырубову рвало кровью. Она просила позвонить царице и родителям... Первой ее навестила надменная княгиня Орлова, облаченная в костюм сестры милосердия. Аристократка приложила к глазам лорнетку, сказала: «Отбегалась, матушка!» — и ушла. Любимая врачиха царицы, княгиня Гейдройц, ложкой раздвигала губы Вырубовой, проливала мимо рта дорогой коньяк и грубо орала:

— Да разожмите свои зубы, черт бы вас побрал!

Студенты-санитары запихнули искалеченную в теплушку, где ее с трудом отыскал генерал Джунковский; он сказал, что царица с дочерьми найдут минутку (!), чтобы с ней проститься (!).

— Вам камфару давали? — спросил он.

— Умираю... дайте святого причастия.

— Ну, я не священник,— ответил Джунковский...

В больнице ей ампутировали ступню. Предупредили, что, если не поможет, то отхватят и выше — до колена. Но почему не придет Распутин, который, аки Христос, избавит ее от страданий? По ночам она орала: «Отец, отец... помоги... помолись за меня!» Гришка пришел однажды в палату, и Вырубова выпалила ему в лицо, что он обманщик: если б мог, то положил бы предел ее боли...

— Жить будешь,— посулил Распутин,— но калекой!

Гришке было сейчас не до нее: он хотел поставить императора во главе Ставки, пусть царь застрянет в делах военных, а тогда он с царицей приберет к рукам все внутренние дела империи. Всюду теперь Распутин трубил: «Коль немца нам не осилить, знать, Николаша богу неугоден...» Ставка тоже не дремала, и средь генералов уже не раз возникала мысль устранить Гришку самым конкретным способом — пулей! С фронта прибыл ротмистр Образцов, который и засел на «Вилле Родэ», подкарауливая Распутина в общем зале ресторана... Но револьвер дал осечку, свора охранников накинулась на Образцова, офицер встал в дверях ресторана и, прощелкав полный барабан нагана, заявил спокойно:

— Убью любого, кто шевельнется... не подходить!

Он накинул шинель и отбыл на фронт — в окопы.

— Осечка? — говорил Распутин.— Это не осечка. Меня сам бог бережет... Ерунда все...

2. ШТАБ-КВАРТИРА ИМПЕРИИ

В начале войны Гришка прочно обосновался на Гороховой улице (дом № 64, квартира № 20), и обычная питерская квартира стала «штаб-квартирой империи». Легче было выяснить, что думает сейчас Сухомлинов, нежели узнать номер телефона Распутина — 646-46, который не указывался в городских справочниках, да и сам адрес Гришки был засекречен. Чтобы замаскировать его от излишнего любопытства публики, царь изменил ему фамилию — по паспорту он Новых. Распутинское жилище выдавало лишь особое оживление шпиков, несколько автомобилей возле подъезда да усиленная охрана дома, которую узнавали по серым тужуркам, по кепкам особой формы... Понимая, что целостность его шкуры во многом зависит от Степана Белецкого, он сам позвонил ему однажды.

— Слышь, хватит встречаться то у Мануса, то у Побирушки, давай сповидаемся как следовает — в ресторане.

— Я не могу. У меня сын болен,— отвечал Белецкий.

— А я помолюсь. Глядишь, и поправится...

Рядом, округлив глаза, стояла жена Белецкого.

— Вешай трубку,— приказала она.

Степан повесил трубку, начал перед ней оправдываться:

— Не думай обо мне так... Я же знаю, какая это гадина! Через мои руки ежедневно проходят филерные листки — день за днем, час за часом. А я ведь, Ольга, клялся тебе перед богом...

Начался 1915 год; филеры шли за Гришкою по пятам, точно фиксируя его шаги, слова, обеды, выпивки, встречи:

Распутин на 50 минут посетил бани в д. № 3 по 4-й Рождественской ул., но был ли один или с кем-либо, наблюдение не установило.

Распутину принесли 1000 рублей от поставщика угля на флот Мозеса Гинзбурга.

Аарон Симанович принес Распутину несколько бутылок вина. Был вечер в честь каких-то евреев, освобожденных Распутиным из тюрьмы, пели песни, плясали и кому-то аплодировали.

Фон Бок с неизвестным привез Распутину ящик вина.

К этому добавлю, что вдовая царица Мария Федоровна, проживая в Киеве, тоже подключилась к шпионажу. Похаживая по квартире в кальсонах, Распутин никогда бы не подумал, что прекрасная княжна Шервашидзе с длинными ногтями, покрытыми перламутровым лаком, не только чистит для него на кухне селедку — она еще и является тайным агентом императрицы Гневной! А за все годы войны Распутин ни копейки не истратил на еду и питье. Он сам и вся его семейка совершенно не знали, сколько стоит хлеб или керосин. Паразиты не ведали, как это бегать в лавку за продуктами, стоять в очередях. Было заведено, что гости должны нести в дом Распутина кто что может — вот и тащили, начиная от кислой капусты и огурцов до анчоусов и ананасов.

. . . . . .

Навестим и мы, читатель, «штаб-квартиру империи».

— Эй-эй! Вы к кому? — спрашивают нас филеры в подъезде.

— Мы-то? А мы к Григорью Ефимычу.

— А-а-а... Третий этаж.

Дверь нам открывает Нюрка — племянница Распутина. «А вам назначено?» — задает она вопрос, будто мы явились на прием к врачу. Сядем же в сторонке на продавленный диван, обтянутый коричневым кретоном, и оглядимся. Общество в основном дамское. Мунька Головина, покуривая папиросу, кажется здесь самой скромной. Трепещут складки модного крэп д'эшина на платьях дам, мерцают соболя и шиншиллы, горят бриллианты самой чистой воды.

Оставим дам. Очень интересен стол. Громадный самоварище клокочет паром. Дамы тянут к нему свои стаканы, ибо считается, что от перстов Гришки проистекает благодать. Звенят ложечки, слышен смех. На столе — кавардак: початый торт, возле него миска с кислой капустой, грудой навалены обкусанные баранки и черные сухари. Много вареной картошки. А рядом с нею, словно принцесса на бандитском пиру, затаилась свежая клубника от Елисеева. Распутин восседает чин по чину во главе стола, на нем крестьянский армяк на подкладке из алой парчи.

С лестницы квартиру оглашает звенящий голос:

— Спаситель ждет ли возлюбленную свою?

У Распутина сразу портится хорошее настроение:

— Вот зараза... Говорил, чтоб ноги ее не было!

Вваливается Ольга Лохтина в платье из мешковины, на голове клобук, а на шее — двенадцать Евангелий, как вериги, которые висят на скорбном вервии, шелестя прочитанными страницами.

Явился семинарский учитель из провинции, которого далее прихожей Нюрка не пустила. Шепотком, часто всхлипывая, рассказывал о своих обидах, про-

сил защиты. Распутин выслушал кое-как, широко взмахнув лиловыми рукавами шелковой рубахи.

— Ох, не люблю я просвещениев разных... Ну, ладно.— Шаркая шлепанцами, прошел к себе в кабинет, где два необходимых предмета — здоровущая кровать и жиденький столишко. Присев, накостылял на бумаге палок и крючков, вынес «пратецю» к учителю.— Ступай к Саблеру... Он все знает.— При этом сунул еще и пятерку.— Вижу, что худ ты. Держи.

— Что вы, что вы! Как можно...

— Держи, коли я говорю... и больше не ходи!

А вот уже и новый проситель. Стоял перед ним старичок в вицмундире, боязливо помаргивая.

— Батюшка, мне бы в сенаторы... Бывал я губернатором в западных областях, да злые люди, подчиненные, оклеветали меня.

— И верно! Воровал. Не спорь — по глазам вижу.

— Оклеветали...: Помоги, кормилец. Замолвь словечко.

— Не! За тебя не стану. Не понравился ты мне.

Снова звонок. Нюрка побежала отворять двери. Дамы видели, что в прихожей, не раздеваясь, ходят, словно хищники в клетке, очень важные гости: блестит изморозь на енотовых шубах, стучат в руках трости, а голоса — крепкие, здоровые, настоятельные.

— Дядь Гриша,— вбежала Нюрка,— это тебя...

— Да не пойду я с ними,— заартачился Распутин.

В двери просунулась квадратная голова Мануса, он блеснул золотыми коронками зубов, сказал тихо, но уверенно:

— Григорий Ефимыч. Таксомотор. Ждет. Отдельный. Кабинет. Заказан. Разговор. Предстоит. Серьезный. А певички будут...

Распутин оглянулся на своих дам.

— Да у меня ж гости.

Нюрка, имевшая с этого дела, кажется, свою личную выгоду, грубо схватила всемогущего дядю за подол, выпихнула его в переднюю. Нахлобучила на него бобровую шапку. Распутин безвольно растопырил руки, девка напялила на него роскошную шубу, приговаривая:

— Нет, пойдешь, коль обещал. Да чтобы мне дома ночевал! Матри, не загуляй, как нонеча. Тады опять Федоровне нажалуюсь...

Какой Федоровне? Жене — Прасковье Федоровне? Или царице — Александре Федоровне? Распутин ушел, а дамы стали посматривать на часы, говоря одна другой, что в связи с этой войной у них столько дел... вообще тяжело! А по комнатам, задрав хвосты, разгуливали серые, рыжие, белые, черные кошки — любимицы Распутина, и время от времени кошки шипели, чем-то недовольные.

Парашка приезжала в Петербург не чаще чем один раз в году, да и то не задерживалась. При жене Распутин себя ни в чем не стеснял, продолжая вести обычный образ жизни. Жена не обращала на это никакого внимания и даже не раз говорила при гостях: «С него на всех хватит, и мне кусочек останется». В последний свой приезд она оставила в Питере подросших дочерей — Матрену и Варвару; гостил и сын Дмитрий, о котором Распутин говорил: «От бога он дурачок: палец покажи — смеется!» На Гороховой быт Распутина окончательно оформился, а Мунька Головина (министр его внутренних дел) посильно помогала ему. Заметив неуступчивость какой-либо дамы, Мунька иногда отзывала ее в сторонку.

— Предупреждаю по-дружески, что Григорий Ефимыч ваши просьбы исполнить не может. Без любви нет у него силы, а без силы нет удачи. Понимаю, что боитесь изменить мужу, но поймите, что старец не грязнит, а лишь освящает тело... Уж я-то знаю: все мужчины в этот момент думают только о себе, а наш старец думает о боге. Откройтесь ему и познаете великую тайну!

. . . . . .

Но бывала на Гороховой пожилая дама, на которую Гришка не кричал «пошто без декольты пришла?». Она появлялась неизменно с черного хода, со стороны кухни, и не сразу поднимала с лица плотную сетку непроницаемой вуали. «Посторонних нету?» — спрашивала... Это была графиня Матильда Витте, жена экс-премьера. В один из дней она позвонила Симановичу, чтобы он навестил ее мужа. Витте уже превратился в мешок из дряблой кожи, внутри которого загнивали немощные суставы и сухожилия, но еще интриговал, желая вернуть себе власть над громадной страной.

— У меня созрел план, который вас заинтересует,— сказал он Симановичу,— а еврейский вопрос, сами знаете, всегда был для меня очень дорог. Я хочу нейтрализовать влияние газеты «Новое время», устройте мне тайное свидание с Григорием Ефимовичем!

«Новое время», верная заветам А. С. Суворина, ругала не только евреев, но и самого графа. «При этом,— вспоминал Симанович,— Витте должен был обещать мне, что если нам удастся провести его опять к управлению государственным кораблем, он будет сотрудничать с нами (читай — сионистами)... Он согласился еврейский вопрос поставить на первый план!» Симанович уговорил Вульфа Хайта съехать с квартиры, а ключ от хайтовской квартиры переслал графу. В определенный день, в условиях глубокой тайны, здесь встретились трое.

Сразу перешли к делам. Витте сказал, что немилость двора к нему сейчас сильно возросла, ибо он всюду открыто вещает о глупости этой войны. Распутин — через стол — поцеловал графа.

— Вишь ты,— сказал,— я тоже войны боюся. Но что делать? Папа не меня, а других слухал. Каго же нам, как не тебя, Виття, наверх вздымать, чтобы войны не стало?..

Витте завел речь о «Новом времени»:

— Самая популярная газета в России и самая вредная. Она травила меня и евреев, а сейчас призывает народ отдать все силы войне... Необходимо ее обезвредить! Положение семьи Суворины в финансовом смысле сейчас затруднительно. Мне известно, что они уже ходили к Барку и хлопотали о выдаче им правительственной ссуды под залог суворинских акций.

— Я в энтих акцах ни шиша не смыслю, Виття.

— Вы только поддержите нас,— ответил Витте загробным голосом,— а уж с акциями Суворинespecially мы сами разберемся... Вы можете собрать шекель с евреев? — спросил он Симановича.

— Хоть завтра. Деньги будут. Сколько угодно.

— Отлично. Завтра же начинаю... потихоньку.

План был прост. Витте станет подпольным хозяином газеты, которая превратится в рупор банкиров-сионистов. А так как «Новое время» читала вся Россия (от царя до дворника), то следовало ожидать, что скоро евреи научат тетю Дашу, как выпекать мацу, а дяде Васе они подскажут, как ему лучше всего веселиться на празднике йом-кипур... Но Распутин никак не мог вытянуть Витте из затяжной отставки! «Если я уберу Горемыкина и назначу Витте,— говорил Николай II,— это для всего мира прозвучит как сигнал военной слабости России... как мирное предложение Германии! Меня убьют мои же генералы, убьют вместе с женой, как убили в свое время сербского короля Александра с его Драгой!»

На Гороховой у Распутина собрались дельцы сионистского мира, они притащили с собой скульптора Наума Аронсона, который с большим пылом взялся увековечить нетленные черты старца.

— Кошельки-то вы пошире разиньте,— сказал Распутин.— Вам же польза будет. Эвон, мне Сазонов Егорка сказывал: в Америке ваш брат уже все газетки скупил, оттого евреи что хотят, то и делают... Сенаторы тамошни знай себе поворачиваются!

За кулисами русской политики Витте действовал так энергично, будто ему еще жить да жить. Но вскоре понял, что дни его сочтены, и суворинские акции уступил Митьке Рубинштейну (о чем семья Сувориных, конечно, не знала). Жестоко отомстив газете за ругань, граф Витте умер от воспаления уха, перешедшего в менингит. «Новое время» юридически уже находилось в сионистских руках, но Рубинштейн еще не знал, как приступить к делу практически. Пока что он принюхивался к газете через своего давнего агента Манасевича-Мануйлова, который, кстати, информировал и Степана Белецкого, а тот... молчал, потому что уже получил анонимку: «Делай, что хочешь, сажай, кого хочешь, а нас не трогай. Иначе измордуем и оплюем». Это была мафия...

3. УБИЕНИЕ «НЕВИННЫХ» МЛАДЕНЦЕВ

Оставив терзать Францию, весь 1915 год Германия посвятила перемалыванию русских фронтов. Немцы пустили «рвотные» газы, австрийцы вели подлый огонь разрывными пулями. От таких пуль раны страшные. Теперь, если брали в плен австрияка, в подсумке которого лежали пачки «дум-дум», его расстреливали на месте. Вена объявила, что за каждого австрийца будут убиты два русских пленных. В феврале 1915 года Николай Николаевич издал приказ: за каждого убитого в Австрии пленного он будет вешать четырех, благо «у нас австрийских пленных на это хватит». Чтобы спасти положение, верховный мотался по фронтам, страшно материл офицеров, срывал погоны с плеч генеральских, револьвером гнал людей в бесплодные атаки. Про него рассказывали, что вечером он с бычьим хлыстом в руке залетел в ресторан Варшавы, где кутили «окопники», и ударами хлыста всех офицеров, словно собак, разогнал по своим частям. Неосвещенные промерзлые вагоны вывозили с фронта искалеченных.

Был февраль, когда немецкая армия перешла в атаку на Августов, на Вержболово, на Сувалки; Берлин готовил «мешок» для нашей 10-й армии, но корпус генерала Булгакова встал на пути Гинденбурга словно каменный, и, выбитый весь без остатка, он позволил армии выйти из окружения, а линия фронта застыла на линии Ковно — Осовец... В рядах этой 10-й армии служил и Мясоедов.

Черного кобеля не отмоешь добела. Это я говорю адвокатам Мясоедова, которые не убедили меня своим красноречием. Но даже если зачеркнуть все подозрения в шпионаже, то все равно (я убежден в этом!) полковник Мясоедов достоин только одного — чтобы его повесить.

. . . . . .

Генерал-лейтенант Советской Армии М. Л. Бонч-Бруевич перед смертью вспоминал: «Я приказал контрразведке произвести негласную проверку и, раздобыв необходимые улики, арестовать изменника». В документальной книге «250 дней в Царской Ставке» большевик Михаил Лемке писал: «Дело Мясоедова поднято и ведено главным образом благодаря настойчивости Бонч-Бруевича, а помогал Батюшин» (это тот самый генерал Батюшин, который на маневрах германской армии вытащил из кармана Вильгельма II записную книжку, моментально сфотографировал ее и вложил обратно в карман кайзера, который так ничего и не заметил).

Мясоедов сам напросился в 10-ю армию, которая держала позиции близ пограничного Вержболова; он служил в армейской разведке. В основном же, хорошо зная богатые прусские усадьбы, занимался мародерством. Грузовиками и вагонами вывозил посуду и картины, книги и фарфор, полковник-жандарм не гнушался сдирать даже занавески с окон. Раскатывая вдоль фронта на автомобиле, Мясоедов не догадывался, что шофер и два солдата, услужавшие ему,— это офицеры контрразведки, обладавшие большой физической силой... На крыше дома мясоедовского тестя Самуила Гольдштейна обнаружили нацеленные на Германию радиоантенны, а вскоре Бонч-Бруевич вскрыл перехваченное письмо от «преданного Бориса». Мясоедову писал родственник его жены Борис Фрейдберг, прося срочно выехать в Ригу, телеграфируя о своем выезде на либавский адрес. Мясоедов стал поговаривать, что ему надо бы заглянуть в Дембову-Руду под Вильной, где размещался штаб новых воинских формирований. Завели мотор и поехали... Было ясно, что Мясоедов готовит пакет сведений для «Бориса». На одной из литовских мыз Мясоедов «был пойман на месте преступления. Пока владелец мызы разглядывал переданные полковником секретные документы, один из переодетых офицеров как бы нечаянно вошел в комнату и схватил Мясоедова за руки. Назвав себя, офицер объявил измен-

нику об аресте...». Сразу же были взяты под стражу его родственники и сообщники по службе в «Северо-Западном пароходстве» — этом гнезде шпионажа; контрразведка вывезла с квартиры Мясоедова целых три телеги бумаг... Мясоедов все отрицал! Он не думал, что идет к трагической развязке, и держался нагло, не давая точных объяснений о своем подполье. Лишь когда ему называли богатых евреев из Германии, связанных с фирмой его тестя, полковник начинал путаться, ссылался на плохую память.

Следователи не обратили внимания на сцепление некоторых обстоятельств. Мясоедов, оказывается, не раз навещал Распутина — на Гороховой (и на Английском проспекте, где тот жил раньше), а вся свора его помощников, арестованная вместе с ним, была *идейно* связана с финансовым окружением Распутина; если при этом вспомнить, что в охране Распутина служили германские агенты, то подозрения еще больше усиливаются...

Дело о предателе передали в Варшавский окружной суд, но тут вмешался главковерх, велевший судить мерзавца военно-полевым судом — без канители! Ставку запросили — будет ли верховный утверждать приговор? Николай Николаевич отвечал, чтобы вешали без его санкции. На суде Мясоедов сознался в мародерстве (но только в этом). Хотя и тут он нашел себе оправдание: «Не один я так делал — все хватали что видели...»

Суд вынес приговор — смерть через повешение.

Мясоедов попросился в уборную. Там он разбил пенсне и осколком стекла перерезал сонную артерию. Его наскоро перевязали и, всего в бинтах, залитого кровью, потащили на виселицу. «Не винова-а-ат!» — кричал Мясоедов; его повесили, а за компанию с ним вздернули и его друзей-приятелей. Пресса оповестила:

«Соучастники казненного государственного преступника Мясоедова Борис Фрейберг, Шлиома и Аарон Зальцманы, Отто Ригерт, Давид Френберг, Роберт Фальк, Матеуш Микулис приговорены военным судом к смертной казни через повешение. Приговор приведен в исполнение... Жена казненного Мясоедова, Клара Мясоедова, осуждена к ссылке на поселение».

Берлин заявил, что обвинения Мясоедова придуманы русской Ставкой, чтобы свалить Сухомлинова! А сионисты утверждали, что генералы-антисемиты обвинили Мясоедова с единой целью — дабы иметь большое удовольствие повесить бедных евреев.

. . . . . .

Распутина срочно вызвали на квартиру юриста Слиозберга, где собрался весь «цвет» денежной верхушки еврейского капитала и петербургские раввины — Эйзенштадт и Фридман. Распутина сионисты буквально оглушили стенаниями и звонкой бранью, сыпавшейся на головы русского верховного главнокомандования.

— Нас уже стали вешать! — кричали они.

— Что могу, то я сделаю,— отвечал им Распутин...

Симанович писал: «Делегаты продолжали свои жалобы против Николая Николаевича и просили Распутина избавить еврейство от его преследования... Распутин встал и перекрестился. Это означало, что он дал клятву помочь нам. В глубоком волнении объяснил он, что Николай Николаевич будет отстранен от должности вождя русской армии... «Тогда царь возьмет на себя командование армией, и мы сможем сделать что-либо для евреев»,— сказал он. Все присутствующие были потрясены этим обещанием». Аарон Симанович тут же выступил перед собранием с дельным предложением:

— Евреи, кладите сто тысяч для нашего друга!

«На другой же день Мозес Гинзбург внес в один из банков на имена дочерей Распутина по 50 000 рублей». Казнь Мясоедова имела глубокий подтекст. Если даже Николай Николаевич и повесил Мясоедова едино ради устранения Сухомлинова, то ядро, запущенное им в министра, рикошетом должно поразить и самого верховного. Против командования русской армии сразу ополчилась темная сила, в которой воедино совместились царь с царицей, Распутин с сионистами... Симанович деньги-то давал, но при этом держал Гришку за глотку, требуя от него «сдачи». Распутин знал, что с коровой, которая дает молоко, надо быть ласковым. При его содействии сионисты образовали в городе Луге (под Петербургом) особый центр по призыву евреев в армию. «Все члены комиссии,— писал Симанович,— были назначены по указанию Распутина, и если к ним попадался призываемый, на бумагах которого имелся мой условный знак, то такого обязательно освобождали». Но этого им показалось мало,— в Петербурге заработала подпольная фабрика по изготовлению фальшивых дипломов на звание зубных врачей; владелец такой бумаги, по тогдашним законам, не подлежал призыву! А в карман Распутину текли деньги... В этом году он заявил, что старшую дочку Матрену отдаст только за еврея, и вскоре на Гороховой появился жених Абрам Давидсон — тот самый репортер, что был в Покровском при покушении Хионии Гусевой. Но, как выяснилось, он сватался лишь ради сенсации, чтобы подзаработать на ней, и тогда Распутин, верный своим догмам философии жизни, набил ему морду и спустил вниз по лестнице, где жених угодил в лапы филеров, которые ему еще добавили... Это было, так сказать, богатое приданое за дочкой Распутина!

Душно. Хочется глотка чистого воздуха...

. . . . . .

Историки пишут с заглавных букв — Великое Отступление!

Гинденбургам и людендорфам не удалось поколебать удивляющую весь мир железную стойкость российского воина-солдата...

Под белым флагом парламентера в крепость Осовец явился германский офицер и сказал генералу М. С. Свечникову:

— Мы даем вам полмиллиона имперских марок за сдачу фортов. Поверьте, это не взятка и не подкуп — это простой подсчет, что при штурме Осовца мы истратим снарядов на полмиллиона марок. Нам выгоднее истратить стоимость снарядов, но зато сохранить сами снаряды. Не сдадите крепость — обещаю вам, через сорок восемь часов Осовец как таковой перестанет существовать!

Свечников ответил парламентеру вежливо:

— Предлагаю вам остаться со мною. Если через сорок восемь часов Осовец будет стоять, я вас повешу. Если Осовец будет сдан, пожалуйста, будьте так добры, повесьте меня. А денег не возьмем!

Немцы подвезли осадные мортиры, глотки которых имели в радиусе 42 сантиметра. Осовец стал похож на работающий вулкан, из его амбразур высвистывало длинные языки огня, от нестерпимого жара в округе крепости пересохли болота, из возникших воронок диаметром в 12 метров вдруг забили родники, разбужированные сотрясением почвы. Целые рощи деревьев взлетали кверху... Немцы выпустили 200 000 снарядов по «пятачку», но Осовец выстоял, а высокий дух гарнизона не поколебался. Тогда немцы закутали крепость в плотное облако газа — это был хлор с примесью брома, мощное средство поражения. Все живое на много миль в округе пало замертво. В муках умерли волки и лоси, не стало в лесах косуль и зайцев, даже воробышек нигде не чирикнет. Но солдаты геройского Осовца (даже без противогазов!) выстояли в ядовитой отраве, укрываясь от газа в складках старинных стен и прячась в подземелье фортов... Их доблестный командир М. С. Свечников — это будущий профессор Военной академии имени Фрунзе в Москве, солдаты же его — это отцы тех, что держали оборону Бреста в 1941 году! Героизм всегда преемствен: из ничего ничего и не рождается. А многие из кавалеров солдатского Георгия в 1945 году дошагали до Берлина кавалерами ордена солдатской Славы...

4. ПОКЛОНЕНИЕ СВЯТЫМ МОЩАМ

Маклаков пожелал видеть Джунковского.

— Владимир Федорович, эм-вэ-дэ получило агентурные данные, что жена хулигана Илиодора-Труфанова собирается вслед за ним за границу. Кажется, она везет дополнительные материалы о Распутине... Ее надо задержать, обыскать, все изъять!

— Хорошо,— согласился Джунковский. Шеф корпуса жандармов, он имел неограниченные возможности. Когда его собственная агентура доложила, что жена С. Труфанова благополучно миновала границу, он обманул Маклакова.— К сожалению, мы опоздали. Наблюдение не сработало, и эта баба проскочила под шлагбаум.

— Жаль! В этом была заинтересована императрица...

В начале весны Распутин поделился с царицей:

— Кады Илиодоркина дура пырнула меня ножиком, я в больнице обещал богу, что коли кишки срастутся, так я поеду до Москвы да в Кремле поклонюсь мощам святого патриарха Гермогена.

Соврал ты, Гришенька! Не мощи, а громадный барыш от поставок нательного белья для армии манил тебя в Москву. Я нарочно не писал о безобразиях Распутина, приберегая силы для этой главы. Прогремевший на всю Россию скандал у «Яра» в московских Сокольниках имел большое значение для дальнейших событий...

. . . . . .

Уведомившись, что старец прибывает в первопрестольную, дабы коснуться мощей угодников, московский градоначальник, генерал свиты Адрианов, спал отныне вполглаза. Полиция находилась в состоянии беспокойства и нервотрепки. Наконец купец Тарарыкин (владелец ресторана «Прага», что на Арбате) доложил градоначальнику по телефону, что Распутин уже осчастливил его своим посещением.

— Однако Ефимыч ни за что не платил, а счет за ужин велел переслать на ваше имя,— сказал ресторатор.

— Нахал! — ответил Адрианов, но счет оплатил...

Распутин повидался с нужными людьми. Это был редактор сплетницкой газетки «Новости сезона» Семен Лазаревич Кагульский и забулдыга из дворян — Коля Соедов, автор горячих и актуальных репортажей о случаях воровства в магазинах и драках в пивных. Распутин сказал этим подонкам, что в высших сферах устроит им хороший чистоган с поставок белья, но... «Меня не забывайте!» — заметил он. Кагульский сразу сунул ему в карман тысчонку.

— Григорий Ефимыч, такое дельце надо спрыснуть.

— Не без энтого,— захапал деньги Распутин.

Семен Лазаревич звал ехать к «Яру», владелец которого, Судаков, обещал ему отвести для Распутина отдельный кабинет.

— А я,— сказал Соедов,— напишу статью о похвальных действиях московской полиции и лично градоначальника Адрианова.

— Это зачем же тебе? — спросил Распутин.

— Пускай всем нам будет приятно.

— А-а... ну, тады валяй. Пиши! — разрешил Распутин.

Компанию поставщиков белья украсили женщины, средь которых была аристократка (имя ее полиция в своих донесениях скрыла), дряблая купчиха Анисья Решетникова, две еще какие-то крали и Гришкина любовница Елена Францевна Джанумова, вступившая с ним в связь, чтобы он помог вытянуть из Сибири ее родителей, сосланных за шпионаж в пользу Германии.

Заняли кабинет — честь честью.

Семен Лазаревич подлил ему винца и запел:

Выпьем мы за Гришу,
Гришу дорогого.

Присутствующие с большим желанием подхватили:

Свет еще не видел
Милого такого!

Аристократка (имя которой неизвестно) без улыбки на лице наблюдала за ним. Распутин сказал, что завтра придет к ней.

— Пожалуйста,— тихо отвечала женщина.

Соедов проявил волнение, свойственное алкоголикам:

— Что-то мы мало пьем. Что-то мало едим.

Распутин воткнул в рот бутылку, высосал до дна.

— Давай вторую,— и второй не стало.

Кагульский и Соедов вывели его в общий зал, дер-

жа под локотки, как патриарха, который является к своей пастве со словом святого откровения. Публика в ресторане оживилась:

— Распутин... Вон этот... с бородой... ах!

Оценив внимание к своей особе, Гришка выхватил из кармана штанов пачку денег, быстро раскидал червонцы в хор балалаечников, сотенные бумажки с хохотом ловили цыганские певички. Вскоре аристократка, не выдержав, подозвала к себе лакея.

— Быстро выпишите счет.

— За весь кабинет? — спросил он.

— Да, за весь...

Почуяв, что женщина пренебрегает им, Распутин, «взбешенный, шатаясь, произвел неприличный жест рукой... Светская дама бросила на стол пачку денег, далеко превышавшую итог счета, и поспешно вышла. Цыганки вышли вслед за нею» (из протокола полиции). Так поступают умные люди. А глупые радуются, и нашлись дураки, которые даже забрались на пальмы, как обезьяны, чтобы лучше видеть все безобразия. При этом, как докладывала агентура, хозяин ресторана Судаков, желая избежать скандала, стал азартно (и не к месту) уверять публику, что это не Распутин, а какой-то самозванец... Гришка сразу взревел от горчайшей обиды:

— Это я-то не Распутин? Да я самый настоящий...

А чем Распутин мог доказать, что он Распутин? Полицейский отчет гласит, что Гришка «обнажил половые органы и в таком виде продолжал вести беседы с певичками, раздавая некоторым из них записки с надписями «люби бес корыстно». На замечание хора о непристойности поведения Распутин возразил, что он всегда так и держит себя перед женщинами; при этом, чтобы ему поверили, он «называл по фамилиям женщин, которые ему отдавались, сообщая о каждой какую-либо деталь, смешную или скабрезную...». Соедов активно уговаривал Распутина еще «дернуть по маленькой», а издатель газеты Кагульский предпринял попытку застегнуть на Распутине штаны, но потерпел в этом фиаско...

...Судаков позвонил Адрианову.

— Был он у меня. Страшно рассказывать.

— По счету уплатил? — забеспокоился градоначальник.

— Я бы сам,— отвечал Судаков,— заплатил ему в десять раз больше, только бы он не бывал у моего «Яра»...

Проломив рогатки цензуры и не щадя нравственности читателей, газеты опубликовали смачные подробности скандала у «Яра», а в Петербург полетели доношения под грифом «сов. секретно». Поклонение московским мощам пошло все-таки на пользу Распутину, и, заработав на поставках белья для фронта, он впер к себе на третий этаж рояль. С удовольствием разглядел свою персону в отражении черной лакированной крышки. Сказал:

— Это вам, доченьки! Мотри, как батька-то для вас старается. Последнее готов с себя снять...

. . . . . .

Все документы о скандале сконцентрировались в сейфе шефа жандармов Джунковского; с докладом к царю он прошел в приемную императора, где случайно напоролся на Распутина.

— А-а, ты здесь... Тебя-то мне и надобно!

Нервный генерал по всем правилам бокса нанес острый хук в подвздошину. Распутин от боли открыл рот, но... безмолвствовал. Свинг в челюсть склонил его голову на левое плечо. Джунковский прямым снизу поправил ее — и она повисла на правом плече. Последовал заключительный апперкот — Распутин мешком осел на пол. В англизированной свите царя оценили все по достоинству:

— Поздравляем. Нокаут.

В подробном докладе царю Джунковский сознательно выделил в нем те места скандала, где Распутин похвалялся своим влиянием на царицу и на придворных дам. Николай II сказал:

— Прошу вас, пусть это останется между нами...

Джунковский закончил речь обычными рассуждениями о том, что за спиною Распутина стоит некое таинственное сообщество «жидо-масонского» толка (это был пункт его помешательства).

— Я все это проверю,— обещал ему царь...

Степан Белецкий оживил эту картину: по словам Распутина, государь после этого долго не пускал его к себе на глаза, и поэтому Распутин не мог слышать или говорить спокойно о генерале Джунковском до конца своей жизни. Но, никому не веря, Николай II поручил Саблину разобраться в докладе Джунковского.

— Я знаю, Григория не любят. Где ложь, где правда?

Саблин, опытный арбитр в семейных делах Романовых, нашел в себе смелость подтвердить правоту доклада Джунковского:

— Государь, Григорий Ефимыч у «Яра» *превзошел сам себя...*

Императрица пожелала видеть Саблина.

— Что ты там наболтал моему дураку?

Вечером Саблину влетело еще и от Мануса.

— Вы сделали большую глупость,— сказал капиталист.— Как можно отзываться о Распутине дурственно, если...

— А ну вас всех к черту! — вспылил офицер «Штандарта».

Опираясь на костыли, притащилась Вырубова.

— Ты подумай, Аня,— расплакалась царица,— опять целый воз грязи навезли к нашему порогу. Конечно, кто спорит, у «Яра» и бабы были, не без этого, но... при чем же здесь Григорий?

— Это была нечистая сила,— заверила ее Вырубова.

— Конечно! Любой другой, попади он к «Яру», не ушел бы оттуда живым, и только божественный промысел помог Григорию спастись... Я даже знаю, кто подстроил ему эту ловушку!

— Кто? — оживилась Вырубова, гремя костылями.

— Московский градоначальник Адрианов.

— Ах, так? Ну, он у нас еще попрыгает. Он еще у нас попляшет.

. . . . . .

Петербург в это время был потрясен страшным взрывом на Пороховых, так что даже в Царском Селе вздрогнул дворец; санитары долго собирали обезображенные трупы; Алиса рассылала семьям погибших рабочих иконки. Затем 9 мая взорвался эшелон с боеприпасами в Гатчине, причем разнесло все дачи возле путей, и тут вспомнили, что эшелон несколько раз загорался еще в столице — перед отправкой. Наконец, громыхнул третий взрыв — на Охтенском заводе, опять кровь и жертвы... Все понимали, что немецкая агентура творит в Питере что хочет. Распутин дал царице совет: «Скажи папе, чтобы газеты не ругали немцев за эти взрывы. Война столько зла принесла, так на што это зло усиливать? Ну, рвануло. Ну, отскочить не успеешь. Ну, сдохли. Ну и бог с ними...» Он подарил царице икону с колокольчиком: «Коль дурной человек явится, сразу звон услыхаешь». А царю он подарил палку, купленную на Афоне: «Носи! Эту дубину я благословил...»

5. ОТКРЫТЫЕ СЕМАФОРЫ

Немцы, немцы, немцы — они так обжили государственное правление, что высшая власть казалась уже немыслимой без приставки «фон-цур». Знаю, что средь обладателей немецких фамилий были светлые, одаренные личности, любившие Россию не меньше русских, которых порою даже угнетало их немецкое происхождение, тянувшееся от предков, выехавших на Русь с незапамятных времен. Но была и мутная накипь, гнилая мякина, от которой не знали, как избавиться... Что долго говорить! Вот, пожалуйста: министр императорского двора граф Фредерикс! От слабоумия путал окна с дверями. Однажды он уже сделал шаг... в окно (успели перехватить за фалды мундира). А недавно он опять отличился. Подошел к самому императору и потрепал его по плечу:

— А тебя тоже пригласили к столу царскому?..

Николай II в этом случае показал себя либералом:

— Куда ж мне его деть? Он так предан мне...

. . . . . .

Никто в Думе не ожидал, что Хвостов распечатает свои уста, но лидер правых заставил всех невольно вздрогнуть:

— Народ ропщет: «Сами продались и нас продали!» Я говорю о немецком засилье в стране, о германском шпионаже в России... Доколе же? — Хвостов не был голословен и бил точно по цели — по немецким банкам, по промышленным синдикатам, в тени которых затаилось мурло германских капиталистов. Основной удар он обрушил на электротехническую промышленность, издавна бывшую в подчинении немецкого капитала: «Сименс и Шуккерт», «Сименс и Гальске», «Всеобщая компания электричества», «Общество электроэнергии 1886 года» — ни один выстрел Хвостова не пролетел мимо «яблочка».— Мы включаем в квартире свет, мы покупаем билет в трамвае и даже не сознаем, что этими безобидными действиями мы невольно оплачиваем рабскую дань Германии... Народ прав, наши верхи предались сами и нас предали! — открыто возвестил Хвостов.-- Но чтобы народ не устроил самосуда, правительство должно возглавить борьбу против германских хищников — капиталистов и банкиров... Почему, черт побери, акции «Общества 1886 года» не котируются на русской бирже? Почему эти акции всегда котировались на биржах Берлина? Электричество — будущая кровь нашей империи, и мы не позволим, чтобы рубильник великороссийских моторов включали в конторе «Дойчес Банка» рукою проклятого кровавого кайзера!

Хвостову удалось нащупать и самое больное место в артиллерии: электрофирмы выполняли заказы для фронта (дистанционные трубки и запальники для снарядов, которых как раз больше всего и не хватало!). Он понимал, что эта дерзкая речь заставит Царское Село обратить внимание на самого оратора, а поездки на «Виллу Родэ» отлакируют общую картину его правого патриотизма. Весь мокрый от пота, под грохот аплодисментов, Хвостов спустился с трибуны — дело сделано! Из гостевой ложи спустилась в вестибюль дворца нарядная, как кукла, Наталья Червинская (кажется, эта конотопская Клеопатра все-таки нашла своего Антония).

Депутаты подходили к нему, пожимали руку:

— Великолепно! Проникновенно! Потрясающе!

— Это моя тема,— скромно отзывался Хвостов.-- Довольно нам, русским, поклоняться Германии.

Червинская предложила ему встретиться вечером.

— Я позову и Побирушку... не спорь, от этого князиньки с его портфелем, набитым пипифаксом, очень многое зависит.

Пуришкевич тоже подошел к Хвостову, спросил:

— О чем, мой друг, будет ваша следующая речь?

Хвостов (карьеристски точно) наметил верную цель:

— *О дороговизне...* О том, что в столице появились у магазинов очереди, которые шутники стали называть «хвостами»!

Вечером дома у Червинской сидели на тахте многопудовые Хвостов и Побирушка; извилистая тропинка уводила их в трепетные кущи МВД.

Через несколько деньков пассажиры дачного поезда видели, как два толстяка ехали в Царское Село, и по столице пошли разговоры: «Побирушка таскал Хвост за собою — скоро что-то будет...» А самое смешное в том, что Побирушка как раз и был акционером «Общества электроэнергии 1886 года». Хвостов своей речью в Думе наносил удар по карману Побирушки. Спрашивается: какая же корысть Побирушке выдвигать Хвостова с его антинемецкой пропагандой? Но в том-то и дело, что, выдвигая Хвостова, Побирушка надеялся потом — через того же Хвостова! — пресечь все нападки на электротехническую индустрию, бывшую в немецких руках...

Ничего сложного нет — все просто в мире капитализма!

. . . . . .

Сложнее объяснить немецкий погром в Москве... Веселее всего было на 1-й Мещанской, где вино лилось рекой — до колена, а пожарные крючьями изымали из подвалов упившихся. Громили «Шварца» на

Кузнецком мосту — из магазинов хирургических инструментов вылетали операционные приборы. Все это вершилось не в суровом молчании, а с возгласами «Бей немчуру поганую, да здравствует Россия!». Музыкальная фирма «Циммерман» еще не ведала такой какофонии: на мостовую вылетали рояли и пианолы. А вот и оптический «Мюллер»: витрины распались со звоном, хрупкие линзы для очков разной диоптрии давились под ухающими сапогами биндюжников. Было и зловеще печальное в этой истории. Пострадало издательство И. Н. Кнебеля, выпускавшее очень хорошие книги по русскому искусству. В погромном огне безвозвратно сгинули 200 картин русских живописцев, масса негативов и ценных клише (Игорь Грабарь тогда же потерял тираж своего издания «История русского искусства» — и даже прервал писание монографии). Всего было разгромлено в Москве 732 фирмы, убытки составили сумму более 50 миллионов рублей. Но в чисто национальном погроме вдруг обнаружилась и политическая подкладка. «На знаменитой Красной площади, видевшей столько исторических сцен, толпа бранила царских особ, требуя пострижения императрицы в монахини, отречения императора, передачи престола великому князю Николаю Николаевичу, повешения Распутина и прочее... Эти известия вызвали ужас в Царском Селе». Войскам в Москве дали приказ — применять оружие, и последние искры антинемецкого погрома были затоптаны. Теперь надо искать виноватых, а такие всегда сыщутся...

— Градоначальник Адрианов! — сказала царица.— Когда скандал был у «Яра», Адрианов палец о палец не ударил, чтобы помочь святому старцу выбраться из этой гнусной ловушки...

По высочайшему повелению Адрианова обвинили в «бездействии власти» и с его груди сорвали аксельбант с витского генерала. Адрианов сразу поехал в Петербург.

Адрес ему известен: Гороховая, 64, кв. 20.

— А., мать твою размать...— еще с порога начал Адрианов. Распутин оценил героический пролог к серьезному разговору и посоветовал не стесняться.— Не дурак, понимаю, что дело не в погроме. Когда ты без штанов у «Яра» гулял, я тебе не мешал?

— Не мешал,— согласился Распутин.

— А теперь на меня твоих же собак вешают...

— Ты умный,— сказал ему Распутин.— Вот тебе бумажка, вот тебе вставочка с перышком... Садись, хенерал, и пиши всю правду царю. Пиши как есть. Без штанов я не гулял, и вообще вел себя у «Яра», аки голубь небесный. Напиши так, чтобы государь поверил тебе, а не этому гаду Джунковскому.

— На чье имя писать? — деловито спросил Адрианов.

— Анютке пиши... Вырубовой.

Адрианов сочинил обширную справку на тему о Гришкиной благопристойности, из коей явствовало, что в ресторане у «Яра» все сидели без штанов, но Распутин к этому безобразию не причастен. Адрианов снова украсил свою грудь аксельбантом, а теперь... «Теперь дело за Джунковским»,— сказала царица. Николай II вызвал Джунковского к себе и, поправляя усы, сказал, что прежнего доверия к нему он не испытывает — можно снимать аксельбант. Джунковский заявил:

— На фронт хочу... Дайте мне дивизию!

Командуя дивизией, он вместе с дивизией вошел в революцию как генерал-фронтовик; один хороший нокаут, сделанный им Гришке, решил его судьбу, и в 1926 году, провожая Джунковского на курорт, знаменитый А. Ф. Кони напутствовал его словами: «Будущий историк оценит ваше отважное выступление против Распутина...»

. . . . . .

Екатерина Великая (посмертной славе которой так завидовала Алиса) имела при себе камер-фрау Марью Саввишну Перекусихину; эта дама с большим знанием дела опробовала кандидатов в фавориты, после чего следовал ее доклад: «Петька слаб, а Сенька дюж, Сенька гож, матушка!» Нечто подобное происходило и сейчас: кандидат на пост министра, прежде чем попасть пред светлые очи государыни, должен побывать на царскосельской дачке Анютки Вырубовой, которая оценивала его — «наш» или «не наш»?.. Хвостов уже пил чай на даче Вырубовой, но понравился ей, увы, напрасно. Обстоятельства сложились так, что царь временно выпал из-под контроля жены. Возмущение в народе против царской семьи, угрозы скинуть «Николашку» с престола, а царицу заточить в монастырь подействовали на царя. Надо было както спасать положение, произведя смену министров, чтобы на время притушить недовольство в стране. Но царь понимал, что, пока он в Царском Селе, ни жена, ни Вырубова, ни Распутин не дадут ему это сделать. А потому он спешно отбыл в Ставку... Императорский салон-вагон въехал через ворота в заборе и остановился напротив штабного вагона дяди Николаши, который помог племяннику спрыгнуть с высокой подножки.

— Здесь,— сказал ему царь,— в тихой деловой обстановке, без баб и истерик, я приму очень ответственные решения...

Первым делом надо было задобрить Думу, которую крайне раздражала Влюбленная Пантера — Маклаков. Родзянко уже не раз настаивал на удалении Сухомлинова, Саблера и Щегловитова; в обществе перетирали на зубах вопрос о трагической нехватке снарядов на фронте, всюду лаяли Малечку Кшесинскую, за которой стоял великий князь Сергей Михайлович... Маклаков был вызван в Ставку.

— Я,— сказал ему царь,— целиком солидарен с вами, что Думу надо бы закрыть на замок, а Родзянко ведет себя хамски, принимая на себя почести, будто он глава государства. Но...

За этим царским «но» Маклаков хлопнулся в обморок.

Его оживили. Влюбленная Пантера рыдал:

— Чем же я не угодил вашему величеству?

— Вы угодили мне, но я вынужден считаться с тем мнением, которое у нас неостроумно прозвали общественным...

Маклаков с трудом пришел в себя.

— Говорят, на мое место прочат Алешку Хвостова?

— Ставка желает князя Щербатова...

Николай Борисович Щербатов занимал должность начальника государственного коннозаводства — лошадь по-прежнему играла в России колоссальную роль (особенно сейчас, когда пулеметы косили нашу славную кавалерию), и, влюбленный в гиппологию, князь сказал:

— Помилуйте, но я ни в какие ворота не лезу! Какое я могу иметь отношение к эм-вэ-дэ? Прошу, оставьте меня с лошадьми...

Николай II настаивал на занятии князем поста министра внутренних дел, ибо Щербатов — человек с конюшни, неизвестный для широкой публики; он был сейчас выгоден для царя, как обтекаемая незначительная фигура, к которой трудно придраться.

— Я не стану мучить вас работой, а моя просьба в военное время не дает вам права отказываться от занятия поста...

А в Царском Селе творилось невообразимое: Алиса заламывала руки, Анютка готова была рвать на себе волосенки, Гришка ходил мрачный как сыч,— царь принимал в Ставке самостоятельные решения, а они, бессильные, не могут подсунуть ему «нашего». Распутин вяло мямлил: «Как же так? Без моего божьего благословения?» Положение на фронте было отчаянное, и в Ставке решили срочно призвать на службу ратников 2-го разряда.

. . . . . .

Нюрка открыла двери — на пороге стоял хожалый из полицейского участка, держа под локтем замызганный портфель из парусины.

— Новых-Распутин Дмитрий Григорьев здеся проживает?

Речь шла о сыне Распутина — о Митьке.

— Ну, здеся. Так што? — спросил Гришка.

Хожалый раскрыл портфелишко, поплевал на пальцы.

— Числится он ратником второго разряда и подлежит призыву в армию по месту его жительства...

— Это по какому же праву? — осатанел Распутин.

— А по такому... Кажинный русский человек обязан свое отечество грудью защищать. Так какие ж еще тебе права надобны?..

До этого война проходила стороной, и только сейчас дошла до самого сердца Распутина. Он завыл:

— Митьку берут... кровинушку мою! А я не дам ево:... Это што ж получается? Под пули, выходит, соваться? А за што?

Миллионы русских митек, ванек и петек месили грязь окопов, били вшей на бинтах, умирали, унизав собой спирали колючей проволоки, стонали в землянках, изувеченные огнем, ослепленные газами, а эта вот поганая сволочь в шелковой рубахе и бархатных штанах металась по комнатам, опрокидывая стулья, и вопила:

— Не дам! По какому праву? Это ж мое дите...

Я долго ждал этого момента, чтобы поведать тебе, читатель, самое гнусное злодеяние Гришки Распутина: ради спасения своего паршивого щенка он решил отменить в стране мобилизацию ратников 2-го разряда, лишь бы чадо его не пропало в этой серо-кровавой мешанине, что зовется солдатчиной... Собранный и строгий, он явился к царице с темными кругами под глазами. Его шатало будто пьяного, но он был абсолютно трезв.

— Какую ночь молюсь! — заявил.— Было мне видение яркое. Голос свыше протрубил мне — не надо призыва ратников...

В барановичскую Ставку полетели истошные вопли царицы; она заклинала мужа: «Прошу тебя, мой ангел... не разрешай призыва 2-го разряда. Отложи это как можно дольше. Они должны работать на полях, фабриках, пароходах и т. д. Тогда уж скорее призови следующий год. Пожалуйста, слушайся ЕГО совета, когда говорится так серьезно, ОН из-за этого столько ночей не спал! Из-за одной ошибки мы все можем поплатиться... ОН тебя *настоятельно* просит *поскорее* приказать, чтобы в один определенный день по *всей стране* был устроен *всеросс. крестный* ход с молением о даровании победы...»

Призыв не состоялся. Молебны были. Пополнение на фронт в нужный срок не прибыло, и германская армия развивала свое наступление... Зато Митька остался сидеть дома!

Комментарии даже не требуются — любой поймет.

6. «А НАМ НАПЛЕВАТЬ!»

Зарывшись глубоко в землю, союзные армии вели отныне лишь позиционную войну, предоставив Германии возможность разделываться с безоружной Россией, а сами весь 1915 год посвятили исключительно наращиванию военного потенциала. Ллойд-Джордж писал: «История предъявит счет военному командованию Франции и Англии, которое в своем эгоистическом упрямстве обрекло своих русских товарищей по оружию на гибель...» Кайзер запланировал выбить Россию из войны, а уж потом обрушиться на Запад!

Русские крейсера, подвывая в рассветном дыму сиренами, покинули родную уютную Либаву — с ее пляжами, с ее танцплощадками, с милыми цукернями; после отхода кораблей волна еще долго качала под пирсами намокшие обрывки центральных газет с призывами «Война до победного конца!». Во всем этом успокаивает нас одно: русская армия и флот могут иногда потерпеть поражение, но Россия побежденной никогда не бывала и не будет...

. . . . . .

Янушкевич 6 июня докладывал Сухомлинову: «Кадры тают, а пополнения получают винтовки в день боя. Просто волосы дыбом! Приходится отходить... Но будь проклятые снаряды — отбросили бы немцев сразу. Когда батарея, вопреки приказу, выпускает сразу все снаряды — у с п е х! Брусилов тоже начал отход... Отовсюду кричат и грозят нам гидрой революции...»

Звонок по телефону прервал чтение письма:

— У аппарата военный министр, слушаю.

Наталья Червинская спросила Сухомлинова:

— Это правда, что у вас ночью был обыск?

— Что за чушь! Кто посмел так думать?

— Но в городе ходят слухи, что...

Сухомлинов повесил трубку. Вечером, придя домой, он сделал выговор жене за то, что она много тратит денег.

Ночью он звонил в министерство:

— Львов сдали?

— Еще нет. Но армия откатывается...

Утром его навестил Сазонов, совершенно поблекший.

— Как ведающий иностранными делами, я поставлен вами в неловкое положение. Мы же не одни — мы члены коалиции, и коалиция спрашивает меня, а я вынужден вопрос Антанты перепоручить вам лично — когда же наша армия перестанет отступать?

— Тут немало соображений. Сейчас выравниваем линию фронта, в которой образовались опасные выступы и завалы, вредящие планомерной и четкой стратегии. Боюсь, вам этого не понять!

Но это Сазонов — дипломат, с ним легче. Зато стало плохо, когда на пороге выросла громоздкая фигура Родзянки, которого в столице за его сипение и звучный голос называли то «самоваром», то «барабаном». Родзянко начал без подготовки:

— Государственная дума пришла к выводу, что дальнейшее ваше пребывание на посту министра является гибельным для нашей армии. Уйдите сами, иначе вам предстоит уходить... по суду!

Сухомлинова взорвало:

— Не меня судить за поражения на фронте, а Гучкова и ему подобных болтунов, подрывающих веру народа в победу!

Раздалось астматическое сипение «самовара».

— Я вам говорю об отступлении армии, а вы мне толкуете о том, что в огороде бузина... Ну, при чем же здесь Гучков?

— Именно критиканство разлагает нашу доблестную армию, бужируя ее пошлыми инсинуациями, будто я развалил аппарат министерства, будто я разворовал обмундирование и расхитил арсеналы.

— А ведь вы развалили! — загромыхал «барабан».— А ведь ваши друзья все растащили... Но перед этим вы еще залепили публике глаза своим бахвальством в статье «Мы готовы!».

— Она не подписана моим именем.

— Но статья-то вышла из вашего кабинета...

Сухомлинов в волнении пересек кабинет по диагонали.

— Я не понимаю, чего вы от меня хотите?

— Это не я, а Россия желает, чтобы вы ушли отсюда...

После этого Родзянко совершил один шаг, непозволительный с точки зрения светской этики,— он нагрянул в особняк Кшесинской, застав приму русской Терпсихоры в грибницах, где она срезала с грядок белые грибы; в стеклянных оранжереях произрастал дивный тропический сад, в ароматной духоте пели диковинные птицы... Родзянко сказал женщине, чтобы она не совалась в дела артиллерийского ведомства... Кшесинская издала шипение, словно кошечка: «Пшш... Пшш... пшшшш...» — и прогнала его. Родзянко навестил ее покровителя, великого князя Сергея Михайловича, владычившего в русской артиллерии. В ответ на попреки тот сказал, что производство снарядов увеличить невозможно, ибо нет станков для выделки дистанционных трубок. Родзянко задал ему вопрос:

— Тысяча станков на первое время устроит вас?

— Откуда они, милый вы мой?

— Добровольцы объехали ремесленные училища, где отыскали станки, пригодные для выделки трубок... Вы говорите, что совсем нет трубок? А между тем они валяются у вас под ногами.

— Как так?

— А так. Полтора миллиона (!) дистанционных трубок нашли здесь же — в арсенале столицы, и вы об этом не знали?

— Не знал.

— Вы должны уйти,— пробарабанил Родзянко.

— Я понимаю,— согласился великий князь.

— Вы уйдете сами? Или...

— Уйду сам... по болезни. Должен принести вам извинения за шипение Малечки, она нервная... артистка!

— Ничего. На меня все шипят...

Галиция была оставлена. 12 июня состоялось собрание Совета Министров под председательством Горемыкина, который был убежден, что «война его не касается». С утра старый рамолик еще был внятен, иногда даже отпускал остроумные шутки, но к полудню действие морфия подходило к концу: Горемыкин тускнел и засыпал, а если спрашивали — порол глупости... В самый разгар заседания из Ставки прибыл курьер с пакетом.

— Лично от государя,— сказал он Сухомлинову; прежде чем устранить любимца, царь его ласково облизал.

«Владимир Александрович, — писал он. — После долгого раздумывания я пришел к заключению, что в интересах России и армии ваш уход необходим... Мне очень тяжело сказать вам об этом... Сколько лет мы с вами работали, и никогда между нами не было недоразумений. Благодарю вас, что вы положили столько труда и сил на благо нашей родной армии.

Беспристрастная история будет более снисходительной, чем осуждение современников.

Господь с вами. Уважающий вас НИКОЛАЙ».

Горемыкин очнулся от скрипа отодвигаемого стула.

— Владимир Александрыч, куда это вы так поспешно сорвались, или у вас в министерстве опять все... кипит?

Сухомлинов помахал письмом императора.

— Отставка! — сказал и быстро вышел...

Дома при этом известии бурно разрыдалась жена.

— Ну, вот и конец... Ах, я несчастная!

Побирушка бегал по городу, всюду возвещая:

— Имею сведения: Сухомлинов — немецкий шпион...

. . . . . .

Пришлось оставить казенную квартиру на Мойке — Сухомлиновы перетащили мебель в новое жилье на Торговой улице. Затем они отъехали в Курскую губернию, где экс-министр с упоением предался рыбной ловле, вкладывая в это дурацкое занятие всю свою душу — без остатка! Для историков будущего он записывал в дневнике генеральные события своей беспрецедентной жизни: «Пытался поймать щучку, но не удалось. Погода чудная, газет не читаю...» А сколько дивных волнений испытал он лирически вдохновенный, когда копал червей на берегу тихого Сейма. Подумать только — накопал целую банку, но пришла на бережок Екатерина Викторовна и так поддала туфелькой, что все черви по сторонам разлетелись.

— Довольно! Мне противно видеть, что ты как дурачок часами сидишь и смотришь на этот идиотский поплавок...

Она удалялась от реки, стройная и красивая, а в сиреневых кущах пели волшебные курские соловьи. Роняя удочки и давя червяков, Сухомлинов трусил по тропочке за своим сокровищем.

— Катенька, постой... но что же мне делать?

Она резко обернулась, поддернув юбки.

— Здесь ничего не сделаешь — надо возвращаться!

Приехали в столицу, которая сразу наполнилась анонимками. В них писалось, что Берлин после отставки Сухомлинова празднично ликует, что теперь-то уж немцы точно уверены в победе над Россией, что кайзер истратил множество миллионов марок на устранение Сухомлинова с поста министра. Заодно в анонимках было сказано, что Родзянко, Гучков, Поливанов и прочие критиканы давно продались «жидо-масонскому синедриону», который не пожалел золота, дабы лишить русский народ сухомлиновского гения...

На этом можно поставить точку! — сказал М. Л. Бонч-Бруевич, аккуратно подшивая все анонимки в одну папку.— Под анонимками не хватает только литературного псевдонима Сухомлинова — имени Остапа Бондаренко, якобы живущего в отставке на хуторе.

Теперь разгильдяй, оправдываясь, честно писал, что Россия не была готова к войне, и отпускал комплименты Германии, которая к войне была отлично подготовлена. Государственная дума 345 голосами (из числа 375 голосовавших) предложила правительству предать Сухомлинова и его сообщников суду. Бюрократия капитулировала, и была создана особая комиссия для расследования преступлений военного министра... Екатерина Викторовна рыдала.

. . . . . .

На пост военного министра заступил генерал А. А. Поливанов, не скрывавший от царя, что будет работать в контакте с общественностью. Полетел и министр юстиции Щегловитов (Ванька-Каин); Николай II долго колебался, но все же выбросил из Синода и Саблера, назначив на его место культурного москвича Самарина.

— Распутина не потерплю! — твердо объявил Самарин...

Читать письма царицы за это время — одно удовольствие: видно, как она корчится от ярости, клевеща, запугивая мужа гибелью, ссылаясь на пророчества «нашего Друга». Лишь в конце июня Николай II вернулся в резиденцию, где на него обрушилась горячая лава истерик, воплей, слез и причитаний:

— Ники, что ты наделал? Ты разломал свой титул на куски и расшвырял эти куски по сторонам... Почему Поливанов? Где ты откопал дурака Самарина? Они же тебя погубят... Разве эти люди, идущие против Григория, способны принести успокоение? Теперь жди, что все покатится кувырком... Тебе совсем не жаль меня!

Полиция докладывала Белецкому, что Распутин начал ходить озираясь, незнакомых сторонился, а филерам он жаловался, что теперь его обязательно ухлопают, укокошат, придавят, отравят, погубят, изведут, зарежут и прочее. Страх был велик... В эти дни Горемыкин (даже Горемыкин!) решился высказать прямо в глаза императрице, что в народе зреет недовольство, что в окопах солдаты и офицеры открыто матерят лично ее и Распутина, на что Алиса отвечала премьеру империи короткою русской фразою:

— А нам наплевать!

7. МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Как писать о Распутине, если цензура не разрешает? Русский читатель отлично постиг эзоповский язык и потому данные о дурной погоде воспринимал с политическим оттенком:

Дождь. Ненастье. Лужица.
Где же тут распутица?..

Наконец, была еще одна доходчивая форма изложения. Например, в газетах сказано: «Вчера жилец дома № 64 по Гороховой улице опять скандалил пьяный. Постовому городовому он дал сначала в лицо, а потом дал 5 руб., чтобы тот не жаловался... Редакция спрашивает: можно ли терпеть дальше?» Редактора тащили к цензору.

— Вот этот жилец на Гороховой... кто это?

— Да есть там один. Неисправимый забулдыга.

— А вы конкретнее... на кого намекаете?

— Известно на кого — на чиновника Благовещенского.

Проверили по адресной книге — точно: Благовещенский жил как раз на той площадке лестницы, на какой была и квартира Распутина. Был ли чиновник пьян «вчера» - это уж дело десятое... Сменивший Маклакова князь Щербатов (по наивности или нарочно?) открыл клапан того котла, в котором яростно бурлил кипяток возмущения против Распутина,— струя грязного пара со свистом вырвалась в атмосферу. Поход против Гришки начали «Биржевые Ведомости», другие газеты подхватили лакомую тему, и царица теперь читала документальные рассказы о кражах Распутина, о разврате его и хлыстовстве и прочих милых утехах.

— Прогони Щербатова! — взывала она к мужу.

Николай II не раз авторитетно расписывался в своем безволии, часто даже подчеркивая это свойство своего характера. Но бывали моменты, когда он буквально сатанел от изобилия поправок, вносимых в его решения Распутиным и всем этим «бабьем».

— Не забывай,— напоминал он жене,— что наш друг может говорить что хочет, но ответственность несу только я. А я не в силах взять Щербатова и тут же его выгнать...

Щербатов откровенно скучал по лошадям, не представляя, что ему свершить в МВД, но вскоре нашел себе дело — в тридцать четыре часа, без предварительной подготовки, со службы полетели вверх тормашками все губернаторы и чинодралы с немецкими фамилиями. Вой стоял по империи страшный... А Распутин, потеряв голову от страха, курсировал теперь между Тюменью и Петербургом: слабость цензуры припекала его так, будто Щербатов посадил его на раскаленную конфорку. Царю он переслал свою гребенку, и Алиса наказала мужу, чтобы перед принятием важных решений не забывал ею расчесываться. По настоянию царицы Горемыкин устроил нагоняй Поливанову.

— Почему в печать просачиваются суждения противоправительственного характера? — брюзжаще вопросил он.

— Ничего подобного,— отвечал военный министр.

— А клевета на Григория Ефимыча?

— Впервые слышу, что Распутин — наше правительство.

Горемыкин и сам почувствовал неудобство.

— Алексей Андреич, я не знаю, кто там и что там... Я лишь передал вам высочайшую волю, а дальше — сами разбирайтесь.

Тайком, смиренный и робеющий, Распутин вернулся в столицу, где на вокзале его встретил синодский казначей Н. В. Соловьев в черных очках, похожий на слепца нищего, и его толстая коротышка жена, которая плясала на перроне от восторга:

— Ах, отец... отец приехал... отец ты мой!

— Ах, мать,— приплясывал Гришка,— ах, мать ты моя!

Он боялся ехать к себе на Гороховую и укрылся в квартире Соловьевых... Обер-прокурор Самарин тут же повидался с царем.

— Государь, заступая на свой пост, я ведь ставил непременным условием, чтобы Распутина в столице никогда не было...

Гришка все же успел побывать в Царском Селе, после чего филеры зарегистрировали, что на автомобиле Вырубовой он был подвезен ею к вокзалу, сел в вагон (филеры тоже сели!) и поехал обратно в Покровское... Распутин охране угрожал:

— Это вы донесли, что меня Соловьев встречал?

— Наше дело маленькое,— отвечали филеры.

— Маленькое, да языки у вас отросли большие. Вот, погодите, ужо я окрепну, так языки-то вам поганые оборву...

Явно скучая, притащился в купе к филерам.

— А я царя тоже видел,— проболтался Гришка по пьянке.— Папа и указал мне, что это вы донесли о моем приезде. Папа мне отдельный вагон давал, но я отказался, потому как одному в пустом вагоне ехать скушно. А я теперь перемен жду...

Терехов спросил — какие ж тут перемены?

— Теперича не до жиру — быть бы живу...

— Э-э, дурак! — отмахнулся Распутин.— Скоро из Ставки дядю Николашу попрут, а Щербатова и Самарина тоже не станет...

В Тюмени он сел на пароход, который вез новобранцев. Дал им пятнадцать рублей и пел с ними песни. Был пьян и все время пил, забегая в каюту (в иллюминатор одна за другой вылетали опустошенные бутылки). Проспавшись, он полез на солдат в драку, крича, что они украли у него из кармана три тысячи рублей. Получив по зубам, Гришка стал приставать к буфетчику, будто тот обворовал его каюту, и подбил парню глаз. Капитан сказал, что выбросит Распутина за борт. «Распутин,— записывали филеры,— опять удалился в каюту и у открытого окна, положив голову на столик, что-то обиженно бормотал, а публика им любовалась. Из публики было слышно: «Распутин, вечная тебе память как святому!» Другие говорили: «Надо его машинкой оболванить, обрить начисто...» Когда пароход причаливал к пристани села Покровского, Гришка валялся в каюте мертвецки пьян, матросы выкинули его на берег, словно мешок с отрубями,— так и шмякнулся! А там его встречали с телегой дочери, которые с большим трудом взвалили батьку на подводу, повезли кормильца домой... Следом за телегой шагали по зыбкому песку филеры департамента полиции.

С помощью записки от царицы он пристроил своего Митьку на службу в 7-ю роту тюменского гарнизона — подальше от фронта. И сказал сыну: «Терпи! Скоро я учну мир с немцами заключать...»

Министр внутренних дел князь Щербатов руки имел длинные, и по его настоянию тобольский губернатор А. А. Станкевич велел арестовать Распутина с заключением в тюрьму на три месяца за беспробудное пьянство и неприличное приставание к женщинам... Гришка спешно бежал из Покровского, опять тянулась по песку телега, а за телегой ползли скучные усталые филеры.

— И когда ж это кончится?

. . . . . .

В квартире Бадмаева, где он решил укрыться, сидел Курлов.

— А-а, друг, и ты здесь? — обрадовался Распутин.

Курлов глянул косо. Жандарму не везло. С началом войны получил права генерал-губернатора в Риге, где полно баранов и баронов, шпику и марципанов. Немцы наступали, бароны кричали «хох!», баранов зарезали, шпик и марципаны исчезли из продажи...

— А теперь меня под суд отдают,— сообщил Курлов.

— За што, мила-ай?

— В основном инкриминируют мне потворство

курляндским баронам и саботаж в эвакуации рижских заводов... Спасибо Бадмаеву: принял на постой, как старого мерина. Живу на его счет. А у меня ведь, знаешь, семья.

— А кто, скажи, при Столыпине меня охранял?

— Я.

— Мать честная! — засмеялся Гришка.

— А чем тебе плохо было со мной?

— Да не жалуюсь — с тобою жить было можно.— Он спросил, дома ли Бадмаев.— Я у него приютиться хочу. На Гороховой что-то боязно. Газеты лаются. От сыщиков Белецкого нет отбою...

Курлов сказал, что Бадмаев здесь, но занят: у него сейчас депутат Протопопов, товарищ Курлову по службе в Конногренадерском полку, друг его невинной младости. Протопопов, взвинченный от габыря и цветков черного лотоса, появился в дверях кабинета.

— Григорий Ефимыч,— заговорил он,— вы должны, вы обязательно должны представить меня императрице...

— На кой ты сдался ей?

— У меня нет слов, чтобы выразить свой восторг перед ее неземной красотой. Вы ничего не понимаете! Императрица у нас — богиня. У нее торс, как у античной Венеры. А посмотрите на ее профиль — чеканный, строгий, повелевающий. Я без ума...

— Сашка,— велел ему Курлов,— сядь и не дури!

Бадмаев отозвал Распутина в уголок, зашептал:

— А какие у вас отношения с Хвостом?

— Да пошел он...

— Напрасно,— сказал Бадмаев.— Вы присмотритесь к этому человеку — за ним очень большое и громкое будущее...

Протопопов цапал Гришку за поясок.

— Вы должны это сделать... Я не знаю, что со мной происходит, но я преклоняюсь перед нашей мраморной Афродитой в короне!

Отстать от маньяка было невозможно, и Распутин устроил Протопопову тайное свидание с императрицей, причем, дабы все шло гладко, без сучка и задоринки, он при сем и присутствовал. Алиса сидела за столиком и вязала мужу перчатки, когда член партии октябристов вдруг пополз к ней на коленях, восклицая:

— Богиня... красавица... я ваш! Ваше величество, позвольте мне, рабу, умереть возле ваших божественных ног.

— Что с ним? — спросила царица у Гришки.

— Накатило,— отвечал тот.

— Нет! Я не имею права дышать в вашем присутствии,— заливался Протопопов.— Позвольте мне, несчастному рабу любви...

Тут Распутин кликнул из детской матроса Деревенько; два здоровых мужика, они подхватили влюбленного октябриста за локти, и Протопопов был просто вынесен из кабинета, как мебель. Свидание продолжалось считанные минуты, но императрица запомнила Протопопова; ей, женщине уже немолодой, матери многих детей, было по-женски приятно, что она способна внушить мужчине столь сильное чувство даже на расстоянии...

Немцы уже подходили к Барановичам, и Николай Николаевич велел перевести Ставку в Могилев... Но выбить Россию из войны германская военщина не могла — русский солдат крепок! Если глянуть на карту, то видно, что наша армия в самый тяжелый период натиска уступила врагу ничтожную частицу русской земли. Однако великая Россия привыкла воевать только на чужой территории, и потому каждый городишко, каждый шаг армии назад очень болезненно воспринимался в сердцах россиян...

Жители Петербурга-Петрограда уже давно отвыкли видеть царскую чету. Под осень же 1915 года по улицам столицы начал ползать придворный «паккард», в двух пассажирах которого прохожие угадывали притихших царя и царицу. Без конвоя (!), внутренне очень напряженные, супруги Романовы объезжали столичные храмы, в каждом истово, почти остервенело молились...

Сазонов предупредил Палеолога:

— Прошу сохранить в тайне — наш государь решил возложить на себя бремя верховного главнокомандования, и мне известно, что он не позволит никому обсуждение этого вопроса.— Палеолог осторожно дал понять, что царь в чине полковника и командовал в жизни только батальоном.— Это фикция! — успокоил его Сазонов.— Государь и сам понимает, что неспособен руководить войною, за него командовать фронтами будет Михаил Васильевич Алексеев.

— Так не проще ли Алексеева и сделать главным?

— Я предпочитаю не знать до конца всех крайне осложненных мотивов, которыми руководствуется мой государь,— ответил Сазонов, ловко ускользая от прямого ответа.

Палеолог тут же получил приглашение на обед от княгини Палей, морганатической супруги великого князя Павла Александровича, родного дяди царя. В разговоре с послом по телефону женщина особо отметила, что предстоит нужная беседа... За обеденным столом Палеолог увидел великого князя Дмитрия Павловича (пасынка княгини Палей), здесь же была и Вырубова. Когда подали кофе, Вырубова немедленно залучила посла Франции в соседнюю комнату.

— Вы, наверное, знаете о решении государя стать во главе армии? — Палеолог молчал (чтобы не выдать Сазонова), и она сама решила помочь ему.— Его величество,— сказала Анютка,— сам же и попросил меня узнать ваше мнение об этом.

— Решение его величества окончательно?

— Да.

— Тогда мои возражения окажутся запоздалыми...

По глазам Вырубовой посол заметил, что она, напрягшись, пытается дословно запомнить его последнюю фразу. Потом к Палеологу подсел Дмитрий Павлович, еще молодой офицер, похожий на необстрелянного юнкера, в узком мундире, с толстой сигарой меж длинных бледных пальцев. Он сразу заговорил — с напором:

— Я только что из Ставки... с экстренным поез-

дом. Был у царя, чтобы отговорить его от этой неумной бравады. Последствия могут быть роковыми. Не только для него, но и для всей России! Мы все погибнем. Это не царь! Это не он придумал! Видели эту калеку Вырубову? Это она с царицей, это царица с Гришкой — это они заставили царя решиться на захват Ставки... Им все мало! Хотят влезть и в дела фронтов, которые трещат. Я знаю, что именно эти злобные люди будут творить судьбы войны... даже там, в Ставке!

Палеолог дал юноше выговориться. Мачеха молодого Дмитрия, княгиня Палей, в гостиной потом тихо спросила посла:

— Каковы ваши заключения?

— Мистицизм заменил императору государственный разум, и отныне уже ничего нельзя в русской жизни предвидеть заранее...

Дмитрий Павлович провожал Палеолога до самого вестибюля, где мраморный пол был выстелен шкурами белых медведей, где в руках бронзовых Наяд горели трепетные светильники.

— Я так любил дядю Колю,— говорил он послу,— я так любил и тетю Алису. Но вот я вырос, уже не мальчик. Конфеты и апельсины значения теперь не имеют. Озираюсь и вижу мрак... Что творится? Распутин всех нас толкает в пропасть. Неужели дядя Коля сам не понимает, что возникло дикое положение. Уже не собака вертит хвостом, а сам хвост крутит собаку во все стороны...

Палеолог приник к молодому человеку и сказал:

— Не пойму, почему с ним так долго возятся? В вашей стране убивали не только министров, но даже царей, и... И почему-то никак не могут избавиться от одного мужика! В чем дело?

Дмитрий Павлович ответил послу Франции:

— Об этом упущении нам следует подумать...

8. КЕСАРЮ — КЕСАРЕВО

Блуждали слухи, будто Горемыкина хотят заместить Родзянко, но премьер оставался невозмутим: его карьера покоилась на прочном картофельном фундаменте,— мадам Горемыкина неустанно выпекала для Гришки картошку в разных видах, а после выпивки, как известно, нет ничего лучше закусить селедочкой с горячей картошкой. Так что с этого фланга напасть на него не посмеют. Не знаю, хотел ли Родзянко стать премьером (может, и хотел), но сейчас он развил бурную деятельность, чтобы помешать царю стать во главе армии. Его дальняя родственница, княгиня Зина Юсупова, отбыла в Киев, где с императрицей Гневной они пытались сообща воздействовать на Николая II, дабы кесарь не мешался во фронтовые дела. Вообще в практике дома Романовых не было принято, чтобы царь вставал во главе вооруженных сил. Только Петр I тянул эту лямку до конца, но Александр I сдал командование Голенищеву-Кутузову, а в 1877 году жезл полководца выпал из руки императора Александра II... Об этом и говорил Родзянко в Царском Селе:

— Сейчас, когда на фронте неудачи, можно судить вашего дядю. Но если армия будет по-прежнему отступать, то кого же судить, если вы будете стоять во главе отступающей армии?

— Пусть погибну, но я спасу Россию,— отвечал царь; он взял со стола американскую винтовку, загнал в нее патрон и выстрелил в окно.— Видите? — сказал.— Заокеанский винчестер, а как ловко в Сестрорецке подогнали к нему нашу российскую обойму...

Дома с Родзянкой приключился сердечный приступ. Поливанов отправился в Могилев — подготовить Николая Николаевича к сдаче дел его величеству, после чего великому князю предстояло ехать на Кавказ — для войны с турецкой армией. Верховный набулькал в рюмки шартреза, выпил с Поливановым и хлестанул себя арапником по голенищу высокого гусарского сапога.

— Племянник до этого сам бы не додумался! Это все она... Не вижу, чтобы между ними была пылкая любовь. Будь я на месте Ники, так выставил бы ее в Дармштадт со всеми чемоданами... Пускай и Гришку утаскивает на радость Гессена!

Съехавшись в Царском Селе, министры горячо доказывали Николаю II, что он величавым жестом бросает спичку в бочку с керосином: общество России напряжено до предела — и отступлением армии, и дороговизною продуктов питания, и пропагандой неизбежности революции. Царь отвечал общими фразами: «Внутренний голос твердит мне... До сих пор чувство меня не обманывало... Сердце царево в руце божией...» В заключение он заявил, что остается при своем решении, и получил за это благодарность от жены в письменном виде: «Ты наконец показываешь себя государем, настоящим *самодержцем*, без которого Россия не может существовать... Молитвы нашего Друга денно и нощно возносятся за тебя к небесам... Это начало славы твоего царствования!» В августе министры собрались на квартире Сазонова — всей кооптацией, кроме Горемыкина. Сообща составили продуманное письмо к царю с мольбою — не брать на себя главнокомандование. Письмо заканчивалось словами: «Находясь в таких условиях, мы теряем веру в возможность с сознанием пользы служить вам и родине». Писал обер-прокурор Самарин, а подписался весь кабинет, кроме военного и морского министра. «Сейчас война, вам не стоит»,— отговорили их. 22 августа в Белом зале Зимнего дворца состоялось совещание по вопросам войны и снабжения. Присутствовали царская чета и члены Думы; наблюдательный Поливанов заметил, что Алиса сама (!) подошла к Протопопову и очень любезно, трогая его за рукав, беседовала...

Николай II вскользь заметил министрам:

— Господа! Я уже привык, что бастуют рабочие. На этот раз мне объявил забастовку весь кабинет министров...

Стало ясно: судьба тех, кто подписался под письмом, уже отмечена выходом на пенсию. Выставят за дверь, как нашкодивших щенков. Только один Горемыкин раздувал усы, ко всему равнодушный.

— Оставьте меня с этой войной! — бубнил он.— Какое я могу иметь к ней отношение? Это меня не касается... Бог с ней.

Кесарь отбыл в Ставку — за долей кесаря.

. . . . . .

Он так и застрял в Могилеве, а дела империи стала прибирать к своим рукам императрица. Распутин сразу перестал мотаться между Тюменью и столицей — прибыл на Гороховую, куда выписал и дочек, дабы образовать из них светских барышень, а Митьку устроил в санитарный поезд, над которым шефствовала сама императрица... Тишина и порядок. Теперь можно и погулять!

— Симановичу он не раз горько жаловался, что его «обдирает», как липку на лапти, цыганка Клава из хора, певшего по ночам на «Вилле Родэ».

Сегодня Распутин наскреб тысячу двести рублей, а остальные обещал занести завтра. Клава сказала:

— Вот ты, с бородой, положь мне целеньки, тогда лезь ко мне сколько вздумается, а сейчас... в рожу двину!

Старый цыган, регент хора, добавил:

— Фимыч, ты нас знашь-понимашь, мы чавалы честные, чужого не возьмем, а свое — только тронь. Уговор был — исполняй. А ежели Клавку тронешь — кости все переломаем, что не встанешь!

В поганом настроении Гришка прошел в общий зал «Виллы Родэ», стал хлестать водку из чайника, закусывая заливной осетриной с листочками петрушки.

Он вперился взором в Хвостова, который, сидя подле Натальи Червинской, обсасывал жирный огузок, возле них стояли чайник (с коньяком) и кофейник (с ликером). Рыжий перст Гришки вытянулся в сторону лидера думской фракции правых.

— Покажь племени фараонову, как поют на Руси!

Хвостов хлопнул в ладони (белые и сочные, как оладьи), с неожиданной для толстяка легкостью прошелся игриво, приплясывая по полу.

— Во как надоть! — одобрил его Распутин.

Опрокинув стул, он тронул себя за поясок лазоревой рубахи и начал откаблучивать — тяжело и яростно, так что вздрагивала трухлявая, насквозь прогнившая «Вилла Родэ». А рядом с ним, жилистым и крепким, приседал и выпрямлялся, словно пузырь, из которого то выпускали воздух, то вновь его наполняли воздухом, Хвостов — камергер и депутат парламента. Со лба Гришки Распутина, словно тяжелые бусины, отлетали пахучие капли острого мужицкого пота, каблуки обоих стучали,— пели:

Со святыми упокой (да упокой!),
Человек я был такой (да такой!),
Любил выпить-закусить (закусить!)
Да другую попросить (попросить!).

Выдохлись оба — обнялись, и Гришка сказал:

— А ты парень-хват... сгодишься квашню мешать.

В переписке с мужем царица сразу упомянула Хвостова: «Тебе нужен энергичный министр внутренних дел... Если ты его берешь, то телеграфируй мне: хвост (thail) годится, и я пойму». Проницательный Пуришкевич, обладавший нюхом ищейки, мгновенно учуял запах распутинского притона и тогда же выступил в Думе:

— Господа, мы переживаем такое странное время, когда кандидаты в министры, вместо сдачи экзамена по государственному праву, должны выдерживать экзамен по классу сольного пения...

Все засмеялись, аплодируя остроте Пуришкевича, но при этом Хвостов громче всех хохотал, громче всех аплодировал — так, будто речь шла не о нем... В Думе снова поднимали старое дело с запросом о Распутине, но Хвостов подписаться не пожелал.

— Или у нас нету более важных дел, кроме Гришки?

. . . . . .

По опыту прежних свиданий с Вырубовой он уже знал, что эта бабенка ограниченна, необразованна, мстительна, и Побирушка еще раз напомнил Хвостову, что «тупость Вырубовой может привести в отчаяние». Сегодня два толстяка опять тащились от царскосельского вокзала на Церковную улицу, Побирушка говорил:

— Что императрица нашла хорошего в этой дуре — никто этого не знает.

Хвостов завел с Вырубовой речь о... кино:

— Вы смотрите, Анна Александровна: публика так и валит на «Отдай мне ночь», «Кровавую драму жизни», бежит на «Любовь на краю пропасти». Кино обладает удивительно сильным воздействием на народные массы. Щербатов, будь умнее, заставил бы киноателье истратить версты пленки на съемки царствующей семьи. Как приятно было бы увидеть на экране царя-батюшку, который курит папиросу, выпивает за наше здоровье чарку или прикалывает крест к груди умирающего героя. А разве наша императрица плоха была бы на экране? Ого! Народ повалил бы в кинематографы толпами... В трудные моменты надо уметь использовать все!

Вечером царица уже строчила в Ставку: «А только что видела Андр. и Хвост.— последний произвел на нее прекрасное впечатление... Щербатов не может оставаться... Сазонов ходит и хнычет — дурак... Министры — дураки! Я ему сказала, что все министры — трусы... Надеюсь, ты разгонишь Думу?» Она похвалила Хвостова и перед Горемыкиным, который дал ей неожиданный отпор:

— В том-то и беда, ваше величество, что Хвостов чересчур энергичен, хотя комплекция и располагает его к мешкотности. Простите, если скажу правду: Хвостов нрава очень игривого и человек неверный, это уж поверьте моему жизненному опыту!

Но интригующий киноэкран, столь ловко растянутый Хвостовым на дачке Вырубовой, заслонил старца Горемыкина с его невнятным брюзжанием, и Хвостов получил у императрицы аудиенцию. Осеннее солнце припекало веранду дворца, над старинными парками Екатерины Великой кружили «ньюпоры», а на пасторальных берегах прудов виднелись дула зениток, недавно закупленных в Англии для охраны царизма от воздушных налетов. Хвостов к месту и деликатно (без излишнего нажима) напомнил Алисе, что имеет честь принадлежать к орловскому дворянству, кото-

рое на коронацию поднесло ей небывалый в мире подарок — манто, сшитое из одних только шеек орловских селезней, зрелище удивительное! Царица уже знала, что Хвостов отказался в Думе подписать запрос о Распутине.

— Но вы перед Григорием небезгрешны... Расскажите мне о Гучкове! Наверное, я буду плохо спать, но... вытерплю.

Хвостов был наслышан о ее ненависти к Гучкову, а потому оч поведал об этом господине «одни ужасы». Вырубова заранее доставила в кабинет Алисы пачку речей Хвостова о немецком засилье в электропромышленности, о дороговизне мяса и нехватке дров.

— Зачем вы поднимали эти больные вопросы?

— А как же! — отвечал Хвостов.— Уже назрел момент, когда эти же вопросы будут подняты левыми. Я схватил их буквально у них с языка, опередив левых, чтобы не давать им в руки такое опасное оружие. Ну, а когда правительство критикую я,— кстати улыбнулся Хвостов,— тогда это не критика, а нежная ласка...

— Горемыкин не согласен видеть вас в эм-вэ-дэ. Он назвал вас даже слишком... игривым. Это правда?

Хвостов, отличный актер, изобразил отчаяние:

— Господи! Да кто ж без греха? Вот и мой ближайший друг Григорий Ефимович, он тоже вам скажет: кто безгрешен?

— Ну, а все-таки,— сказала императрица, полистав речи Хвостова,— что же нам делать с мясом? с дровами?

— Нам нужны не мясо и не дрова, а человек, который достанет нам и дров, и мяса сколько угодно. Будьте уверены, Русь не оскудела. В ней еще есть люди, подобные героям античного мира!

При этом он (скромно) не показал на себя...

Царица докладывала мужу: «Как было бы хорошо, если бы ты мог повидать Хвостова... Когда рассчитываешь заглянуть сюда? Я спрашиваю об этом, имея в виду смену Щербатова, а также необходимость пощелкать министров... Нежнейшие поцелуи, родной мой Ники, шлет тебе твоя старая *Солнышко*».

Предвосхищая события, столичные остряки говорили теперь так:

— ГОРЕМЫЧная Русь испроХВОСТилась и РАСПУТною стала!

. . . . . .

Чтобы впредь не возникало разговоров об его «игривости», Хвостов вызвал из Орла жену, повадился посещать приличные рестораны, и там — трезвый! — он ковырял вилкой одинокую котлету для диетиков. Кто бы мог подумать! В его бумажнике уже хранился четкий план: захватить МВД, сбросить Горемыкина, самому стать премьером. Но главное — использовать Распутина в своих целях, а потом безжалостно его растерзать... В это сумбурное лето (лето 1915 года), когда семья Белецкого жила на даче, в своей пустынной квартире, где мебель была бережно затянута полосатым тиком, Степан — тайком от жены! — принимал у себя Распутина, накачивая его мадерой. В планах Белецкого было: допустить Хвостова до министерства, но затем искалечить его так, чтобы он уже не поднялся, самому сесть на его место, а потом... потом сделаться премьером империи! Куда делся скромный «сын народа» из Самары, поджимавший под себя ноги, не смея взглянуть на высокого покровителя Столыпина! Зверь вырос — весь во вздыбленной шерсти, когти и клыки наготове, отточенные!

Кесарю — кесарево, а каждому из них — свое...

9. МАФИЯ — В ПОТЕ ЛИЦА

Распутин очень любил черные сухари.

— Что русскому человеку надобно? — рассуждал он.— Ежели у него сухарь есть, того и довольно. Я так полагаю, что кажинному солдату по два сухаря на день дать — он до Берлина добежит...

Программа заманчивая! Дело за исполнением ее.

Авторитет черных сухарей в глазах столичного света казался непогрешимым. В самом деле, сухарь не пирожное, его трудно критиковать, ибо он прост, как прост русский солдат. Двух поставщиков сухарей в Ставке уже повесили, но Распутин грыз сухари сам и жаловал ими знакомых расфуфыренных дам.

. . . . . .

Кажется, только Аарон Симанович и знал, откуда в столице вдруг объявилась чета баронов Миклосов — он и она! Барон (если он барон) мало что выражал собою, служа лишь бесплатным приложением к своей супруге (если это его супруга). Зато баронесса Миклос — красавица, каких редко встретишь. Дело было поставлено на широкую ногу: отдельный особняк, швейцар и прислуга, открытый дом, полно гостей. Здесь же и Гришка Распутин.

В роскошном особняке Миклосов возникла главная база по снабжению героической русской армии черными сухарями... Как это делалось? Настолько просто, что с трудом верится. По утрам в квартиру Распутина набивались просители. Здесь же, руководя приемами, словно гофмаршал высочайшего двора, присутствовал и Симанович, носивший титул «секретаря старца». Распутин выписывал «пратеци». Писал на клочках бумаги, без указания имени просителя, часто даже без подписи. Симанович через своих агентов, карауливших внизу лестницы, перекупал эти «пратеци». А в них, как правило, стереотипная фраза: «Милай дарагой помоги дамочке бедная роспутин». С такой писулькой можешь идти хоть к премьеру. О чем его просить — твое дело... «Пратеци» Распутина — сотнями! — попадали в руки баронессы Миклос. Аферистка проникла к главному интенданту русской армии генералу Дмитрию Савельевичу Шуваеву, вполне порядочному и честному человеку, который был просто ошарашен ее красотой.

— Я,— сказала она ему,— не ради своей выгоды, но душа настрадалась о нуждах фронта... Почему Распутин? Ах, боже мой, у меня и в мыслях ничего дурного не было. Но одна приятельница посоветовала, что для начала лучше всего обратиться к нему...

Историк пишет: «Судя по заключенным интен-

дантством многочисленным контрактам на поставку сухарей, можно было заключить, что весь Петербург состоит из одних специалистов по выделке сухарей». Чтобы в этом деле не был виноватым один Симанович, я выдам его сообщника — это Побирушка! Не стоит описывать всей механики этой аферы, лишь скажу, что, вычерпав из казны миллионы, мазурики не дали солдату ни одного сухаря... Степан Белецкий, одетый бедненько, в кепочке на голове (нос пипочкой), прошлялся мимо особняка Миклосов, сказал швейцару:

— Приятель, а пекарь случайно не нужен?

— На ча?

— Да ведь здесь же сухарная пекарня.

— С ума ты сошел, што ли? — отвечал швейцар.— У нас в доме ажно печек нетути... Мои бароны у каминов греются!

А ведь согласно законам «подрядчики обязаны указать место изготовления сухарей, т. е. пекарни и сушильни для них». Красавица Миклос и указала — свой особняк... Белецкий говорил жандармскому генералу Климовичу, что дело настолько темное, что лучше его не трогать, ибо хлопот потом не оберешься.

— Царское Село? — намекнул Климович.

— Нет, там не станут заниматься сухарями. Но это одна и та же шайка-лейка, которая всегда найдет поддержку в Царском Селе. А я вот, знаете, решил навестить салон баронессы Женечки Розен.

— Тот самый салон, где царят страшные оргии?

— Эх, если бы только оргии...

Они заговорили о массовом производстве в синагогах фальшивых дипломов на звание зубных врачей. Климович спросил:

— А не пора ли всем этим дантистам зубы выбить?

— Осиное гнездо... Только тронь — навалятся.

— Но дальше терпеть нельзя. Я буду их брать...

Белецкий вызвал к себе Манасевича-Мануйлова.

— Ванечка, ты давно не мазал Гришку в печати, прошлое забылось, не мешало бы тебе входить в контакт с Распутиным...

Манасевич подумал, как это удобнее сделать.

— У меня приятель — фоторепортер Оцуп-Снарский, которого любит Распутин... устроим! Но мне Гришку уже не догнать.

— Как не догнать?

— А так... за ним присылают авто из Царского, у которых мощные моторы. Дайте мне «бенц» на восемь цилиндров.

— У нас в департаменте только три машины, способные обгонять царские автомобили... Ладно, игра стоит свеч: дам!

К полуночи Белецкий нагрянул в салон Женечки Розен (адрес: Можайская, 39). Никто даже имени у него не спросил, но винца поднесли и кокаинчику дали понюхать. Белецкого поразило, что возле Борьки Ржевского сидел генерал Беляев (по кличке Мертвая Голова), помощник военного министра Поливанова. Ближе к ночи прибыл Распутин, но вел себя очень скованно и все позыркивал на Белецкого, который предложил ему пройтись в туалет, где Степан спустил воду из бачка, чтобы их не могли подслушать.

— Скажи, твой сынок помер? — спросил Распутин.

— Умер,— под шум воды отвечал отец.

— Вот видишь! А принял бы ты меня в семье как положено, я помолился б — и сыночек твой жил бы на радость мамочке...

— Ефимыч, кончай эту мороку с сухарями.

— С какими?

— Я все знаю, и если твой Побирушка не прекратит...

— Да он не сухари — он бязевое белье поставляет!

— И если твоя задрыга, баронесса Миклос...

— Если хошь, сажай! Слова не скажу. Вот те крест святой, говорю тебе истину — копейки ломаной с сухарей не имел!

Гришка не врал: его именем только прикрывались, а «сухарная Панама» обогащала других. Связанный с подпольем мафии, он имел совсем другие источники доходов, о которых Белецкий не знал...

. . . . . .

Климович в одну ночь арестовал свыше двухсот жуликов, которые при всей их первобытной местечковой безграмотности имели на руках дипломы дантистов. Возник громкий по тем временам процесс — липовых «зубодеров» приговорили к ссылке в Сибирь на поселение (до конца войны). Для Симановича это было как гром средь ясного неба — сионисты пребывали в нервном состоянии «шухера», обвиняя судей в закоренелом антисемитизме.

Симанович кинулся к Распутину, а тот сказал, что сделать ничего не может, благо министр юстиции приговор утвердил.

— Ты с наших зубодеров навар имел?

— Ну, имел,— сознался Распутин.

— Тогда... вали министра юстиции.

— А нового-то из кармана не вынешь...

Когда стало известно, что царь вернулся из Ставки, они поехали на дачу Вырубовой — к завтраку. Передаю слово Симановичу:

«Все шло по программе. На завтрак явился также царь со всей семьей... Вырубова была посвящена в наш план и хотела нам помочь. После завтрака она сказала царю:

— Симанович также здесь...

Он (царь) вышел ко мне и спросил: «Что ты хочешь?» Скрывая волнение, я сказал, что имею бриллиант в сто каратов и желаю его продать. Я уже предлагал этот бриллиант царице, но она находит его слишком дорогим.

— Я не могу во время войны покупать бриллианты,— ответил он.— Ты, наверное, имеешь другое дело. Говори.

В этот момент к нам подошел Распутин.

— Ты угадал,— сказал он ему.

Царь... уже предчувствовал, к чему дело сводилось.

— Сколько там евреев? — спросил он.

— Двести,— ответил Распутин...

Я передал царю прошение, которое он просмотрел.

— Ах, это зубодеры! — сказал он.— Но министр юстиции и слышать не хочет об их помиловании...

Распутин ударил кулаком по столу и вскричал:

— Как он смеет не повиноваться тебе?..

Дантисты были помилованы. Они устроили денежный сбор, собрали восемьсот рублей, и на эти деньги была поднесена Распутину соболья шуба. Я же получил от них еврейский медовый пирог, бутылку красного вина и серебряный еврейский кубок».

Жрец «макавы», игравший «наперекор судьбу», в этом месте так наврал, что читать тошно. Мне известно, что Степан Белецкий с хохотом рассказывал генералу Климовичу:

— Гришка наш, уж такой жох, а тут его облапошили! Симанович содрал с «дантистов» за помилование сто тысяч рублей, а Гришке евреи дали шубу с шапкой... Продешевил! А видел я его вчера на Невском: едет в моторе Вырубовой, довольный такой... барин.

— Но так же работать дальше нельзя! — в бешенстве заорал Климович.— Беззаконие уже вышло за пределы разума!

Ответ Белецкого был вполне академичен:

— В этой погани два главных фактора должны волновать нас. Первый — охрана погани. Второй — наблюдение за поганью. Все это затруднено, ибо Гришка, не хуже Бориса Савинкова, поднаторел в конспирации, и порою он просто уже неуловим для наблюдения. Сейчас я пристегиваю к нему Манасевича-Мануйлова!

— Распутин же страшно зол на Ваньку.

— Это не беда... выпьют... помирятся.

10. ПРАКТИКА БЕЗ ТЕОРИИ

Белецкий оказался обманутым: машины департамента полиции не могли уследить за черным «бенцем» на восьми цилиндрах, за рулем которого сидел Манасевич-Мануйлов, делавший что хотел, поплевывая на всех белецких... Тормоза провизжали возле дома № 36 по Бассейной улице. Ванечка не спеша осмотрелся, юркнул в подворотню. Сейчас он скрывался не только от начальства, но и от жены — Надежды Доренговской. Там, где в наши дни находится ленинградская Музкомедия, тогда был Паллас-театр, и актриса труппы этого театра Екатерина Лерма-Орлова не оставила следов в русском искусстве, но зато оставила глубокие шрамы в сердце Манасевича-Мануйлова... Рокамболь раскис от, кажется, любви!

На квартире актрисы Ванечка, как опытный полицейский агент, по окуркам в пепельнице и по грязной посуде в кухонной раковине пытался установить признаки мужского присутствия. Дело в том, что Лерма была неверна и (под видом уроков верховой езды) встречалась с молодым берейтором Борисом Петцем... Обойдя все комнаты, Ванечка элегантно поцеловал ручку актрисы.

— Прошу тебя — будь достойна моей небывалой любви.

— Не лезь ко мне! Когда бросишь свою старуху?

Речь шла о Доренговской, к которой Манасевич-Мануйлов был слишком привязан, и потому он даже покривился.

— Не пойму, чем она тебе мешает?

— Ты деньги принес? — обострила актриса трагедию.

Ванечка, стыдясь, протянул ей сотенную.

— Извини, что мало... Двести за мной.

— Когда принесешь?

— На днях. Кстати, у меня к тебе дело... Позволь, я использую твою квартиру для свидания...

— Кого и с кем?

— Распутина... И... Штюрмера, которого ты знаешь.

— Представь, не знаю.

— Ну, я потом расскажу тебе об этом типе. Пока!

Лерма проводила его до дверей со словами:

— Чтоб завтра же принес деньги. Иначе — не пущу...

. . . . . .

Со всею страстью он залетел в кабинет Белецкого.

— Степан Петрович, у меня большое личное горе. Не поверите! Человек я осторожный и, смею думать, неглупый, а тут втюрился в молодую чертовку и... терплю даже ее любовника!

— Ну и что? — зевнул Белецкий.— Все терпят.

— Арестуйте его... это берейтор Борис Петц.

— Имей же совесть,— резонно отвечал Белецкий.— Знал ведь, что не тебя она полюбила, а кошелек твой... И вдруг я, директор полиции, должен ради твоих красивых глаз хватать ее хахаля. А по какой статье?

— По сто восьмой — за измену родине.

— Много ты, братец, знаешь. А докажи!

— Лаптей плести я не умею, это верно. Но руководство к плетению лаптей сочинить сумею. Издам его. И гонорар получу...

Ночью Ванечка долго не мог уснуть. Ворочался.

— Опять лирика? — всплакнула Доренговская.— Опять пароксизмы страсти к этой опереточной блуднице?

— Хуже,— отвечал Ванечка.— Обдумываю комбинацию. Пришла пора обеспечить себя на всю жизнь. Время паршивое. Революция неизбежна. Предстоит бежать. А солидный счет в банке не помешает никогда... Так что спи спокойно — я тебя обеспечу!

— Каким же образом, если не секрет?

— Я решил поставить для России *своего премьера*... Побирушка сейчас втаскивает Хвостова в министры внутренних дел, так почему бы, спрашивается, мне не сделать премьером Штюрмера?

Жена включила лампу.

— Я не знаю всех твоих дел и делишек, но, судя по газетам, Штюрмер не пройдет... Во-первых, немецкая фамилия.

— Я заставлю его изменить фамилию на Панина.

— Во-вторых, он попался на воровстве.

— А кто из нас не попадался?

— В-третьих, у Штюрмера неясное происхождение...

— На этом я его и поймал! По законам империи,

Штюрмер не имеет права занимать в России то положение, какое занимает. Штюрмер подделал документы. Он сын австрийского раввина, а выдает себя за потомка православной святой Анны Кашинской. Ему удалось сделать подчистку в бумагах, по которым дата рождения неверна. Он везде пишет 1848 год, чтобы доказать свое рождение на русской земле. А между тем он родился раньше...

Он погасил свет. Во мраке спальни жена спросила:

— А сколько лет Горемыкину?

— Кажется, восемьдесят семь.

— Но Горемыкин прочно сидит на своем месте.

— Нет, он уже стал мешать: в Царском Селе рады бы от этого балбеса отвязаться. А других кандидатов пока нет...

— Как же ты не боишься Распутина? — снова заговорила жена.— После твоей статьи о том, как он водил аристократок в баню, Распутин был в ярости, он грозил, что сошлет тебя...

Ванечка не ответил — он уже спал. Ему снилась рулетка и красивый берейтор Петц, сажающий в седло хохочущую Лерму-Орлову. К началу войны в банке у Манасевича лежало всего 4 рубля и 38 копеек, но «войну я закончу миллионером» — утверждал он всюду.

Это нетрудно! Надо лишь поставить своего премьера.

. . . . . .

В пору распада государственных организмов мелкие ничтожные личности иногда играют немалую роль... Что такое Лерма-Орлова? Певичка и танцорка. А что такое Мишка Оцуп-Снарский? Маленький фоторепортер... Он позвонил Манасевичу-Мануйлову:

— Приезжай к ночи — будет Гришка!

Снарский жил в глухом Казачьем переулке, в самом изгибе колена этой странной и таинственной улочки, изогнутой углом и выходящей на Гороховую — почти напротив того дома, в котором проживал Распутин; в полночь сюда подъехал Манасевич; квартира фоторепортера была натискана добром (Оцуп неплохо зарабатывал с тех пор, как начал фотографировать Гришку). Стол ломился от яств, но Ванечка, давно пресыщенный жизнью, с ленцой и без аппетита обозревал роскошное убранство, непостижимое в дни войны, когда на столицу надвигался царь-голод. Распутин явился с друзьями — Абрамом Боберманом и инженером Гейне (приятелем Борьки Ржевского, не знавшего, что Гейне — тайный агент шайки Аарона Симановича). С мужчинами прибыли и дамы: разбитная княгиня Стефания Долгорукая, жена камер-юнкера, и очень красивая Мария Гиль, жена капитана броневых сил петроградского гарнизона.

Ванечка по-лакейски ловко разоблачил Распутина от шубы и, дурачась, поцеловал его в нос. Гришка грубо отпихнул его:

— Иди, иди ты... Ты уже не раз меня продал!

Боберман с Гейне встали между ними.

— Только без скандалов, умоляем вас.

Манасевич откупорил бутылку.

— Тебе чего налить? Мадеры?

— Я сам налью себе,— сказал Распутин, выхватывая у него бутылку.— А то ведь ты, жандарм, еще яду подсыпешь...

Подвыпив, он размяк. Но оставался мрачен.

— Не думал тебя встретить,— произнес через стол.

— А теперь встреч не миновать,— отвечал Ванечка.

— На што ты мне сдался? Иуда такой...

Заметив настороженный блеск в глазах инженера Гейне, Манасевич предложил Распутину выйти в коридор, там он ему сказал:

— Орешь много! А жить на белом свете хочется? Этим он словно ткнул Гришку в наболевшее место.

— Знаешь,— шепнул тот,— меня скоро ухлопают.

— Кто?

— У них уже все готово,— передернуло Распутина; сразу съежившись, он шлепнул себя по коленям, потом, потирая руки, прогулялся вдоль темного коридора оцуповской квартиры...

Манасевич-Мануйлов ответил ему спокойно:

— Чепуху-то не городи. Твоя драгоценная житуха отныне в моих руках. На днях Белецкий поручил мне твою охрану...

На Распутина это произвело ужасное впечатление:

— То Курлов, то Белецкий, теперь еще ты, будто клоп, с потолка упал. Поделить меня не можете? Взорвать бы вас всех к едреной Фене! У семи нянек дитя без глазу... Ой, чую, провороните вы меня. А на кого же детки мои останутся?

Ванечка застегнул пуговку на его рубахе.

— Тебя хочет видеть Штюрмер... Знаешь такого?

— Хосподи! — отвечал Распутин.— Да он со своей старой шваброй ко мне на пятый этаж без лифта сколько раз приползал, кады я ишо на Английском жил... Чего ему, нудиле, надоть?

— Поговорить.

— А ну его! Пра-ативный он...

— Не блещет приятностью,— согласился Ванечка, разглядывая обои в коридоре Оцупа.— Но дело не в этом. Борис Владимирович к тебе относится замечательно. Если ты будешь умным, так ты его, как котенка, на бантике уведешь... Понял?

— На што он мне сдался? Я их всех на бантике...

— Не спеши. Возможны перемены... там — наверху!

— Ой, надоело,— отмахнулся Распутин.

— Мне тоже,— кивнул Ванечка.— Но что делать? Не вешаться же нам с тобой. Жить как-то ведь надо...

— Тады пущай на Гороховую придет.

— Сейчас Штюрмеру невыгодно бывать на Гороховой, начнут все трепаться, будто ты его проводишь. Лучше вот тебе адресок: Бассейная, тридцать шесть, там и повидаемся.

— А кто живет на Бассейной?

— Актриса. А за жизнь свою не волнуйся. Пока я тебя охраняю, с тобой ничего не случится.

В дверях показались Боберман и Гейне:

— Что же вы, господа? Наши дамы скучают...

Ванечка сильно треснул Распутина по спине.

— Пошли, старче! Выпьем. Я тебе худого не хочу...

. . . . . .

В биографии Манасевича-Мануйлова был один факт, о котором он болтать не любил. Еще молодым чиновником МВД он служил в тюремном управлении Ярославской губернии, когда губернатором был Штюрмер,— отсюда и знакомство их, давнее...

Прошлое этого «практика» (как он себя величал) было отлакировано кровью и ложью. Население губерний, ему подвластных, он облагал особым налогом — в свою пользу. В деле воровства Штюрмер не повершил петербургского градоначальника Клейгельса, который ухитрился стащить с набережной Невы целый «речной трамвай», позже и обнаруженный плавающим по озеру — в его имении. Штюрмер как хапуга был мельче: отнимал у крестьян коров, свиноматок и даже цыплят у бабок. Все стаскивалось на его усадьбу, лопавшуюся от грабежа. Историк пишет: «А тех крестьян, у которых за бедностью и взять было нечего, сгоняли на барский двор и жестоко истязали». Нечаянная ревизия Госконтроля раскрыла преступления Штюрмера, и на секретном докладе по его делу Николай II собственноручно наложил очень резкую резолюцию: «Убрать этого вора в 24 минуты». После этого десять лет о воре было не слыхать, и вот он вновь пробуждался к активной жизни, подчеркнуто русифицированный, с бородищей и прибаутками, чтобы, упаси бог, не заподозрили в нем нерусского... Манасевич взял на себя тяжелую задачу, ибо Штюрмер, тупой и безграмотный подхалим, меньше всех годился в премьеры великого и могучего государства...

Ванечка решил заручиться поддержкою сионистов.

— Не нужен ли вам старый ворюга-практик? — цинично (но зато удивительно честно) спросил он Аарона Симановича.— Если нужен, тогда хватайте Штюрмера... он даст вам фору!

«В первую очередь,— признался Симанович,— мы искали людей, согласных на заключение сепаратного мира с Германией. Со Штюрмером мы долго торговались. Только тогда, когда нам показалось, что он достаточно подготовлен, последовало его назначение. Я выступал за него потому, что он был еврейского происхождения». Уповая на германофила Штюрмера, сионизм рассчитывал вывести Россию из войны с Германией до того, как в России (или в Германии) вспыхнет революция! Ради целей удушения революции из мерзкой кучи имперского разложения выползали, противно шевелясь и кровоточа, самые гнусные, самые жирные черви безглазой реакции. А Симанович не уставал подогревать в Распутине надежды:

— Не волнуйся и живи спокойно. Мы следим за обстановкой, и если революция начнется, мы сразу же секретно переправим тебя в Палестину, где будешь жить как у Христа за пазухой...

В своей книге «Распутин и евреи» он привел аргументы, которыми воздействовал на сознание Распутина: «Если нам удалось бы добиться разрешения еврейского вопроса, то я получил бы от американских евреев столько денег, что мы,— говорил он Гришке,— были бы обеспечены на всю жизнь...» В этом году Распутин обзавелся участком земли на территории нынешнего Израиля — именно там (!) мыслил он смежить свои усталые очи.

. . . . . .

Но Сазонов никогда бы не допустил сепаратного мира!

Сегодня его навестил английский посол сэр Джордж Бьюкенен с неизменной свастикой в галстучной броши. Сазонов улыбнулся ему одними глазами, спросил — есть ли новости в политике?

— Одна есть,— ответил Бьюкенен.— Негде купить угля или дров, нечем топить посольство. А уже наступают холода...

Рука министра потянулась к аппарату телефона.

— Дрова тоже иногда делают большую политику. Придется мне, российскому канцлеру, побыть и в роли дворника...

Не только дров — не было муки, не было мыла и масла, керосин завозили редко. Впервые в истории России русский человек узнал, что такое «карточка» (на сахар были введены особые талоны). Возле продуктовых лавок с ночи выстраивались длинные очереди — хвосты! Бюрократия не могла спасти положение. Всюду возникали призрачные комиссии и подкомиссии, созданные, кажется, только из зависти к похоронным бюро, чтобы любое начинание похоронить по первому разряду — с траурмейстерами и погребальными маршами.

В Царском Селе заговорили о том, что нужна «твердая власть». Нужна не теория, а практика. Там, где хотят видеть «твердую власть», обычно рассчитывают на произвол власти. Вот сейчас самое время появиться «практикам» — Хвостову и Штюрмеру.

11. ЗАГОТОВКА ДРОВ

— Дрова — это ерунда,— сказал Хвостов царице.

— Но там еще мука, хлеб, сахар, керосин...

— Ваше величество, развяжите мне руки. Немножко бы власти и чуточку времени — я протолкнул бы на Петроград тысячи эшелонов...

Императрица отписывала мужу: «Приезжай как можно скорее и произведи смены (министров), а то они продолжают подкапываться под нашего Друга, а это большой грех... Хвостов меня освежил, я жаждала наконец увидать *человека*, а тут я его видела и слышала. Вы оба вместе поддерживали бы друг друга. Благословляю тебя. Да хранит тебя Господь, мой ангел, и пречистая дева! Осыпаю тебя нежными поцелуями... Никто не знает, что я его (Хвостова) принимала». На следующий день она совершила на Ставку еще один артналет: «Я с удовольствием вспоминаю разговор с Хвостовым и жалею, что ты его не слышал,— это человек, а не баба, и такой, который *не позволит никому* нас тронуть, и сделает все,

что в его силах, чтобы остановить нападки на нашего Друга...»

Вырубова добавила о Хвостове:

— Тело его так огромно, а душа чистая и высокая!

26 сентября царь свалил в отставку синодского обер-прокурора Самарина, а «лошадиный» князь Щербатов сдал дела Алексею Николаевичу Хвостову. Это случилось как раз в тот период, когда Щербатов чем-то опять сильно напугал Гришку, и тот затаился в Покровском, а потому назначение Хвостова прошло мимо него...

— Вы не знаете, что такое эм-вэ-дэ,— сказал на прощание Щербатов.— Это ни минуты покоя... Звонки, телеграммы, запросы и справки. Все — немедленно! Все — секретно! И так далее...

Хвостов велел секретарю МВД Яблонскому допустить фоторепортеров. Они расставили вокруг стола аппараты, сказали «Внимание — снимаем!» — и он вошел в историю, похожий на сытого балованного кота, с улыбкой Сатира глядя на мир поверх батареи служебных телефонов. Очень широкий снизу, Хвостов сидел на двух стульях сразу — буквально и небуквально (как министр и как депутат парламента). Русская столица наполнилась анонимными стихами:

Сидеть меж стульев двух — дилемма,
Не стоит ломаного су:
Малейший сдвиг — и вся система
Трещит, а ж... на весу!
Но все ж, назначенный указом
На самый видный из постов,
Уселся на два стула разом
Огромной задницей Хвостов!

На пороге уже стоял Степан Белецкий.

— Царское Село зовет нас... обоих сразу.

. . . . . .

Он недооценил хитрость этой женщины, а она оказалась гораздо расчетливее, нежели он о ней думал.

— Я очень рада, что ваше назначение состоялось. Но вы еще несведущи в делах сыска и охраны. А мы с мужем должны быть спокойны. Нам будет приятно, если охрана доверена опытному человеку. Такой человек сидит рядом с вами... Я одобряю ваше назначение,— повторила Алиса,— но при непременном условии, что вашим товарищем министра будет Степан Петрович Белецкий!

Степан, заранее нанюхавшись кокаину, не шелохнулся, а бедный толстяк Хвостов испытал то самое чувство, какое дано испытать блудливому коту, когда ему связали лапы и поволокли на стол — для кастрации! Об этом крайне остром моменте в его биографии наша печать недавно сообщала: «У Хвостова был вырван главный нерв министерства внутренних дел». Императрица сразу же взяла под контроль Хвостова, и после свидания с нею пути Хвостова и Белецкого навсегда разошлись, хотя внешне они маскировали свои истинные чувства и намерения... Когда они вернулись на Фонтанку, в «желтом доме» МВД их поджидала телеграмма: Распутин срочно выезжал из Покровского в столицу!

Хвостов ребром ладони провел по шее, сказал Белецкому:

— Гришка... вот уже где! Побороть его можно лишь в том случае, если станем помогать один другому.

Ну что ж! Составили план. Сначала — проникнуть в доверие к Распутину, обезоружить его деньгами и доброжелательством.

— Без Побирушки не обойтись,— причмокнул Степан.

— Без Червинской тоже,— добавил Хвостов...

Он отбыл в Москву, где на путях застыли верстовые эшелоны с продовольствием для голодающего Петрограда. Наорав на перепуганное начальство, министр сам расталкивал составы по запасным путям, освобождая дорогу к столице. Пробка рассосалась, но теперь не было людей для загрузки вагонов. Хвостов по тревоге поднял гарнизон, солдаты работали днем и ночью — Петроград начал принимать продовольствие, «хвосты» возле булочных и мясных лавок исчезли, а газеты восторженно приветствовали нового заправилу: «Наконец-то у нас в России появился человек, который не хнычет и не болтает и не брезгует никакой работой...» Хвостов названивал Червинской:

— Душа моя, сразу же, как только этот варнак появится в столице, уговори его на свидание со мной и Степаном... За это ты получишь от меня карточки на сахар. Я отрежу тебе столько карточек, что твоя сладкая жизнь будет продолжаться до полной и окончательной победы над оголтелым германским милитаризмом!

Мотор подан. Сели и поехали. Был вечер. Побирушка назвал шоферу свой новый адрес: Фонтанка, дом № 54...

Хвостов, подняв воротник пальто, сумрачно оглядывал темные улицы столицы, с шорохом убегавшие под колеса автомобиля.

— Не завернуть ли к Елисееву? — сказал он.

Выехали на Невский. Побывали у самого Елисеева.

— Нам нужно бы вина... побольше.

— Сухой закон. Помилуйте, какое уж тут вино.

Хвостов с Белецким сказали, что им можно продать: один — министр внутренних дел, другой — товарищ министра внутренних дел, и этим признанием только напугали владельца магазина: «Что вы! Я законы империи соблюдаю свято...»

Побирушка разругал министра и товарища министра:

— Кто ж так делает? Это надо с черного хода...

Дожидались его в автомобиле. Хвостов спросил:

— Достанет ли он? Трепач страшный!

Белецкий в потемках что-то страстно нюхал.

— Побирушка? Эге... Раскаленную печку голыми руками вынесет и даже не обожжется. Вы его еще не знаете, но скоро узнаете.

Князь уже тащил корзину с вином и фруктами.

— Едем. Расходы прошу оплатить по счету.

— Ладно. Садись. За эм-вэ-дэ не пропадет...

Приехали. Червинская уже была здесь.

— Сейчас от Кюба принесут уху,— сообщила она.

Червинская недавно окончательно порвала отношения с Сухомлиновыми и заодно с Побирушкой копала под бывшим министром глубокую яму (именно от них общество столицы насыщалось сплетнями о мнимой измене Сухомлинова). Раздался звонок — лакей доставил от Кюба горячую уху. Не успели с ним расквитаться, как ввалился и Распутин... Белецкий вспоминал, что не только он, но «даже Андронников и Червинская были поражены некоторою в нем переменою: в нем не было более апломба и уверенности в себе». Это объяснялось одним: Распутин был угнетен, что не он, а Побирушка провел Хвостова в министры... Расселись. Червинская как хозяйка стала черпать из золоченой «тюрины» ароматную уху. Надо было разрядить обстановку, и Хвостов отказался есть:

— Пока отец Григорий не благословит...

Распутин, входя в роль, широким мановением руки перекрестил уху и тарелки с закусками. Отдельно осенил все бутылки.

— Позволь? — сказал Хвостов, берясь за мадеру.

— Лей,— отвечал Распутин, потом обернулся к Побирушке.— Не князь, а мразь! Што ты у меня под ногами-то выкручиваешься?

— Тихо, тихо, не шуметь,— вступилась Червинская.

Побирушка повел себя неглупо:

Чего ты орешь? Смотри, встретили честь честью. Алексей Николаич и Степан Петрович едят уху, которую ты благословил. Мы старались, к Елисееву заезжали, чтобы тебе же мадера была...

Все так, и Распутин взялся за ложку, ворча:

— Ладно. Каша сварена. Хоша и без меня...

Хвостов умело вошел в разговор:

— Григорий Ефимыч, мы собрались здесь не для того, чтобы лаяться, а чтобы раз и навсегда договориться о нашей совместной работе. Твои советы и поддержка твоя окажут, безусловно, самое благотворное влияние на исход грядущих событий...

Распутин поздравил Хвостова, но с упреком:

— Ты бы уже тогда, при убивстве Столыпина, мог бы в министерах бегать, да прошлепал. Надо было меня еще в Нижнем Новгороде кормить. Я к тебе тады с перепою пришел, а ты...

Белецкий не дал ему излить былые обиды:

— Уха отличная! Григорий Ефимыч, заверяю тебя, что охрана твоя в надежных руках. За это ты не волнуйся.

— Мне твои сыщики осточертели,— отвечал Распутин...

— Это их служба! Но зато теперь покушений на тебя, как при Маклакове да Джунковском, не будет... Спи крепко.

Сами не заметили — когда и как, а восьми бутылок уже не было: пустые, их отставили в сторону. Хвостов поцеловал Гришке руку.

— Родной ты мой, знаешь, как я тебя люблю?

— Ври мне! Рази же собака палку любит?

— Любит.

— Врешь!

— Честно скажу: видел пса, лизавшего палку.

Их оставили за столом объясняться в любви, а Белецкий вышел в соседнюю комнату, где передал Побирушке пять тысяч рублей:

— Не давай ему все сразу — пропьет и забудет, что брал. Вручай по тысчонке, чтобы иметь поводы с ним видеться...

Побирушка малость погодя залучил Распутина в спальню, оставив дверь приоткрытой, чтобы Белецкий видел, как он отсчитывает сотенные бумажки. Распутин сложил их вдвое, задрал рубаху и сунул деньги в брючный карман. Порядок! Вернулись за стол.

Мужчины обсуждали вопрос о проведении в обер-прокуроры Синода чиновника Волжина.

— А ён гадить в карман не станет? — беспокоился Гришка.

— Прекрасный человек! — отвечал Хвостов, уже пьяный.

— Если что — приструним,— посулил Степан...

Когда пришло время расходиться, все перецеловались с особым упоением. Со стороны, глядя на них, можно было подумать, что такие ребята, как Степан и Алешка, пойдут на смерть друг за друга. Хвостов говорил Червинской:

— Гришка у меня долго не погуляет... Степан тоже!

— Ты это серьезно?

— Кровь брызнет... всех распихаю...

Горемыкин прав: Хвостов — слишком «игривый» мужчина!

. . . . . .

Симанович велел инженеру Гейне усилить наблюдение за Борькой Ржевским, лицом, близким к Хвостову, дабы выявить планы нового министра. Хвостов оказался «просвечен» с неожиданной для него стороны. В конце 1915 года завязался клубок, в котором трудно разобраться, но в котором даже сама путаница была вполне логична... Манасевич-Мануйлов вскоре шепнул Белецкому:

— Хвостов долго не протянет, свернет шею... Ну, кто же из нас, служа в эм-вэ-дэ, произносит вслух то, что думает?

ФИНАЛ ШЕСТОЙ ЧАСТИ

И опять история ломает каноны литературы! Мыслимое ли это дело — под конец романа вводить нового героя, который в романе почти не будет действовать? Однако появление героя необходимо, ибо он станет *последним* ставленником распутинской шайки и займет пост министра юстиции на другой день после убийства Гришки Распутина... Сейчас главное — с чего о нем начинать?

. . . . . .

Жил да был бедный студент, каких на Руси тысячи.

Николай Александрович Добровольский — из дворян.

Наука — бог с ней, а вот где бы подзанять деньжонок?

Это было в Киеве, где он учился на юриста в университете. Помощи от разоренных родителей хватило лишь на то, чтобы справить к мундиру подкладку из белого шелка. В поисках верных путей в жизни Добровольский спустился в игорный притон, где поставил десять копеек, а выиграл десять рублей. Это решило судьбу — раз и навсегда! Ради одного «маза» в шалмане он мог забыть о свидании с барышней. Ради приятных слов «ваша карта бита» он был готов на любую подлость. Но ему в игре не везло... Однажды, когда Добровольский, вконец продувшись, изнывал в буфете игорного клуба, к нему подошел И. М. Маршак — владелец ювелирного магазина на Крещатике.

— Страдаете, молодой человек? — и дал в долг...

Маршак оказался щедрым человеком — молодой юрист много лет играл и кутил на его подачки. А когда Добровольский отбывал военный ценз в кавалергардах, Маршак и там не оставлял его своим вниманием. В письмах он с добродушным юмором напоминал, что стоит ему предъявить векселя к оплате — и Добровольский вылетит из полка в чем мама родила, на всю жизнь опозоренный! Отслужив в полку, Добровольский чиновничал в судебном ведомстве, женился на княжне Друцкой-Соколинской, у которой было триста десятин земли на Смоленщине, но игра пожирала все доходы от имения и службы. Наконец он достиг положения прокурора в Киеве, и тут к нему в кабинет затесался незнакомый юркий человек с громадным перстнем на оттопыренном мизинце.

— Вы мне очень много должны,— сказал он прокурору.

Это был Аарон Симанович, державший в Киеве лавку подержанных вещей, где со стороны двора он перекупал ворованные драгоценности. Добровольский пришел в ужас, когда увидел в его руках векселя, данные в свое время ювелиру Маршаку.

— Маршак умер,— сообщил Симанович,— а перед смертью, любя меня, как сына, завещал ваши векселя мне...

Капкан захлопнулся! Далее отношения развивались по всем правилам кредитной науки: Симанович давал, как раньше давал Маршак, прокурор брал у него, как раньше у Маршака, а за это покрывал аферы своего кредитора. Добровольского перевели в Гродно вице-губернаторствовать, но неутомимый маклер тронулся следом за должником, как лиса по следу робкого зайца. Здесь, в Гродно, губернатор (стыдно сказать!) носил штаны в заплатках: не было денег на покупку новых — все забирала игра. Отличный знаток бухгалтерского учета, Добровольский много лет успешно подделывал губернские сметы, пока не схватили за руку. Что делают цари, если губернаторы проворовываются? Они сдают губернаторов на вечное хранение в Сенат, словно закладывают в ломбард вещи, вышедшие из моды, и там они лежат, пока не понадобятся...

Сенатор! Чести много, а денег мало. Симанович сказал, что в одну минуту сделает его богатым. Он привел к Добровольскому некоего дворянина Нахимова, просившего закрепить за ним нефтеносный участок на Кавказе, который он бурить не собирается, а продаст его англичанам — деньги поделят поровну. «На троих!» — не забыл напомнить Симанович... Англичане навезли королевской техники, стали просверливать Кавказ, но нефти — кот наплакал. Не понимавшие всех тягот сенаторской жизни англичане (экие подлецы!) подняли шум. Нахимову дали три года каторги на Сахалине, Симановичу ничего не дали, а Добровольскому дали по шапке — он был изгнан из прокуроров 1-го департамента. Все затихло... Но денег-то опять не было! Годы скользили, как вода по клеенке, состарилась жена, так и не увидев счастья, выросли у Добровольского дочери, стыдившиеся бедных платьев, а он, муж и отец, все играл, все ставил, все просаживал... Подрастали сынишки и у Симановича, который предъявил должнику своего старшего Шиму.

— Гениальный ребенок! — аттестовал он его.— Мальчик чрезвычайных способностей, но вы же сами знаете, какие страшные антисемиты эти профессора технологического института...

По блату с министерством просвещения Добровольский пропихнул в институт «гениального ребенка», а Симановичу сказал:

— Ты когда-нибудь от меня отвяжешься или нет?

— Отвяжусь, когда получу с вас по векселям...

Добровольский протер свои последние штаны и, сильно сгорбленный, пошел на последнее средство — видели, как, подняв воротник пальто, он крался, словно вор, по черной лестнице дома № 64 по Гороховой улице... Что ж, естественный финал! О Распутине ходит много легенд, и среди них — одна, будто он был очень добрым человеком. Правда, что широким жестом Гришка давал нищенке пять рублей, на свои кровные мог насмерть упоить оркестр балалаечников. Но добрым он никогда не был! Опутанный массою невидимых финансовых пут, он черпал деньги из различных источников и скоро, будучи не в ладах с арифметикой, уже ничего не понимал в своей загадочной бухгалтерии. Множество дельцов, окружавших его, конечно, грабили Гришку со всех сторон, действуя при этом секретно друг от друга и аккуратно поддерживая в Распутине постоянное чувство подозрительности. («Распутин,— писал Белецкий перед расстрелом,— зорко следил за охраною материальных интересов, он производил подробный сыск о тех, кого подозревал в обмане, и затем публично их разоблачал, не стесняясь формой выражений...»)

Добровольский и стал главбухом Распутина!

Служил, аки пес служит за мозговую кость.

Для верного пса нужна хорошая будка, чтобы сверху не протекало, а сбоку не поддувало. Распутин усадил сенатора в чулане своей квартиры, где валялись дрова и старые корыта и куда никто из гостей заглядывать не отваживался. Там, вооружась счетами, Добровольский подводил баланс грандиозных афер, ревизовал доходы и уличал не Распутина, а тех, кто залезал в карман к Распутину... Униженный нищетой и проигрышами в ночных клубах, Добровольский опускал свои очи все ниже, а Распутину это в людях никогда не нравилось.

— Ты, счетовод, чего в глаза не глядишь? Не украл ли ты?

О присутствии Добровольского в Гришкиных делах знали очень немногие (знала и Вырубова). До «будки», где сидел верный распутинский Трезор, добрался тот же Аарон Симанович.

— А-а, вот вы где! Ну, не ожидал...

Пристыженный низким падением высокого дворянского престижа, Добровольский имел неосторожность, на основании точной бухгалтерии, припугнуть своего кровососа... Тот сказал ему:

— Вы очень много стали знать обо мне.— И Симанович вытолкал сенатора из «будки», а Распутин даже не возражал.

— Вроде бы и ничего мужик, да в глаза не смотрит!

. . . . . .

Распутин чувствовал, что эта сладкая жизнь горько кончится, и всю войну (после покушения Гусевой) «зажимал деньгу», рачительно складывая деньги в кучки и кучи, которые потом старательно прятал по углам и щелям... Интересно бы знать — из чего он сложил свои грязные миллионы? Симанович не открыл, а лишь приоткрыл занавес: «Я доставал Распутину деньги из *особых* источников, которые, чтобы не повредить моим единоверцам, *я никогда не выдам!*» Может, тайна вообще непрошибаема, как стенка? Не закрыть ли нам глаза, отступив в бессилии?..

Нет, в этой уголовщине стоит нам покопаться!

Когда Симанович впервые появился в Петербурге, имея зашитыми в пиджаке несколько ворованных бриллиантов, мечты его были вполне скромными: иметь свой публичный дом — вот крайний потолок его фантазии. Но у него, как и у Добровольского, была страсть — карты. Великолепный шулер, почти фокусник, умевший из девятки делать туза, а из дамы валета, он иногда по странной прихоти каприза разрешал себе играть «наперекор судьбу» (т. е. играл честно и мгновенно продувался догола). Но знание жизни ночной столицы и обширный круг знакомств привели его перед войной к мысли — пустить в финансовый оборот человеческие пороки. Белецкий знал, что на руках Симановича постоянно имелось двести тысяч рублей, которые он давал в рост под большие проценты кутящим людям. Но Белецкий не знал главного!..

Да и вообще мало кто догадывался, что «секретарь старца» возглавлял громадный подпольный синдикат по обслуживанию людской порочности. Рубинштейны и Гинцбурги вложили немало средств в процветание многочисленных клубов, которые работали без вывесок, открываясь сразу, как над столицей опускался царственный вечер. Это и была та золотоносная жила, которую Симанович, вкупе с Распутиным, старательно разрабатывал. Внешне все выглядело благопристойно. Президентами клубов избирались графы и князья — почтенные люди громких исторических фамилий, которые никогда не думали, что их титулами прикрывается низкое мошенничество. Симанович действовал осторожно: сначала в клубе ставились картежные столики, начинал приторговывать буфет, а потом уже появлялись и странные гибкие женщины с глазами, расширенными от кокаина. Когда клуб превращался в свинарник, солидные учредители его с возмущением уходили. Но устав клуба, заверенный в полиции, оставался прежним, а Симанович оказывался на положении клубного распорядителя... Вот он, главный источник обогащения мафии, пайщиком в которой состоял и Распутин, имевший колоссальный барыш с игорных клубов и публичных домов. МВД выплачивало ему по пять тысяч рублей в месяц, но это... разве же это деньги для Гришки! С войною работа синдиката сразу оживилась, ибо в столицу с фронта наезжали отпускные офицеры, которые, ценя жизнь в копейку, рублей тоже не щадили. Когда во главе Ставки находился Николай Николаевич, его агентура, следившая за подвигами старца, все-таки докопалась, что пайщиком в делах шантана «Аполло» является сам «возжигатель царских лампад». Генералы не стали разводить китайских церемоний — шантан прикрыли! Распутин тогда же поклялся сионистам, что он дядю Николашу сожрет с костями,— и, кажется, что в этот момент Гришка не столько страдал за еврейский вопрос, сколько от потери своих доходов... Симанович в деле с «Аполло» подозревал Добровольского:

— Это не вы ли сделали донос в Ставку?

Сенатор, действуя через Вырубову, с большим трудом оправдался перед Распутиным, но глаз так и не поднял, чтобы смело заглянуть в ясные очи праведного старца Григория Ефимовича.

— Что ты за человек — не пойму! — говорил Распутин.

. . . . . .

— Григорий, — сказала царица осенью 1915 года,— мне нужен свой человек, заведомо преданный, который бы втайне ото всего мира перевел большие суммы денег в... Германию.

— Эге,— сказал Распутин, задумавшись.

— Но этот человек должен действовать настолько точно, чтобы, как говорят русские, комар носу не подточил.

Задача невыполнимая в разгар войны из России, ведущей войну с Германией, перекачать русское золото в немецкие банки!

— Есть у меня умный банкир,— начал Распутин...

«Умный банкир» — так он называл Рубинштейна.

— Вам все шуточки,— отвечал Митька, когда ему предложили эту аферу.— А вы забыли, что существует комиссия генерала Батюшина, что за мной давно следит контрразведка Бонч-Бруевича... Если меня схватят, то веревка уже намылена.

Симанович на это сказал:

— Зато нам предоставляется удобнейший случай использовать интригу императрицы, чтобы потом крутить самой императрицей в целях нашего великого иудейского дела...

— Вешать-то будут не наше дело, а меня!

— А на что Распутин? Он не даст повесить...

В книге «Весь Петербург» Митька Рубинштейн,

крупнейший капиталист-выжига, был представлен набором титулов, занимавших семнадцать строчек петитом. А дело пахло статьей № 108 Уголовного кодекса (государственная измена!). Еще не пойманный, Митька давно преступил эту статью, переведя русские процентные бумаги через германские банки. Подумав, банкир решил помочь императрице и вызвал к себе Манасевича-Мануйлова, который давно состоял его тайным агентом (о чем Белецкий не догадывался, считая его своим преданным шпионом). Митька сказал Ванечке прямо:

— Теперь ты будешь получать от меня сколько хочешь, но за это обязан прикрыть меня своим телом, когда я попаду под обстрел. Ничего больше не спрашивай. Пока вокруг сплошная темнота.

— А ты не волнуйся,— успокоил его Ванечка.— Когда ты будешь орать от страха, я окажусь рядом...

Он сдержал слово, и когда Рубинштейн пойдет в тюрьму, обыск в его квартире станет проводить сам неустрашимый Ванечка! Рубинштейн повел себя осторожно, переводя деньги как будто не для Германии, а для... гессендармштадтских родственников императрицы (что, впрочем, одно и то же). Операция не отличалась особой сложностью. Акции русского общества «Якорь» он переправил в Швецию на имя финансового агента Виста, который тут же перевел акции в наличные деньги, уплывшие в Германию.

Пока было тихо... Рубинштейн предупредил:

— Я сделал, как просила меня государыня, но в обеспечение своей безопасности я ставлю условия — чтобы премьером стал Штюрмер, а в министры юстиции посадили нашего человека.

— Такой уже есть! — заверил его Симанович...

Если Побирушка делал Хвостова министром внутренних дел, а Манасевич-Мануйлов проводил в премьеры Штюрмера, то почему бы, спрашивается, жрецу «макавы» не позаботиться о своем собственном министре юстиции?..

Симанович дал понять Распутину:

— Не мешало бы нам Добровольского запихнуть в юстицию, и пускай он там посиживает, пока мы тут хозяйничаем.

— Хорош министер, что в глаза не глядит! Как иметь дело с ним, ежели ты ему, беспортошному, сказки сказываешь, а он, будто украл что, под ногами у меня половицы пересчитывает...

— Это плевать, что он в глаза не смотрит, зато он сделает для нас все, что мы ему прикажем. А без хорошей юстиции, подумай сам, мы ноги протянем...

Распутин отрезал себе большой кусок торта.

— Ну-к што. Не спорю. Тоже верно. Юстицка, она штука такая. Есть она — плохо. А нет ее — и без юстицки в тюрьме навоешься!

. . . . . .

В октябре 1915 года Болгария на стороне Германии выступила против России. Манифест болгарского царя Фердинанда начинался чудовищными словами: *«Распутинская клика объявила нам войну...»*

Генерал М. В. Алексеев (седенький, косоглазый, тихий, умный, кропотливый, делавший за царя в Ставке всю работу верховного) боялся показать этот позорный манифест Николаю II.

Германские газеты отзывались о Распутине с преднамеренной похвалой, рисуя его в воображении немцев вроде сказочно-могучего витязя, ведущего династию Романовых на край пропасти.

В преддверии холодов русские самолеты разбрасывали над позициями немцев отлично исполненные художественные открытки с видами картин Верещагина, в которых был отображен весь морозный ужас зимы 1812 года,— запугать хотели, что ли?

(Продолжение в следующем номере)

Дорогие читатели!

Как и другие редакции периодических изданий, мы предпринимаем меры по улучшению выпуска журнала. Хотелось бы знать ваше мнение о работе редакции в последнее время, а также ваши пожелания на будущее:

1. Какие читательские интересы «Роман-газета» удовлетворила художественными публикациями в последние годы — а) по авторам; б) по жанрам произведений (романы, повести, рассказы, поэмы); в) по их тематике (современная, историческая, военно-патриотическая, биографическая, фантастика, детектив, мемуары).
2. Как вы относитесь к мнению некоторых читателей отражать на страницах «Роман-газеты» не только текущий литературный процесс, но и помещать произведения, публиковавшиеся ранее и получившие широкое общественное признание?
3. С 1991 года мы вновь, после длительного перерыва, начинаем публиковать произведения зарубежных авторов. Следует ли нам продолжать эту практику?
4. Высказано предложение публиковать в «Роман-газете» произведения писателей русского зарубежья. Как вы к этому относитесь?
5. Уважаемые наши читатели, как вы думаете, что нужно сделать, чтобы укрепить экономическое положение журнала с тем, чтобы в дальнейшем не повышать цену на него, а, возможно, и понизить?
6. Каковы другие ваши пожелания на будущее?

Ваши письма просим присылать в редакцию до 1 апреля сего года.

Редакция

Валентин Саввич Пикуль

НЕЧИСТАЯ СИЛА

РОМАН

(Продолжение)

Учредители: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ «РОМАН-ГАЗЕТЫ», ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ПЕЧАТИ, СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Редактор *И. Вититнева*
Художественный редактор *А. Моисеев*

© Иллюстрации *П. Пинкисевича*

Технический редактор *А. Кашафутдинова*
Корректоры *С. Кашина* и *М. Макарова*

Сдано в набор 13.09.90. Подписано в печать 03.12.90. Формат 84×108 1/16. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 10,08. Усл. кр.-отт. 11,34. Уч.-изд. л. 13,72. Тираж 3 200 000 экз. (1-й з-д 1—2 700 000 экз.). Заказ 1900. Цена 1 р. 21 к.

Адрес редакции: Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати. 142300, г. Чехов Московской области

Рукописи ранее не опубликованных произведений редакцией не принимаются и не рассматриваются.

Во всех случаях полиграфического брака просим бракованные экземпляры отсылать для замены в типографию, где печатался данный экземпляр.

(Начало см. 2 стр. обложки)

— В Японии часто переиздают «Цусиму» Новикова-Прибоя. Как вы думаете, почему?

— Этим романом Новиков-Прибой, как я считаю, очень польстил самолюбию самураев, изобразив поход эскадры Рожественского в таком плане, будто русские офицеры только пьяницы, а матросы — скотское быдло. Недаром участники Цусимского сражения — бывшие офицеры флота, преподававшие после войны в военных училищах, по выходе романа в свет, не стыдясь, плакали, чувствуя себя оскорбленными.

— А к вам обращались японские издатели?

— Да, не так давно они выпустили на японском языке мой роман «Три возраста Окини-сан». Инициатива здесь принадлежала японскому переводчику Судзукаве. Сам он в прошлом был лейтенантом Квантунской армии, находился у нас в плену, где, кстати, выучил русский язык. Когда Судзукава приезжал в Ригу, он очень удивился, увидев у меня неизвестные в Японии фотографии Окини-сан.

— Я вижу у вас на полке арабское и китайское издания романа «Нечистая сила», который на русском языке отдельной книгой впервые вышел лишь через десять лет после публикации первого, резко усеченного журнального варианта, называвшегося тогда «У последней черты»...

— В арабском издании роман, кстати, тоже имеет иное название — «Последняя ночь шайтана». Думается, вам интересно будет узнать, что он выпущен на средства министра обороны Сирии генерал-полковника Тласа. Не скрою, мне приятно было получить арабское издание своей книги с теплым приветствием министра.

— А можно с этим приветствием познакомиться?

— Пожалуйста. Вот оригинал. А это — перевод:

«С уважением за ваш великий труд, который мы перевели на арабский язык. Ваше имя стало популярным в нашей стране. Генерал Тлас».

— Кстати, как возник замысел «Нечистой силы»?

— Долгое время у нас о Распутине практически ничего не знали, разве кроме похабных анекдотов. На самом деле Распутин — это политическое явление, в котором был замешан правительственный кабинет. Мне интересно было работать над романом потому, что литература по «распутинщине» у нас находилась тогда под негласным запретом и считалась в мире букинистов самой редкой.

— Многие читатели поражены вашей работоспособностью и плодотворностью. Трудно представить, как вы смогли за 36 лет литературного труда написать свыше двадцати романов, я не говорю уже о произведениях других жанров. В литературных кругах постоянно циркулируют слухи о том, будто вам кто-то помогает. Так ли это?

— Честно говоря, мне не привыкать к слухам. В свое время, когда вышел мой первый роман «Океанский патруль», директор Ленинградского отделения издательства «Советский писатель» Досковский, выступая на одном из совещаний в Смольном, сказал, что у Пикуля отец — адмирал и это он за него написал роман. Но мой отец погиб в морской пехоте, защищая Сталинград.

Потом в литературных кругах ходила другая версия, будто моя мать, смолянка, работает в архиве и приносит мне домой редчайшие документы. Но когда и эта версия лопнула, были пущены слухи о том, что я, мол, женат на бывшей дворянке — очень образованной женщине, которая учит меня писать романы.

А какая сейчас версия ходит — простите, не знаю.

— В своих романах вы не раз ниспровергали официальные версии на различные исторические события. Как реагировали на это историки?

— По-разному. Многие до сих пор не согласны, например, с разоблачением мифа о «потемкинских деревнях». Хотя я документально доказал, что это ложь. «Потемкинские деревни» придумал Георг фон Гельбиг — секретарь саксонского посольства в Петербурге. Его фальсификации были опубликованы в то время, когда Наполеон всех побеждал, и потому они остались сначала незамеченными. Их извлекли из небытия, когда страсти улеглись и в Европе воцарился мир. Тогда за рубежом и воскликнули: смотрите, в России — потемкинские деревни. Не случайно другая книга Гельбига «Русские избранники» в России была запрещена и вышла на русском языке только в Берлине в 1900 году.

— Какие официальные версии на исторические события предстоит, на ваш взгляд, пересмотреть?

— Полным-полно, какую только эпоху не возьмем. Вот, например, Столыпинская реформа. Я считаю, что это было блистательное предвидение в экономическом развитии России. И думаю, нам еще предстоит переосмыслить личность Столыпина.

— Какие проблемы вас сейчас волнуют?

— Национальные и нравственные. Я думаю, что многие эти проблемы возникли от незнания и неуважения к традициям разных народов.

Я понимаю боль латышей, когда они протестуют против попыток лишить их национальной культуры и памяти. Скажем, в центре Риги есть парк, который в прошлом принадлежал одной богатой женщине — Верман. Она подарила этот парк городу и предоставила средства для ухаживания за ним. Не случайно латыши назвали парк Верманским. И вдруг уже в наше время он был переименован в Кировский, хотя Киров никакого отношения к Риге не имел.

Безусловно, каждый народ должен иметь свою культуру, историю, язык.

Но и мне, русскому человеку, бывает обидно, когда мой народ начинают обвинять во всех грехах. У нас до сих пор нет истории России. Откроешь школьный учебник по истории СССР, а там рассказ об Иване Грозном. Но позвольте — какое отношение Грозный имеет к истории СССР?

Вопрос о создании учебника по истории России мне кажется неразрешимым в наше время и потому, что наши историки не умеют писать. Дай им волю, они все засушат.

Беседу вел Вячеслав ОГРЫЗКО.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ВАЛЕРИЙ ГАНИЧЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АЛЕКСЕЕВ, Юрий БОНДАРЕВ, Семен БОРЗУНОВ, Витаутас БУБНИС, Олесь ГОНЧАР, Геннадий ГОЦ, Юрий ГРИБОВ, Владимир ДУДИНЦЕВ, Александр ЖУКОВ (ответственный секретарь), Сергей ЗАЛЫГИН, Феликс КУЗНЕЦОВ, Леонид ЛЕОНОВ, Виктор МЕНЬШИКОВ (заместитель главного редактора), Василий НОВИКОВ, Петр ПРОСКУРИН, Валентин РАСПУТИН, Леонид ФРОЛОВ

1 р. 21 к.

2-4

РОМАН-ГАЗЕТА

2

70782